

Общественно-политический и литературный
журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле

ДВАДЦАТЬ ДВА



ФОНД РУССКИЙ МИР

166

Журнал выходит при содействии
министерства науки и культуры Израиля
и при финансовой поддержке
фонда “Русский Мир”

2012

Эдуард Бормашенко

ПАМЯТИ БОРИСА СТРУГАЦКОГО

*«Там украшают флаг, обнявшись,
серп и молот,
Но в стенку гвоздь не вбит
и огород не полот.
Там, грубо говоря,
великий план запорот».*

И. Бродский

Нам нечего сказать Золотому Шару, да и в его существование мы верим нетвердо. Сказать нечего, оттого что рай земной отодвинулся на неопределенное, но очень длительное время, а в небесный верится с трудом. Просить «счастья для всех» не получается, ибо мы знаем, что бесплатное счастье чаще всего случается, когда несчастен другой. А какое уж тут «счастье для всех»?

Будущим поколениям не понять, чем были для нас братья Стругацкие. Понимать их могли жители удивительной страны, в которой «Прометеи из хедера, и Бруты от токарного станка» (М. Алданов) так лихо вдохнули жизнь в подыхавшую имперскую идею, что реанимировали ее на 70 лет. Настоящие, поздние Стругацкие, подросли к смертному одру этой страны, когда окончательно прояснилось, что не только на Марсе яблони не зацветут, но и на Земле с яблоками неважно, что тупой, великий план, безвылазно засевший в человеческих головах, - запорот. И причиной тому не происки герцога Ируканского, а неустранимо паскудная человеческая сущность, выпирающая из-под скафандра ничуть не менее, чем из-под ватника. Но миллионам тружеников НИИ, променявшим местечковое и сельское первородство на кандидатские, докторские и академические пайки, надо было жить. А жить, это значит, жить осмысленно. И Стругацким удалось то, что не удастся почти никому из смертных: они создали для старших и младших научных сотрудников миф.

В повести «За миллиард лет до конца света» он озвучен наиболее явно: нет бога, кроме познания, и ученый - пророк его. А

у тех, кто отлынивает от науки, волосеют уши. Молох познания требует человеческих жертвоприношений? Ну что ж, идол, как идол, дело знакомое. Миф состоялся потому, что книги Стругацких великолепно написаны, но это обще для всех значимых мифов.

Борису Натановичу не повезло: он застал и агонию религии разума. Ей переломили позвоночник – представление об абсолютной Истине; ее не оказалось нигде, даже в математике. А отдавать жизнь за служение постмодернистскому винегрету – смешно. Впрочем, первосвященники культа науки, кажется, в своего бога верили не слишком твердо (это тоже не ново): ожесточенно антинаучный «Град обреченный», опубликованный лишь в 1988 году, был написан за полтора десятка лет до выхода в свет, то есть раньше, чем «За миллиард лет до конца света». Но из депрессивных настроений «Града обреченного» мифа, разумеется, не создать.

Стругацкие великолепно знали своего читателя. Окончание серьезной научной работы, статьи ли, книги ли, сопровождается тяжким чувством опустошения. Вот, работа закончена, ну и что? Этим слишком хорошо знакомым чувством делились со мной и коллеги: естественники и гуманитарии. Чтение Стругацких дивным образом выводит из этого черного молока. Самый юмор Стругацких, кажется, понятен только сотрудникам НИИ. Но вот штука: моя дочка перевела в прошлом году на английский «Пикник на обочине», и перевод пользуется немалым успехом. Стругацкие – писатели и для элиты, и для масс. По мнению Алданова – это безошибочный критерий высшего класса. Жуку в муравейнике приходится туго, но и муравьям ведь тоже несладко. Писать и для жука и для муравьев – дело почти невозможное, и удастся лишь гениям.

СОДЕРЖАНИЕ

Эдуард Бормашенко. Памяти Бориса Стругацкого	2
---	----------

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Нина Воронель. Секрет Сабины Шпильрайн	5
Александр Танков. Стихи	102
Давид Маркиш. Луковый мед	107
Александр Перчиков. Стихи	121
Иосиф Букенгольц. Четвертое откровение	126
Елена Елагина. Стихи	145
Зоя Мастер. Концерт для Гретхен	149

МОСКВА, ВЕНА И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ СТОЛИЦЫ

Леонид Школьник. Казус Быкова	170
Александр Воронель. ОТ РЕДАКТОРА	175
Эстер Пастернак. «Особенный еврейско-русский воздух...»	179

ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ

Виктор Топаллер. «Пропал дом»	192
--------------------------------------	------------

ОТКЛИКИ

Яков Нелькин. Исламское золото	196
Роза Ляст. «Пис-налог» императора Веспасиана	203
Михаил Юдсон. Простор лабиринта	206
Елена Погорельская. Римма Мошинская	210
Инна Шейхатович. Интервью с Марьяном Беленьким	214

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННОГО в №№146-165	220
---	------------

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Нина Воронель

СЕКРЕТ САБИНЫ ШПИЛЬРАЙН

(Продолжение. Начало см. в №165)

17.

Вышло так, что Шурка напрасно обожгла свой палец – немцы так и не успели приехать за Сабиной, через три дня их выгнали из города. Все эти три дня за городом ухали и грохотали пушки, а в небе, выше пушек, на разные лады завывали самолеты. Мы уже научились отличать прерывистый лай немецких истребителей от ровного завывания наших бомбардировщиков, хотя результат их действий был неотличим – от их бомб и снарядов одинаково рушились дома и гибли люди.

Откуда нам было знать, что немцы уходят? По нашей улице они не уходили, если не считать нескольких мотоциклов, стремительно промчавшихся от Ворошиловского проспекта к Буденновскому, – скорей всего их армия отступила в другую сторону, на юг или на восток, я не очень отличала.

О том, что они ушли из города, нам сообщил неожиданно оживший громкоговоритель. Он вдруг затрещал, задышал и сказал красивым голосом диктора Левитана: «Сегодня, 28-го ноября советские войска освободили от немецких захватчиков город Ростов-на-Дону». Не успел он произнести эти волшебные слова, как улица заполнилась народом. Всю эту страшную неделю казалось, что в домах за закрытыми ставнями нет ни одного человека – ни в одном окне вечером не загорался свет, никто не выходил из подъездов, не шел по тротуарам и не переходил улицу на перекрестках.

Только иногда большая зеленая машина подъезжала к какому-нибудь дому, из нее выскакивали немецкие солдаты, заходили в подъезд и выводили оттуда каких-то людей. «Евреи», – шептала Шурка, которая повадилась приходить к нам каждый день и следить за происходящим сквозь щелочку в ставнях. Из ее окон улица не была видна, они выходили во двор и в соседний переулок.

Я раздвинула ставни и распахнула окно. В лицо мне пахло свежим воздухом, холодом, дождем и праздником. Из всех

дверей высыпал народ – женщины, дети, старики, - они плясали от радости и целовались. «Рано радуются, - вздохнула Сабина у меня за спиной, я и не слышала, как она подошла. - Еще наплачутся». «Как же не радоваться? Немцы ушли, и больше никто не придет за тобой в зеленой машине». «Зато кто-то другой может приехать за мной в черной, - сказала Сабина. - Так что пойдём, продолжим наш сеанс».

Она часто употребляла странные слова из своей другой жизни, которые кроме нее вокруг нас не употреблял никто. Нашу с ней ежедневную игру в психоанализ она называла сеансами, а до того я думала, что сеансы бывают только в кино. То есть это я считала наши сеансы игрой, а она уверяла меня, что я помогаю ей бороться с желанием умереть. Сеансы мы с ней проводили каждый день.

Рассказы Сабины так отличались и от нашей сегодняшней жизни и от вчерашней, что они часто казались мне сказками. Я сидела у стола, а она лежала на кушетке лицом вверх и говорила ровным монотонным голосом, так что постепенно в ее словах растворялась наша бедная холодная комната с потертым ковром и разномастными стульями, а на ее месте вырастали удивительные нарядные города, по улицам которых прогуливались беспечные нарядные люди. И тогда мне становилось понятным название «сеансы» – я так глубоко погружалась в сказочный мир этой невероятной чужой жизни, что он и вправду напоминал кино.

Начинался следующий сеанс. «Представляешь, - говорила Сабина, - тогда, перед Первой мировой войной в Вене все обязательно носили головные уборы: шляпы, котелки, цилиндры. А женщины щеголяли в шляпах и шляпках. Ах, какие у меня были шляпы! Одна - жесткая, из белого кружева, пропитанного каким-то скрепляющим составом, другая из черного бархата, мягкая, с широкими полями, сбегаящими на лоб. В этих шляпах я превращалась в сказочную принцессу, на меня оборачивались мужчины, за мной следили глазами проходящие мимо дамы».

Я мысленно примеряла эти дивные шляпы, выбирала одну, Сабина другую, и мы сказочными принцессами проносились по венским проспектам, сперва к Собору Святого Стефана, оттуда по Кертнерштрассе мимо Королевской Оперы к готическому замку Гофбурга, забегали в Испанскую школу верховой езды и в Музей Липицанеров, - куда угодно, только бы подальше от нашего разоренного города, над которым никогда не смолкало тяжелое

уханье пушек. Потому что немецкая армия не ушла далеко, а залегла в отдаленном пригороде и оттуда лениво постреливала куда придется.

Сперва у нас в квартире было страшно холодно, потому что паровое отопление не работало, а топить печку на кухне было нечем. Но однажды к нам ворвалась Шурка с каким-то хромым стариком, который нес на спине железную бочку с трубой, и объявила, что дядя Федя сейчас поставит нам буржуйку, а о цене она уже с ним сговорилась. Пока дядя Федя прилаживал буржуйку рядом с пианино и выводил трубу в форточку, Шурка увела Сабину в мою комнату и они там долго кричали друг на друга. Но потом договорились, и Сабина ушла в свою спальню, чтобы вытащить из-под кровати заветный сундучок.

Она вынесла оттуда что-то завернутое в полотенце. Покончив с трубой, дядя Федя осторожно отогнул уголок полотенца, - в нем была драгоценная ваза, оставленная нам Лилианой. Дядя Федя довольно кивнул, цокнул языком и молча захромал вниз по лестнице. «Следующий вопрос – задумалась Сабина, - чем эту буржуйку топить?» «Мебелью, чем еще?» - быстро нашлась Шурка. «Да, конечно, только мебели у нас немного». Тут Шурка изобразила из себя взрослую и практичную: «Это мы с Линкой должны обсудить наедине».

Я сразу догадалась, что она хочет со мной обсудить, - свои драгоценные отмычки, открывающие любые двери. Сабину мы решили в это не посвящать, - а вдруг она откажется, кто ее знает? О наших приключениях при хищении мебели из покинутых квартир я рассказывать не буду, о них можно написать целую книгу. Скажу только о том, как хорошо, как сладко было размаывать всю зиму клубки Сабининых сеансов под веселый треск обломков чужой мебели в нашей прожорливой буржуйке.

Откуда я выкопала слово «прожорливая»? Наверно из подсознания, как учила меня Сабина, которая уверяла, что нашим поведением командует не сознание, а подсознание. В тот жуткий год я была бы прожорливая, если бы было, что жрать. Не знаю, сознание этим командовало или подсознание, но стоило мне закрыть глаза, как передо мной всплывали картины праздничных столов, ломящихся от обильной жратвы. При Сабине я, конечно, называла жратву едой, но болтаясь по чужим квартирам, мы с Шуркой говорили только о жратве: где бы и как бы ее достать? «У кого бы ее стибрить?»- ломала себе голову Шурка.

Но как можно было стибрить то, чего ни у кого не было? Ку-

пить тоже было негде, даже если бы было на что – магазины так и не открылись, открылись только распределители, где жратву выдавали по талонам. Но талоны выдавали не всем, а только тем, кто их заслужил. Мы с Сабиной заслужить их ничем не могли, а наши небольшие припасы, принесенные мамой Валею в рюкзаке, таяли на глазах. Казалось, надеяться было не на что.

18.

Спасение явилось неожиданно и волшебю – к нам пришла не фея из сказки, а директриса моей школы Лидия Петровна. Сначала она притворилась, будто пришла сказать мне, что со следующей недели в школе начинаются занятия. Не успела я удивиться, что директриса Лидия Петровна, которая раньше вообще меня не замечала, самолично явилась, чтобы мне об этом сообщить, как она открыла истинную причину своего появления.

“Милая Сабина Николаевна, - промяукала она каким-то извиняющимся голосом, - ведь правда, что вы не только педагог, но и детский врач?” Извиняться ей было за что – это она объявила на собрании, что в нашей школе не место родственникам врагов народа, после чего уволила Сабину без права преподавать в любом учебном заведении. «Откуда вы это взяли?» – насторожилась Сабина.

“Ну, люди говорят, да и в старых газетах есть статьи о вас”. И она выложила на стол ту самую статью из архива, которую мы с мамой Валею сожгли в унитазе: «Ведь это про вас, не правда ли?» Сабина смотрела на статью, как на гранату в ожидании взрыва, но вместо взрыва изо рта Лидии Петровны вырвался поток меда с горячим молоком из моего сна о жратве: “Для открытия школы мне необходим врач, а открыть школу необходимо – и детей убрать с улицы, и дать работу учителям. Каждый ученик будет получать горячий завтрак, а каждый учитель – ежедневный талон на четыреста грамм хлеба”.

Весь этот разговор велся в столовой - Сабина и директриса сидели на двух оставшихся в живых стульях, а я стояла у Сабины за спиной. Услышав про горячий завтрак, я не удержалась и легонько ущипнула Сабину чуть пониже плеча, чтобы она не вздумала отказаться. Она поняла меня, но сразу не сдалась: “Но как вы можете взять на работу родственника врагов народа?” «Ах, военное время все нарушения спишет, - отмахнулась директриса, - тем более, что в городе вовсе не осталось врачей. Кто ушел на фронт, кто эвакуировался: вы ведь знаете, что большинство наших врачей - евреи”.

«Да неужели?» - притворно удивилась Сабина. Оказывается, если ее разозлить, она может и притвориться. Но в конце концов она согласилась с понедельника начать работать в школе врачом, после чего директриса ушла, предупредив меня взять с собой мисочку и ложку для завтрака. Как только на лестнице затихли ее шаги, я устроила вокруг Сабины пляску диких индейцев, распевая во все горло: «Завтрак горячий, завтрак горячий! И хлеба, и хлеба четыреста грамм!» При этом я била, словно в бубен, в мисочку, предназначенную для завтрака. «Но это не отменяет наших сеансов», - твердо напомнила Сабина. И напрасно: я и не собиралась их отменять – постепенно они стали главной радостью нашей убогой жизни, без хлеба, без света, а часто и без воды.

Перебои с водой начались еще при немцах, но и с возвращением советских случались довольно часто. Мы с Шуркой нашли частичное спасение: мы добыли с помощью ее отмычек несколько выварок и ведер, и при всякой возможности наполняли их водой до краев.

Моя странная дружба с Шуркой продолжалась – мне от нее была сплошная польза, а вот зачем я была нужна Шурке, я так и не смогла понять. Может, ей просто было одиноко: ее бабушка стала совсем старенькая и глухая, ее дружков забрали в армию, ее подружек родители увезли на Восток, денег у нее не было, выйти из дому вечером было некуда и страшно, вот она и пристрастилась к нашему гнезду, где ее всегда встречали как родную.

Мы обычно приглашали ее поужинать с нами, но она, зная нашу нищету, никогда не приходила с пустыми руками, а всегда приносила с собой какое-нибудь лакомство, то ли кусочек сала, то ли пол-плитки шоколада. Сколько я ни пыталась выудить из нее, где она эти лакомства доставала, она так никогда и не открыла мне свой таинственный источник. Мне кажется, Сабина что-то подозревала, но со мной своими подозрениями не делилась.

С понедельника у нас началась новая жизнь – мы встали рано, старательно оделись, выпили по чашке чая с одной галетой, и отправились в школу, совсем как когда-то давно, до того, как Сабину уволили. Сабина несла свой медицинский чемоданчик, а я в одной руке держала портфель, куда я спрятала ложку, в другой – мисочку для завтрака. На улице уханье пушек слышалось яснее и казалось ближе, но мечта о горячем завтраке

делала эти пушки более безобидными.

Завтрак стали раздавать на второй переменке. Буфетчица тетя Варя внесла в класс большую кастрюлю, и мы выстроились перед ней в очередь со своими мисочками. В каждую мисочку тетя Варя наливала половник жидкой пшенной каши, которая пахла так замечательно, что сразу захотелось попросить добавку. Но добавку никто не собирался нам давать. По дороге домой Сабина показала мне тяжелую горбушку черного хлеба и сказала: «С голоду мы теперь не умрем».

С того дня наша жизнь как бы наладилась: иногда включали свет, иногда включали воду, каждый день мы топили свою пузатую буржуйку и кипятили на ней чайник для чая или кастрюлю с водой для супа, если было из чего его сварить. Суп мы варили из фасоли или перловки, и заправляли его ложкой лука, пожаренного в ложке подсолнечного масла. Масло, лук и фасоль мы покупали по воскресеньям на центральном рынке на Сабину зарплату или на маленькие деньги, которые я получала по мамыному аттестату.

Аттестат на имя Сталины Столяровой принес молодой красноармеец, который ничего не знал ни про маму Валу, ни про ее здоровье. Красноармеец велел мне расписаться в большой тетради и ушел, оставив мне тоненькую книжечку с талонами. По этим талонам мне каждые две недели выдавали немножко денег, и мы с Сабиной в воскресенье спешили на базар с утра пораньше, пока там не все раскупили. Несмотря на безумные цены люди раскупали продукты страшно быстро, потому что людей было много, а продуктов мало.

Шурка уговорила меня иногда ходить с ней на «менку» – так назывался специальный рынок, на котором продукты не продавали за деньги, а меняли на вещи. Шурка приносила туда разные коробочки и шкатулки, собранные ею из чужих квартир при помощи заветных отмычек, а я выпрашивала у Сабины какие-нибудь безделушки, которые она хранила в память о прошлом. Она очень неохотно расставалась с ними, но, как говорила Шурка: «голод не тетка».

Столик на «менке» был не бесплатный, и мы с Шуркой скидывались – половину платила она, половину я. Тетки, меняющие продукты на вещи, были настоящие нелюди, готовые перегрызть глотку за каждый грамм жратвы. Зато как мы ликовали, когда удавалось за какой-нибудь пустячок отхватить немножко сала или гречки!

В один такой день мы с Сабиной славно поужинали после

сеанса, и я села готовить при свете коптилки уроки на завтра. Сабина постояла за моей спиной, вздохнула и произнесла фразу, которую я давно от нее ожидала и которой боялась: «Хотела бы я знать, где сейчас мои девочки».

Мне сразу стало неудобно в нашей, такой обжитой нами, квартире. Во-первых, ее девочки и впрямь совершенно пропали, вот уже два месяца от них не было ни слуху, ни духу. Почта до окруженного немцами Ростова не доходила, а все наши попытки вызвать девочек на переговорную кончались неудачей: мы несколько раз посылали им вызов и всю ночь напрасно сидели на жесткой деревянной скамейке на телеграфе, но никто на наш вызов не приходил. А сводки по радио были ужасные – немцы подошли к самой Москве, и бабки на базаре судачили о том, что всю Москву уже разбомбили дотла. Что же было Сабине думать, если за это время девочки нас ни разу не вызвали на переговорную?

А во-вторых, до меня как-то вдруг дошло, что я ей не родная дочка, а случайный подкидыш - у меня, кроме нее никого не было, а у нее были Рената и Ева, родные, талантливые и красивые, не то, что я. От этих мыслей мне стало так горько, что слезы сами заструились по моим щекам. Я наклонила голову пониже над своими уроками, чтобы Сабина не заметила моих слез, капающих на только что решенную задачку, и вдруг почувствовала ее ладони на своих плечах. Она склонилась надо мной, прижалась щекой к моей щеке и прошептала: «Линочка, детка моя, что бы я без тебя делала? Я каждый день благодарю Бога за то, что он послал мне тебя в годину испытаний!»

Услышав про «годину испытаний», я заплакала громко, навзрыд, жалея себя и ее, и ее девочек, и Льва Ароновича, попавшего в немецкий плен, и маму Валю, от которой тоже не было никакой весточки, и даже Шурку, хоть она храбрилась и уверяла, что ей все нипочем, была бы в доме жратва и кипяток для чая.

В нашем городе в тот год было кого пожалеть, хоть я не уверена, что кто-нибудь кого-нибудь жалел. Зима выдалась на редкость суровая и нам с Шуркой становилось все трудней добывать мебель для наших буржуек. Дети приходили в школу голодные и замерзшие, они все немножко обалдели от непрерывного уханья пушек и беспорядочных взрывов немецких снарядов в самых неожиданных местах, и стали страшно нервные.

Сразу после Нового года во втором классе произошел безумный скандал, который мог бы кончиться невесть чем, если

бы не Сабина. В тот день во время урока арифметики совсем близко раздался треск пулеметных выстрелов и по улице за окном промчались два мотоцикла. Кто-то из задних рядов громко выкрикнул «Немцы!», и девочка по фамилии Каплан, стоявшая у доски, уписалась от страха. Она уронила мел, уставилась на расползающуюся у ее ног лужу и громко завизжала. От ее визга в классе началась общая истерика – все дети тоже громко завизжали и дружно уписались, а некоторые даже укакались.

Испуганная учительница выскочила из класса и срочно вызвала директрису Лидию Петровну, которая, отправив учительницу во врачебный кабинет за Сабиной, помчалась в непослушный класс. Прежде, чем поспешить за директрисой, Сабина взяла свой чемоданчик, а по дороге заглянула в мой класс и вызвала меня. Когда мы с Сабиной ворвались во второй класс, там творилось нечто невообразимое. Все дети вскочили с мест и бились в истерике, а Лидия Петровна громко на них орала и топала ногами – похоже, у нее тоже началась истерика.

Это было очень заразительно – я почувствовала, как у меня внутри начинают дрожать и звенеть какие-то струны, а горло стискивает жесткая злая рука. Чтобы расслабить давление этой руки нужно было срочно завизжать и написать в штаны. Но я не успела это сделать, потому что мое внимание отвлекла большая лужа с неровными краями, ползущая из-под колотящих пол каблуков директрисы. Сосредоточившись на брызгах, летящих из-под туфель, я не заметила, что сделала с директрисой Сабина. Но вдруг туфли перестали отбивать чечетку и голос Лидии Петровны зазвучал не так пронзительно.

Я подняла глаза и услышала, как Сабина тихо говорит: «Лидия Петровна, пожалуйста, выйдите из класса». Сабина была маленькая и худенькая, а Лидия Петровна была настоящая директриса – высокая, полногрудая и красиво одетая. Но она вдруг съежилась, втянула голову в плечи и послушно выбежала в коридор. Сабина вынула из чемоданчика блестящий зеркальный шар на шнурке и дала его мне: «Покачивай его слегка, как маятник». Я качнула шар, он засверкал и закружился, и некоторые дети уставились на него. Подождав минуту, Сабина заговорила тихо и внятно, повторяя каждую фразу несколько раз:

“Тихо, дети, тихо, все хорошо, все в порядке.

Вы чувствуете себя спокойно и удобно.

Вы чувствуете вялость и сонливость.

Вы чувствуете себя спокойно и удобно.

Вас клонит ко сну.
Ваше зрение затуманивается;
Ваши веки тяжелеют;
Ваши веки все тяжелее и тяжелее, они сами закрываются,
Вы такие сонные, сонные, сонные;
Вы засыпаете, засыпаете, засыпаете;
Вы засыпаете, засыпаете, все крепче и крепче;
Вы спите, вы крепко спите”.

Постепенно многие дети переставали визжать и колотить ногами об пол, их головы склонялись на грудь, их руки начинали тереть глаза и они шлепались кто куда, - обратно за парту или прямо на пол. Вслед за ними и остальные, более упорные, переставали вопить и отчаянно закидывать головы назад, будто стремились сломать себе шеи, и тоже сваливались туда, где стояли, иногда в собственную лужу. И только Светка Каплан, та, которую паника застигла у доски и которая первая начала биться в истерике, никак не могла успокоиться.

Сабина подошла к ней сзади и принялась легкими движениями гладить ее по голове и по плечам, а мне скомандовала встать перед Светкой и то отдалять, то приближать к ее лицу крутящийся шар. Безумный Светкин взгляд сосредоточился на шаре и она начала потихоньку затихать – не так дергаться и дрожать, не так пронзительно вскрикивать. Тогда Сабина подставила ей стул и, слегка нажав на ее плечи, осторожно усадила ее, продолжая поглаживать ей шею и приговаривая: «Ты очень хочешь спать, твои веки тяжелеют и сами закрываются. Ты засыпаешь, засыпаешь, засыпаешь. Ты спишь, ты крепко спишь». И Светка в конце концов заснула, как все остальные.

Мы с Сабиной остались одни перед толпой детей, заснувших в самых странных позах. «Как тебе это удалось?» - не веря своим глазам спросила я. «Я училась этому полжизни. Я расскажу тебе об этом потом, а сейчас нужно этих несчастных детей разбудить. Но не сразу».

В дверь заглянула расстрепанная директриса, - похоже, она уже пришла в себя и немножко помылась. «Как дела?» И ужаснулась, увидев разбросанные по полу детские тела: «Что с ними? Они живы?» «Конечно, живы. Просто они во власти гипнотического сна». «Что же теперь будет?» «Ничего особенного. Я дам им немного поспать, а потом начну выводить их из этого состояния».

“Нужно вывести их немедленно, - подняла голос директриса, а то ведь они могут никогда не проснуться”. “Если вы лучше меня знаете, что делать, так выводите их сами”, - тихо ответила Сабина и двинулась к дверям. “Нет, нет, Сабина Николаевна, вы не так меня поняли! Мне просто стало страшно, что...это самое...ну, вы знаете... – забормотала испуганная директриса, - не уходите, не оставляйте меня с ними наедине!”

«Как вам будет угодно», - пожала плечами Сабина и обратилась ко мне: “Лина, давай сюда шар, он больше не нужен”. Пока она прятала шар в чемоданчик, директриса наконец заметила меня: “Ты что тут делаешь, Столярова? Почему не на уроке?”

“Я вызвала ее с урока, потому что я бы не справилась одна с таким количеством обезумевших детей”.

“Но ведь она не сумеет сохранить этот случай в тайне. Она обязательно кому-нибудь расскажет!”

“Но ведь и дети тоже расскажут об этом родителям”, - возразила Сабина.

“А вы не можете сделать так, чтобы они обо всем забыли?” Сабина опять пожала плечами: “Я могу постараться”. И тут директриса упала перед ней на колени и промяукала с заискивающей улыбкой: “Ради Бога, постарайтесь. Я знаю, что вы можете все. Я читала статью о вас в одном старом журнале”.

Сабина отшатнулась от стоящей на коленях растрепанной директрисы в измятой юбке и в туфлях на босу ногу: «Я сделаю, что смогу, Лидия Петровна, только, пожалуйста, встаньте с колен!” Директриса стала неловко подниматься, ей это было нелегко, ей для этого пришлось упереться обеими руками в пол, но тут она потеряла равновесие и рухнула на локти.

“Помоги Лидии Петровне, Лина”, - я никогда не слыхала, чтобы Сабина говорила таким командирским голосом, словно ее подменили.

Я помогла директрисе подняться, та, с трудом сохраняя равновесие, добрела до стула и тяжело опустилась на сиденье: “Вы представляете, что со мной будет, если об этой истории узнают в горькомедии? – прорыдала она и обернулась ко мне. - Иди к себе в класс, Лина, спасибо за помощь. И никому ни слова. Поверь мне, если ты не будешь говорить лишнего, ты об этом не пожалеешь”.

Я вышла в коридор, но к себе в класс не пошла – в голове у меня все встало дыбом и перед глазами мелькали картины одна страшней другой: исступленно визжащие дети, бьющаяся в ис-

терике Светка Каплан, тяжелый, незнакомый мне взгляд Сабины и ее командный голос, и директриса, стоящая перед ней на коленях. Я пошла в уборную, села на унитаз и постаралась привести свои мозги в порядок. Пришла я в себя только к большой перемене, когда стали раздавать горячий завтрак, потому что завтрак я пропустить не могла.

Не знаю, как Сабина вывела второклассников из гипнотического сна, но на раздачу завтраков они не пришли. Тогда я побежала в их класс проверить, живы ли они, но он был пустой, там был только дворник дядя Миша, который мыл пол сильной струей из брандспойта. Так эта история и закончилась, если не считать, что Сабина вышла из школы с большой хозяйственной сумкой в руках. В сумке оказалась буханка хлеба, пакет пшена и бутылка постного масла. В тот день мы славно поужинали и провели на радостях двойной сеанс. Он был очень увлекательный: Сабина рассказывала мне, как Фрейд падал в обморок из-за ссор с Юнгом.

Несколько дней после коллективной истерики в классе мы ели как люди, не считая каждую крошку, а ведь до этого мы изрядно изголодались. Потому что прошло уже две недели, как у нас кончились талоны в мамывалином аттестате. Мы стали ждать, когда какой-нибудь красноармеец принесет нам новую книжечку, но никто не шел и не шел. Тогда мы с Сабиной отправились в городской военкомат, чтобы проверить, не забыли ли там обо мне.

Молоденькая девушка в приемном окошке долго листала пухлые тетради и в конце концов объявила, что никакого аттестата мне не полагается, потому что меня нет ни в одном списке. "Но этого не может быть!" – заорала я и в десятый раз сунула ей под нос корешки своего прошлого аттестата. Девушка неохотно пролистала корешки и спросила: "И больше у тебя никого нет?" "Никого на всем свете!" – взвыла я так громко, что из-за двери за спиной девушки выглянула лысая голова.

Выглянула и спросила: "В чем дело? Отчего такой крик?" "Да вот, сиротка не верит, что ей больше не положен аттестат от матери". "А мать ее кто?" "Старший лейтенант по медицинской части Валентина Гинзбург". Голова выпустила вперед руки, за ними ноги в сапогах, а за ногами все тело в военной форме, которое оказалось совсем небольшим для такой головы и таких сапог. "Ты что, дочка Вальки Столяровой?" – спросил хозяин головы и тела. "Ну да, дочка", - пролепетала я, надеясь, что сейчас все

разрешится, раз этот головастик знал маму Валю.

Он попятился и опять скрылся за дверью, бросив по пути короткое: “Сейчас я проверю”. “Не уходите! Не оставляйте меня тут!” - прорыдала я ему вслед, но дверь уже захлопнулась. Сабина прошептала: “Не серди их. Идем, сядем на скамеечку и подождем”. На этой проклятой скамеечке мы сидели так долго, что ноги у нас затекли, пока дверь опять не приоткрылась. Из-за двери опять вылезла голова и позвала: “Марина, зайди ко мне!”

Марина поднялась из-за окошка и пошла навстречу голове, она тоже оказалась маленькая, головастая и на коротких ножках, обутых в большие сапоги. Головы пошептались, и Марина отправилась обратно на свое место, неся в руках белый листок. “Сталина Столярова?” - сурово спросила она, глядя в потолок над моей макушкой. “Да”, - ответила я, пугаясь. “С 1942 года тебе не полагается аттестат от старшего лейтенанта по медицинской части Валентины Гинзбург, потому что она скончалась от ран, полученных на фронтах войны. – И она протянула мне листок: Распишись”.

Я не стала расписываться, потому что не поняла, что она сказала. Я спросила: “Что значит – скончалась?” “Это значит умерла”, - объяснила Марина, но я все равно не поняла: “Что значит умерла? Мама Валя не могла умереть, она обещала меня вырастить, пока я не кончу институт”. “Сейчас война, и многие люди умирают на фронтах”, - произнесла Марина деревянным голосом, наверно она повторяла эту фразу много раз в день. Для нее мама Валя была одной строчкой в ее тетрадке, а для меня она была единственная мама Валя, потому что у меня не было другой.

И я отшатнулась от их страшного окошка и побежала, сама не зная, куда. Я бежала так быстро, что бедная Сабина не могла за мной угнаться, и я убежала далеко-далеко, пока не наткнулась на высокий зеленый забор. Дальше бежать было некуда и незачем, и я упала на чуть присыпанный снежком асфальт, пытаюсь понять, как мне теперь жить, если мама Валя умерла. Умерла – значит, что ее нигде никогда больше не будет, а до этого она была всегда. Даже когда ее увезли с госпиталем на восток, чтобы лечить ее раны, она была там, на востоке, и просто надо было дождаться того дня, когда она вернется. А чего было ждать теперь? Даже когда мои настоящие мама и папа исчезли неизвестно куда, можно было надеяться, что они еще найдутся. А на что надеяться теперь?

Пока я грызла мокрый снег и старалась привыкнуть к мысли, что мамы Вали больше никогда не будет, над моей головой возникли маленькие ботики, чем-то мне знакомые. Я присмотрелась и вспомнила, что видела эти ботики раньше, в другой жизни, до смерти мамы Вали, на ногах Сабины Николаевны. Не знаю, почему я вдруг подумала о ней как о Сабине Николаевне, когда она давно стала для меня просто Сабина. Наверно потому, что без мамы Вали все должно было перемениться, должно было стать не так, как было.

“Идите домой, Сабина Николаевна, - сказала я ботикам, - идите и оставьте меня здесь, я все равно не могу теперь вернуться туда, где я раньше жила с мамой Вале́й”. Но ботики и не подумали уйти, они наоборот подошли совсем близко в моему лицу, даже слишком близко, и один из них наступил мне на плечо. Не просто наступил, а больно прижал меня к твердому асфальту. «Хватит валяться на снегу, - произнес знакомый голос, похожий на голос Сабины Николаевны, но звучавший как будто через толстый слой ваты. – Ты сейчас встанешь, выплюнешь снег и пойдешь за мной. Встанешь и пойдешь, встанешь и пойдешь, встанешь и пойдешь».

И я встала и пошла, встала и пошла. Я качалась, как пьяная, так что Сабине Николаевне пришлось взять меня за руку и повести. «Это же надо, куда забежала, я даже не представляю, как мы теперь доберемся до дома», - проворчала Сабина. «Я не хочу домой!» – я рванулась от Сабины прочь, но она держала меня крепкой хваткой: «Хочешь, не хочешь, а пойдешь!»

Я не помню, как мы добрались до дома, не помню, как поднялись по знакомой лестнице и как вошли в знакомую квартиру, в которой я никогда не жила без мамы Вали. Помню, что Сабина заварила какой-то горький чай, насыпала в него последние две ложки сахара и заставила меня выпить всю большую чашку до дна. А потом я провалилась в черную пропасть и проснулась только назавтра, проснулась слишком поздно, чтобы идти в школу – зимнее солнце торчало высоко над соседней крышей, а когда мы с Сабиной по утрам ходили в школу, обычно было еще темно.

Хоть солнце светило вовсю, в комнате стоял собачий холод – наша буржуйка всегда полностью выстывала за ночь.

Я лежала на диване в сабиной столовой, сама Сабина давно ушла на работу, оставив мне на столе два кусочка черного хлеба, поджаренного в постном масле, и записку: «Никуда

не уходи. Жди, пока я вернусь». Но я не могла оставаться в этой пустой ледяной квартире, зная, что мама Валя никогда сюда не придет. Я попыталась умыться и открыла кран, но воды не было. Тогда я съела хлеб, запивая его водой из ведра, и пошла к Шурке. Я знала, что Шурка часто возвращается домой поздно, а потом спит пол-дня, и надеялась, что застану ее дома.

Так и оказалось: Шурка в ночной сорочке открыла мне дверь и призналась, что только что проснулась. «А ты почему не в школе? - удивилась она. – Случилось что-нибудь?» Я хотела рассказать ей про маму Валю, но не смогла произнести ни слова, изо рта у меня вырвался хриплый стон, а из глаз брызнули слезы. Шурка испугалась: «А где Сабина? В школе?» Я опять попыталась что-то сказать, но зарыдала еще отчаянней. Шурка схватила меня в охапку и потащила к бабушке на кухню, там топилась печка, было тепло и пахло чем-то вкусным.

“Бабушка, налей Линке чаю, сейчас мы будем ее лечить, раз Сабины нет дома!” - распорядилась она. Бабушка поспешно налила кипятка в большую кружку и капнула в нее немножко драгоценной заварки из маленького чайничка – у Шурки в доме всегда все было. Я взяла у нее кружку, но пить не смогла: руки у меня так дрожали, что часть кипятка расплескалась.

“Поставь кружку и сядь за стол!” - скомандовала Шурка, доставая с полки рюмку и бутылку с коричневой жидкостью. Она ловко налила полную рюмку из бутылки и поднесла к моим губам: “Пей залпом и не пугайся!” Я сделала над собой усилие, большим глотком втянула в себя коричневую жидкость, и пошатнулась - мои внутренности обожгло горячим пламенем, в голове взметнулись разноцветные волны. “Ты с ума сошла!” – заорала я и перестала рыдать.

“Вот видишь, я сказала, что могу вылечить тебя не хуже твоей Сабины! Это – великое лекарство, настоящий ром! Помнишь, как в кино “Остров сокровищ: Йо-го-го, и в бочонке ром!” – похвасталась Шурка, но быстро опомнилась и спросила: “Что же с тобой все-таки случилось?”. Волны из моей головы переместились куда-то в грудь, под ложечку, и я выдохнула, сама ужасаясь своим словам: “Мама Валя умерла”. “Как так – умерла? Она же еще не старая!” “Скончалась от ран”, - повторила я дурацкие слова головастой Марины. “Откуда ты узнала?” “В военкомате сказали. И объяснили - сейчас война, и многие люди умирают на фронтах”.

“Значит, ты теперь сирота, как и я. На, заешь беду, - и она

протянула мне конфету, настоящую шоколадную конфету, какой я не видела давным давно. – Но я, как видишь, выжила, и не так уж плохо. Значит, и ты можешь выжить. Эх, Линка, была бы ты хоть чуть постарше, взяла б я тебя с собой, и ты бы горя не знала! Но подождем годик-другой, а там видно будет!” Я сунула конфету в рот и ужаснулась, глотая сладкую шоколадную слюну: “Ты думаешь, эта жуткая война продлится еще годик-другой?” «А с чего бы ей кончиться? У немцев, знаешь, какая армия? Одних танков – тыщи!»

“Откуда ты знаешь?” Шурка прикусила губу и уставилась на меня: “Откуда, ты думаешь, у меня все это добро – ром, конфеты, сливочное масло?” Я не знала, откуда, я никогда об этом не думала. “Их дарят мне красные командиры, я по вечерам хожу в их клуб, танцую с ними, выпиваю, ну, и вообще... И слушаю их разговоры. Они думают, что я совсем дурочка, и болтают, будто меня нет рядом, а я слушаю и мотаю на ус. Я скажу тебе по секрету: не слушай трепню громкоговорителя - к лету немцы возьмут Ростов. И тогда нам всем хана”.

Я онемела от ужаса: каждый день громкоговоритель уверял нас, что Ростов – самый неприступный город СССР и немцы никогда его не возьмут. «Что же будет?» «Что бы ни было, я немцев ждать не буду. В начале лета я удеру отсюда и буду пробираться на восток. Хочешь со мной?» Я уставилась на Шурку – она была не чета мне: взрослая, высокая, красивая и рыжая. «Не знаю, вряд ли я смогу. Да и как я брошу Сабину?» «Да, Сабину с собой взять нельзя, как и мою бабушку, они не выдержат, - задумалась Шурка. И нашла выход: Знаешь, ты будешь за ними ухаживать, за бабушкой и за Сабинкой. А я тебе за это оставлю продуктов на год, для всех троих. Ладно?»

“Ладно”, - вяло согласилась я, плохо представляя, что она имеет в виду. “А пока я подарю тебе пару отмычек, у меня есть лишние”. “Что я буду делать с отмычками?” “Будешь открывать чужие двери, когда нужда приплет”. “Но я же не умею!” “А я тебя научу, прямо сейчас. Это дело нехитрое, если инструмент хороший, - и она протянула мне две отмычки, - а у меня инструмент первоклассный, спасибо папочке”.

Отмычки выглядели как тонкие палочки с крючками на концах. Шурка потащила меня к двери и тут же преподала первый урок. Я оказалась способной ученицей, Шуркину дверь я наловчилась открывать быстро, и мы отправились на лестницу – практиковаться на замках удравших от войны соседей. Через

несколько минут я открыла первый замок на втором этаже, и за этим занятием, возвращаясь из школы, застучала нас Сабина. «Что вы тут делаете, красотики?» - спросила она снизу, с первого этажа. «Спрячь отмычки, - прошипела Шурка и, прикрывая меня, двинулась навстречу Сабине. – Линка мне рассказала про Валентину и я ее утешаю». «Почему на лестнице?» - удивилась Сабина. «Чтобы бабушка не слышала, - лихо соврала Шурка, - а то у нее будет сердечный приступ, она ведь так любила Валентину». Пока они разговаривали, я исхитрилась сунуть отмычки в красный кисет с моей метрикой, висевший у меня на шее.

«А ты молодец. Я вижу, ты и впрямь ее успокоила», – похвалила Шурку Сабина, на что Шурка не удержалась зазнаться: «Вы воображаете, что только вы умеете утешать несчастных?» «Ничего я не воображаю, я рада, что и ты это умеешь. Меня на всех несчастных не хватит. А сейчас иди домой, ни к чему болтаться на лестнице в ночной сорочке».

Шурка убежала к себе и мы с Сабиной тоже вернулись в свою квартиру. Как только мы вошли в прихожую, Сабина обняла меня за плечи: «В свою комнату не ходи, иди прямо на кухню, мы сейчас будем готовить обед». И она выложила на кухонный стол кроме обычной хлебной пайки нечто необыкновенное – половинку курицы, луковицу и пять картофелин: «Это будет настоящий пир!» «Ты что, ограбила военный распределитель?» - удивилась я, зная, что гражданским лицам продукты в магазинах не продают. «Почти! Я ограбила школьный буфет». «Я и не знала, что там водятся куры». «Для кого водятся, для кого нет. Это тебе подарок от Лидии Петровны».

Мы приготовили роскошный куриный суп с картошкой и жаренным луком, половину съели, а половину выставили за окно – на завтра. Я хотела было сесть за уроки, но Сабина сказала: «Нет, сегодня у нас будет двойной сеанс, ведь вчерашний день мы пропустили», и мы отправились на свои обычные места – она на кушетку, а я на стул возле стола. И так мы провели несколько месяцев: утром в школу, потом на кухню, а потом она на кушетку, а я на стул возле стола. Постепенно голова наполнилась удивительной историей ее жизни, из которой можно было выкроить несколько романов.

Конечно, время от времени нам приходилось делать перерывы – иногда ходить на базар, иногда на менку, но такого великолепного обеда, как в тот день, приготовить ни разу не удалось. Только один раз мы прервали свои сеансы, когда вдруг словно с

неба свалилось на нас приглашение на переговорную от Ренаты из Москвы. Приглашение было на два часа ночи, но Сабина так разволновалась, что не смогла собраться с мыслями, а рвалась бежать на центральный телеграф чуть не с утра. С утра, не с утра, но пойти пришлось ранним вечером, потому что трамваи не ходили и нужно было успеть добраться туда до комендантского часа.

Дойти до телеграфа пешком нам было нелегко, особенно Сабине. Но мы все-таки успели до того, когда в городе погас свет, - там, где он в тот вечер был. Мы вошли в зал и сели на жесткую деревянную скамейку, готовые ждать несколько часов, пока дадут разговор. К счастью, уже началась весна, и было не так холодно, как зимой, но все-таки к полночи мы совершенно заоченели.

На удивление нас вызвали в кабинку ровно в два часа, но телефонная линия трещала, как аплодисменты после концерта Евы. «Мама, – прорвался голос Ренаты сквозь треск, - наш дом разбомбили. Что нам делать? Может, ехать к тебе?» «Вы с ума сошли! – закричала Сабина. – Ни в коем случае, наш город окружен немцами!» «Ничего не слышу! – заорала Рената. – Так ехать к тебе или нет? Нам тут очень страшно, все время бомбят, а по радио говорят, что Ростов не сдадут никогда». «Не верьте радио, - еще громче заорала Сабина. - Ни в коем случае сюда не ехать!» И тут связь прервалась. Сколько мы ни ждали, телефонистке так и не удалось ее наладить.

Наступило утро, кончился комендантский час, и мы поплелись домой. За всю дорогу Сабина не проронила ни слова. Пока мы добрались до дома, занятия в школе уже начались, но Сабина, не останавливаясь, прошла в свою спальню, рухнула на постель и с головой укрылась одеялом. Полежав пару минут молча, она слабым голосом позвала меня: «Линочка, позавтракай без меня, а потом пойди в школу, извинись за опоздание и скажи Лидии Петровне, что я заболела».

Я вскипятила чайник и заставила Сабину выпить стакан чая – заварки у нас давно не было, но Сабина еще с осени припасла мешок сушеных смородиновых листьев, вкус у них был совсем не плохой. Сама я завтракать не стала, а галопом помчалась в школу, чтобы успеть получить положенный мне половник пшенной каши. Наспех проглотив кашу, которой было так мало, я отправилась в кабинет Лидии Петровны.

Я вежливо постучала в дверь и вошла как раз вовремя, что-

бы заметить, как директриса торопливо сунула в ящик тарелку со своим завтраком – если там была каша, то ее было гораздо больше, чем давали нам, но, по-моему, там розовело еще что-то вроде сосиски. «В чем дело, Столярова?» - сердито спросила Лидия Петровна, явно недовольная тем, что я прервала ее завтрак. «Я пришла сообщить, что Сабина Николаевна заболела», - выпалила я, испугавшись, что она меня выставит за дверь до того, как я успею это сказать.

Лицо Лидии Петровны перекошилось – ученики стали слишком нервными от голода, и она ни дня не могла обойтись без помощи Сабины: «Что-то серьезное?» Я решила испугать ее еще больше, - может, она со страху расщедрится на что-нибудь, нам не положенное? «Пока неясно, что-то с сердцем, она всю ночь не спала», - добавила я правду, чтобы не завратъся. «У нее был врач?» «Нет, зачем ей врач? Она сама себя лечит. – И тут меня осенило, и я прошептала, словно стесняясь сознаться: - Но у нас дома пусто и ей совершенно нечего есть».

“Сейчас, сейчас, - заторопилась директриса. – ты подожди в коридоре, а я что-нибудь придумаю!” Я послушно вышла из кабинета, прислонилась к стене и закрыла глаза, пытаюсь представить, что она нам может дать - а вдруг сосиски или кусочек сала? От мысли о сосисках у меня рот наполнился слюной и сладко засосало под ложечкой. Тут директриса вышла в коридор с полотняным мешочком - на вид не слишком большим. “Вот, возьми, и беги домой, - не стоит оставлять ее надолго одну”.

Я схватила мешочек и рванулась к выходу, но она меня остановила: «Ты мешочек мой обязательно завтра верни». «Конечно, конечно, завтра обязательно верну!» – заверила я ее и ветром помчалась по коридору. Я выскочила на улицу и сразу завернула за угол, где был дом с маленьким палисадником – мне не терпелось посмотреть, что Лидия положила в мешочек. Я села на скамейку и заглянула внутрь мешочка: никаких сосисок там не было, а только Сабина хлебная пайка и два пакетика – один с сахаром, другой с гречкой.

Тоже неплохо! – взликовала я. Где-то недалеко громко бухнуло, похоже, разорвался снаряд, но я уже не обращала на это внимания, я мчалась домой варить гречневую кашу! Погода была прекрасная, уже начался апрель, снег давно сошел и в нескольких палисадниках начала пробиваться зеленая травка.

И пробегая мимо кустиков, на которых уже пузырились вздутые почки, я мечтала, что мы с Сабиной разобьем в нашем дво-

ре маленький огород, где будем выращивать огурцы, помидоры и кабачки.

Когда я взлетела по лестнице на третий этаж и отперла дверь, в квартире было очень тихо. Я заглянула к Сабине – она крепко спала. Осторожно прикрыв за собой дверь, я отправилась на кухню варить кашу – сегодня, на удивление, все было в порядке: было включено электричество и из крана текла вода. Я включила электроплитку и пока варилась каша, быстро набрала воду во все выварки и ведра. Я с наслаждением съела полную тарелку каши – ведь не каждый день перепадает такой подарок! А потом свалилась на свой потертый диван и тоже сладко заснула, ведь и я прошлую ночь не спала.

Мне снились Рената и Ева: как будто они с топотом ввалились в кухню, чтобы вылить воду из всех выварок и ведер и обругать меня за то, что я замусорила нашу квартиру. Я громко заплакала от обиды и проснулась. За окном уже было почти темно, Сабина сидела за столом и, не зажигая свет, ела кашу. «Отчего ты плачешь? – спросила она. – И где ты достала эту душистую гречку?» Рассказать про гречку было приятно, но я не была уверена, что стоит рассказывать ей мой сон – он мог ее огорчить. Но Сабину не так просто было обвести вокруг пальца: она выведала у меня про сон и задумалась, – наученная своими Фрейдами и Юнгами, она была великая толковательница снов.

Она, конечно, сразу принялась выяснять у меня все подробности этого сна, даже те, которые я вроде бы забыла – как ее дочки оказались в квартире, как они были одеты, что говорили, выливая воду из ведер и выварок. «Значит, ты не хочешь, чтобы они вернулись, – заключила она задумчиво. – Странно, я ведь тоже не хочу, но совсем по другой причине». – «По какой?» – «Я не хочу, чтобы немцы убили их у меня на глазах». – «Так просто?» – спросила я, наученная ею, что просто ничего не бывает.

“Что ж, давай выясним, просто или не просто. Уступи мне место и начнем сеанс”. И все стало опять, как было – она лежала на диване, я сидела у стола и слушала ее рассказы о прошлом и настоящем. Так длилось до начала лета и закончилось неожиданно, в один страшный миг.

В середине июня заканчивался учебный год. В канун последнего учебного дня мы с Сабиной по дороге из школы обсуждали, как мы будем жить без ее хлебной пайки. Хоть наш огородик во дворе уже зазеленел, никакие овощи там пока еще не созрели. Идти по улице было неприятно, потому что немцы последнее

время сильно оживились и стреляли из пушек без передышки. Несколько раз снаряды разрывались совсем рядом с нами, но делать было нечего, все равно, нужно было дойти до дома.

Нам почему-то казалось, что в своем доме стены нас защитят и мы всегда сможем надежно спрятаться там от немецких обстрелов. И потому мы не поверили своим глазам, когда свернув на улицу Шаумяна из Газетного переуллка, увидели, что снаряд попал именно в наш дом. Как пишут в книгах: «дом полыхал, объятый пламенем». Но то, что я увидела, было совсем не похоже на то, что описывают в книгах. Там не рассказывают, как от огня пышет жаром даже на расстоянии, как из пламени вырываются во все стороны маленькие искры и зажигают соседние кусты, как щиплет глаза от дыма, и как обрывается сердце от того, что дома у нас больше нет и не будет.

Но страшней всего было то, чего ни в каких книгах никто не описал – на тротуаре перед домом лежала Шурка в ночной сорочке. Рыжие кудри рассыпались по асфальту, пола сорочки высоко вздернута, ноги странно подогнуты под спину, одна рука закинута за голову, рот раскрыт. Я бросилась к ней, не обращая внимания на жар и на искры, Сабина рванулась за мной и стала щупать пульс на Шуркиной закинутой за голову руке. Потом опустилась перед ней на колени и прислонилась ухом к тому месту на груди, где должно биться сердце. Но шум и треск стоял такой, что ничего нельзя было услышать.

“Помоги мне”, - сказала Сабина и мы вместе оттащили Шурку подальше от горящего дома – очень кстати, потому что через секунду внутри дома что-то обрушилось и на то место, где только что лежала Шурка, посыпались пылающие обломки. Странно и страшно было, что когда мы с Сабиной тащили Шурку по асфальту, она не стонала и не корчилась от боли – ей как бы было все равно. Но мне не хотелось верить, что ей действительно все равно: «Просто она потеряла сознание и не чувствует боли, правда?» Сабина печально покачала головой и снова стала слушать Шуркин пульс. Потом молча повернула ее голову на бок, и я увидела большую рваную рану, идущую от уха до затылка. Кровь запеклась на рыжих кудрях.

И тут до меня дошло: «Шурку убили, да? Ее убили и она умерла?» Это невозможно было понять – как могла умереть Шурка, такая веселая, такая умелая, такая живая? От горя я даже забыла, что наш дом сгорел вместе со всеми нашими припасами, с нашей буржуйкой, за которую так много было заплаче-

но, с нашими книгами, с нашими туфлями и платьями, с нашими кастрюлями, с нашими плитками, ведрами и выварками. В чем мы теперь будем держать воду? Впрочем, и набрать ее было бы негде, ведь и кран сгорел вместе с домом. И вообще, где мы теперь будем спать?

Я отвернулась от мертвой Шурки, чтобы не видеть ее посиневшего мертвого лица, перебежала через улицу и прислонилась к дереву, которое вроде бы пока не собиралось загораться. И тут за спиной у меня кто-то закричал: «Мама! Мама!» Мне почудилось на миг, что это кричит Шурка. Я обернулась и увидела двух женщин с рюкзаками, бегущих к нам со стороны Буденновского проспекта. Одна из них показалась мне знакомой, в спутанных мыслях мелькнуло: «Рената? Не может быть! Только этого нам не хватало!»

А Сабина уже бежала им навстречу, протягивая руки и спотыкаясь. Не добежав, она запнулась о какую-то неровность и упала на колени. Наверно она сильно ушиблась, потому что никак не могла подняться, хоть упиралась в землю ладонями и локтями. Незнакомые женщины подбежали к ней, плюхнулись на асфальт рядом с ней и начали ее целовать. «Мама! Мамочка! – кричали они, рыдая. – Мы уже не надеялись когда-нибудь тебя увидеть!»

«Откуда вы? Как вы сюда попали? – спросила их Сабина. – Ведь поезда не ходят!» – «Какие поезда? Мы пробирались сюда пешком. Через линию фронта! Мы два месяца шли по тропинкам. Мы просили милостыню. Но никто не подавал. Мы выменяли на еду все свои вещи! Мы боялись, что никогда сюда не доберемся!» - затараторили они, перебивая друг друга. «А зачем вы сюда шли?» – «Наш дом разбомбили и нам негде было спать. А по радио уверяли, что Ростов не сдадут никогда». – «Я же вам велела не верить тому, что говорят по радио! Здесь немцы со всех сторон». - «Ладно, пойдем домой и там поговорим». – «Домой? Вон наш дом – видите, горит?»

Они остолбенели, уставившись на дом, вернее на то, что от него осталось. «Это наш дом горит? Почему?» Сабина молчала, склонив голову на руки. «В него попал снаряд, - объяснила я. – Сегодня утром». Они дружно обернулись и уставились на меня – как-то нелюбезно, с подозрением, что ли. «Ты – Сталина? – сообразила Ева. – Ведь на тебе мое старое платье!» – «Какая разница, - отмахнулась я, - если все наши вещи сгорели?» До них начало доходить: «Все вещи сгорели? И дом?» – «Все вещи, и дом, а Шурку убило снарядом». – «Кто такая Шурка?» – «Наша

подруга. Помните – рыжая с первого этажа?» – «А, та, которую покойный папа когда-то вылечил, да?» – «Ну да, вон она лежит».

Мы помогли Сабине подняться и подошли к Шурке, которая лежала под деревом в той же позе, в какой мы ее оставили. Как мертвая. «Ее наверно взрывной волной выбросило», - сказала Сабина. «Что же мы будем с ней делать? Ведь нельзя ее оставить валяться посреди улицы?» – «Подождем, может приедут пожарники. Кто-то же должен приехать тушить пожар». – «Ладно, подождем. Нам все равно некуда идти». И мы все вчетвером сели прямо на мостовую подальше от пожара и стали ждать, сами не зная, чего. Мне кажется, какие-то люди из соседних домов собрались вокруг нашего пожара и бросали внутрь лопаты с песком.

Как ни странно, через полчаса появился крытый военный грузовик – он не тушил пожары, он собирал трупы и раненых. Грузовик остановился возле Шурки и шофер спросил нас: «Эта ваша?» – «Ну да, - ответила Сабина, - наша соседка Шурка». – «Мертвая? А где остальные?» – «Остальные – это мы. Но мы пока еще живые». – «Почему?» – спросил шофер. «Нас не было дома». – «Повезло, - сказал шофер. – А где остальные? Не одна же она жила в доме». - «О Господи! – испугалась Сабина - Была ведь еще бабушка! Где же бабушка?» – «Бабушку наверно заваляло стеной. Так что бабушку мы оставим тут, а Шурку заберем». «Куда заберете?» – «Похоронить же надо! У нас за городом вырыта братская могила».

Шофер выскочил из кабины и потащил труп Шурки за ноги в кузов – там было еще несколько трупов. Подол Шуркиной сорочки неприлично задрался, открывая ее до самого пупка. «Осторожней, так же нельзя!» - завопила Сабина. Шофер уже вбрасывал Шурку в кузов: «А что прикажете делать? – огрызнулся он. – Я один на весь город, а мертвяков полно!» – «А нам куда деваться, если наш дом сгорел?» – спросила Рената. Шофер присел на подножку и вытащил из кармана папиросу: «Ладно, бабоньки, ради вас, останавлиюсь на перекур. Вообще-то надо доложить в горсовет, но теперь разрушенных домов так много, что сразу вам ничего не дадут. А спать-то вам негде».

Он оглядел нас и сжалился: «Если хотите, лезьте в кузов. Я на север еду, мертвяков хоронить, а северные районы за Ботаническим садом не так обстреливают, как центральные. Может, найдете там пустой подвал». – «В кузов с мертвыми?» – ужаснулась Ева. – «А что мертвые, они не кусаются!» – «Я не могу

с мертвыми! Они заразные», - завизжала Ева. – «Ничего не заразные, свежие мертвяки, даже не пахнут. – Шофер бросил недокуренную папиросу на асфальт и растер носком сапога. Просто смех – рядом с пожаром! – Ну, не хотите, как хотите, можете здесь оставаться! Мое дело предложить».

За углом опять грохнуло, Ева от страха упала на тротуар, закрывая голову руками. Рената резко подняла ее и потащила к грузовику, Ева закричала: «Не хочу с мертвыми!» Рената прошипела: «Сейчас же заткнись! – и шоферу со сладкой улыбкой: - Мы едем, едем! Спасибо за помощь!» – «Раз едете, так быстрее! Меня по дороге еще пара мертвяков ждет». Мы посадили Сабину и быстренько влезли в кузов – там, на полу среди мертвых было достаточно места для живых. И мы отправились в неизвестность вместе с Шуркой.

Грузовик мчался быстро, но куда непонятно, - шофер плотно закрыл створки дверей. Пару раз он останавливался и вбрасывал в кузов чьи-то холодные тела – одно большое, другое совсем маленькое. Но двери тут же закрывались, и в темноте нельзя было рассмотреть этих бывших людей. На резких поворотах мертвые тела наезжали на нас и мы их отпихивали ногами. Наконец, шофер резко затормозил и открыл дверцы: «Кто здесь живые, выходите! Тут ваша последняя остановка!»

Мы с Евой быстро соскочили на дорогу, Рената помогла Сабине спуститься, и грузовик умчался дальше, не дожидаясь выражения нашей благодарности. Вообще-то было неясно, есть ли за что его благодарить: он увез нас из знакомого, обжитого квартала в совершенно чужое место. Мы стояли на широкой улице, рядом с которой бежали железнодорожные рельсы. Иногда по улице проезжали автомобили, в основном военные грузовики. Где-то вдали за рельсами был виден большой зеленый массив. Рената побежала туда через дорогу, Ева припустила за ней, а мы с Сабинкой присели на невысокий каменный заборчик, огораживающий чей-то палисадник.

Сабина сидела бледная и взъерошенная – была ли она рада неожиданному появлению дочек? Словно отвечая на мои мысли, она сказала тусклым голосом: «Надо же, так некстати, так некстати!» Я пожаловалась: «Есть очень хочется!» И тут Сабина вспомнила: «А ведь Лидия Петровна выдала мне прощальный паек!» Она вытащила из сумки небольшой мешочек, как две капли воды похожий на тот, в котором я носила ей передачу от директрисы – в мешочке было полбуханки хлеба, пакетик пшена и

приличный кусочек сала с розовыми мясными прожилками.

“Вот здорово! Жалко, ножа нет. Можно я откушу от сала?” – “Нет, - покачала головой Сабина, - нельзя. Нужно девочек подождать”. Вот черт, притащились на мою голову: теперь всегда придется их ждать и с ними делиться, подумала я и устыдилась – ведь они Сабинины дочки, она так из-за них переживала. Дочки примчались назад очень быстро и Ева закричала еще издали: “Это Зоологический сад! Я ходила туда с зоологическим кружком!”. Запыхавшись, подбежала Рената: “От Зоосада начинаются маленькие улицы, можно там поискать пустой подвал”. И вдруг взгляд ее заострился: “Что это у вас? Еда? Откуда?” – “Мне в школе прощальный паек выдали, ведь сегодня – последний день занятий! Но у нас нет ножа”.

– “Нож не проблема, - Рената вытащила большой складной нож из карманчика своего рюкзака. - Давай, нарежь скорей, у нас со вчерашнего дня крошки во рту не было”, Сабина принялась резать хлеб прямо на камне заборчика. “Подожди, у меня есть полотенце, тоже грязное, но все же лучше, чем чужой забор». И жадно глядя, как Сабина аккуратно делит хлеб и сало на четыре части, спросила: «Мы что, всегда теперь должны делиться с этой чужой девчонкой?»

Я сперва не сообразила, что это она про меня, но Сабина сообразила сразу. Она закрыла нож, не дорезав сало до конца, и решительно завернула всю жратву в полотенце. «Что ты знаешь о нашей жизни? Лина – тоже моя дочка, такая же, как вы. Я не умерла здесь только благодаря ей. Так и знайте, я навсегда откажусь от той, которая хоть еще раз скажет, что она чужая!» Я просто обалдела, когда это услышала – кто мог ожидать такой твердости от Сабины, всегда мягкой и уступчивой?

Рената пробормотала какое-то неразборчивое ругательство, но все же смирилась и сказала: «Ладно, пусть будет так. Ты ведь всегда чужих детей любила больше, чем своих. И давайте, наконец, поедим». Я давно забыла вкус хлеба с салом, - это было восхитительно! Не хватало только воды, чтобы это райское блюдо запить. Рената спрятала полотенце в рюкзак и мы двинулись в сторону зоопарка.

Шофер был прав – сюда немцы не стреляли, во всяком случае, не стреляли в тот день. Вдоль улицы стояли небольшие двухэтажные дома с тремя подъездами в каждом, но никто из нас не знал, как искать пустой подвал, а может, даже брошенную жильцами квартиру. И тут я вспомнила про Шуркины отмычки,

болтающиеся у меня на шее со дня смерти мамы Вали. И мы приступили к поискам. Сперва мы стучали в дверь, если кто-то нам открывал, мы извинялись и говорили, что ошиблись адресом. Если не открывал никто, я пускала в ход свои отмычки и мы осторожно входили в чужую квартиру. На наше несчастье все квартиры пока что выглядели жилыми.

Подвалы были не во всех домах, а в тех, где они были, все они, похоже, были уже заняты: ведь немцы бомбили наш город уже несколько месяцев. Мы завернули за угол и вышли на другую улицу, там не было палисадников и дома теснее прижимались друг к другу. Во втором от угла доме мы обнаружили пыльный, затянутый паутиной нежилой полуподвал, запертый большим ржавым замком, который я в два счета открыла отмычкой. Места там было достаточно для нас четверых, и даже мебель кое-какая ютилась в углах – рваная раскладушка, старый двуспальный диван с порванной обивкой, два ободранных кресла и круглый стол. Наверно, жильцы дома давно превратили этот подвал в склад, и сбрасывали в него ненужную мебель.

У входа, рядом с дверью в подъезд мы нашли кран, из которого капала ржавая вода, так что можно было бы этот подвал убрать. Но у нас не было ничего, ни метлы, ни тряпки, ничего, кроме надетой на нас одежды и грязного полотенца из рюкзака Ренаты. Мы стояли и растерянно смотрели друг на друга, пока я не вспомнила Шуркины уроки. Бедная моя Шурка, любимая моя Шурка, спасибо тебе за науку! «Вы отдохните тут на скамеечке, - предложила я, - а мы с Евой пойдем порыщем вокруг».

Я потянула Еву за руку и мы удрали прежде, чем они успели нас спросить, где мы собираемся рыскать. «Ну, а что теперь? - спросила Ева. - Куда мы идем?» После того, как я на ее глазах ловко открывала запертые двери чужих квартир, она в меня поверила. «Нам нужны одеяла, матрасы и подушки. А также немножко посуды, пара ведер и тряпки для уборки, правда?» К этому времени уже стемнело и в некоторых окнах зажегся бледный свет, - то ли от свечей, то ли от коптилок, - так что можно было легко определить, в каких квартирах никого нет.

Пользуясь темнотой мы с Евой проскальзывали в подъезды, открывали пустые квартиры и вытаскивали из каждой всего понемножку – из одной пару одеял, из другой подушки, из третьей ложки-вилки, а из четвертой даже свечку. Все это мы сносили на подвальную лестничную площадку одного из подъездов, все окна которого светились, - в надежде, что так поздно никто уже

не попрется по лестнице вниз. Нам повезло и никто не поперся, пока мы не набрали почти все, что было нужно.

Тогда мы, захватив по одеялу и подушке, вернулись к нашим взрослым дамам, и предложили им пойти с нами, чтобы принести все остальное добро. Операцию переноса мы завершили быстро и бесшумно, так что осталось только наспех смахнуть паутину и лечь спать. «Главная проблема будет с уборной», - вздохнула Рената, когда мы с ней перед сном побежали пописать в кустах на противоположной стороне улицы. «Ничего, - успокоила ее я, - частично мы решим эту проблему при помощи моих отмычек, будем бегать в чужие квартиры, когда хозяев не будет дома». - «Я вижу, ты – настоящий кладезь премудрости!» – расхохоталась она. Но смяться было нечему – вся моя премудрость была от Шурки, а Шурку безымянно похоронили в братской могиле где-то за городом.

Я смахнула слезу: плакать было некогда, нужно было придумать, как запереться на ночь. К счастью, пока мы бегали писать, Сабина обнаружила на двери ржавую щеколду, которую после нескольких неудачных попыток удалось задвинуть в такую же ржавую петлю. Я легла на матрац подальше от Сабины, опасаясь, что она начнет допытываться, откуда мы приволокли все эти ценные вещи, но она, бедная, так умаялась за этот страшный день, что рухнула на раскладушку и мгновенно заснула.

19.

Спали мы необычайно крепко и проспали бы до полудня, если бы нас не разбудил громкий стук в дверь. Первой проснулась Ева, и долго спрашивала стучащего, кто он такой. Пока он уверял ее, что он не грабитель (интересно, что бы грабитель мог с нас взять?), а местный управдом, мы все успели вылезти из постелей и даже наспех причесаться. Потом Ева уступила место Сабине, которая долго возилась со щеколдой, пока, наконец, не открыла дверь.

Управдом вошел и стал беспомощно озираться – после дневного солнечного света в нашем подвале была тьма-тьмушная. Мы-то, приглядевшись к темноте, его конечно видели, а он нас нет. «Сколько вас тут, бабоньки?» - спросил он, потеряв надежду нас пересчитать. «А сколько вам надо?» - под общий смех огрызнулась Рената, самая смелая из нас. «Да чем больше, тем лучше, - мирно отпарировал управдом, - потому что я должен отправить вас на строительство оборонительных сооружений».

Мы испуганно затихли, и только Рената посмела возразить: «Мы даже устроиться не успели, а вы уже хотите нас куда-то отправить. Дайте нам хоть денек на передышку». – «Я б вам даже два денька дал, но не дам по доброте душевной». «Ничего себе доброта!» – пискнула Ева. «Именно доброта! Ваш дом ведь разбомбили?» – «Разбомбили», - вздохнула Сабина. «Подчистую?» - «Подчистую» - «Значит, запасов у вас никаких и жрать вам нечего. Точно?» – «Точно», - подтвердила Рената. - «Ну вот! А на оборонительных сооружениях каждому выдают по четыреста граммов хлеба в день. Ясно?» – «А горячий завтрак тоже?» – обрадовалась я.

“Да сколько вас тут? - всполошился управдом. - Я думал трое, а тут еще одна объявилась, да еще горячий завтрак ей подавай”. – “Она не в счет, она еще маленькая”, - поспешно выгородила меня Сабина. – “И маленькой четыреста грамм в день не повредят. Так что даю вам час на сборы, а через час приедет машина, чтобы везти добровольцев на оборонительные сооружения. Сбор на углу напротив зоопарка”. Он потребовал наши документы и особенно долго крутил в руках мою метрику: «Выходит, она не ваша дочка?» - спросил он Сабину. И ушел, оставив нас в замешательстве. “Идти или не идти, вот в чем вопрос” – процитировала образованная Ева.

“Конечно идти, нам с тобой и с Линкой, - решила Рената. – А маму оставим дома, ей земляные работы не под силу”. – “Нет, нет, я тоже пойду, – заупрямилась Сабина, - в нашем положении ни к чему терять четыреста граммов хлеба”. – “А я сегодня не пойду, -объявила я. – Наш дом нужно привести в порядок”. – “Ты о чем?” – не поняла Сабина, зато хитрая Ева сразу смекнула, о чем я: “Ты без меня справишься?” – “Управлюсь”. – “Смотри, не попадись!” - Я сразу поставила ее на место: “Не учи ученого!” - “Девочки, что вы разговариваете загадками?” – всполошилась Сабина. Мы не стали ее просвещать, нам всем было не до того - ладно, по первому дню можно было не умываться, но пописать все-таки было нужно? Идти в кусты среди бела дня было неловко, - так сказала Ева, но Рената пожала плечами: “А уписаться по дороге будет ловко?”

И мы дружной стайкой рванули в нейтральные кусты на другой стороне улицы: домов там не было, был только заросший травой пустырь. Друг друга мы почему-то стеснялись, и потому расселись за разными кустами, так чтобы никто ни за кем не мог подсмотреть. «А подтираться чем?» – прорыдала Ева. «Ли-

стиком подотрись», - посоветовала ей практичная Рената. - «Тут все листики колючие!» - прорыдала Ева еще отчаянней. «Сегодня управимся, как сможем, а потом что-нибудь придумаем», - заключила Сабина, а Ева наставила меня: «Первая задача ясна, Линка?» – «Уж куда ясней!» – «Господи, девочки, о чем вы?» – взмолилась Сабина, но мы только расхохотались в ответ.

Завтрака не было, ни горячего, ни холодного, и мы, голодные, поспешили к месту сбора в расчете на четыреста грамм хлеба – я тоже побежала с остальными, чтобы удостовериться, что почти весь народ уезжает на оборонительные работы. Толпы людей выходили из домов по дороге, в основном женщины, старухи и молодые, и несколько стариков, и стекались ко входу в зоопарк, но нельзя было с уверенностью сказать, остался ли кто-то у них дома или нет. Подъехал открытый военный грузовик, откинул боковой борт и спустил лесенку – никаких скамеек в кузове не было. Толпа скопом ринулась к лесенке, а самые молодые и ловкие – впереди всех Рената и Ева – полезли в кузов без лесенки и втащили за собой Сабину, легкую, как пушинка.

Грузовик рыкнул и тронулся с места, пассажиры, стоявшие в кузове, тесно прижавшись друг к другу, разом качнулись назад и чуть не выпали через борт на землю. Особенно я испугалась за Сабину, которая стояла близко к краю, но дочери держали ее крепко. «Девчонку забыли!» – пискнул чей-то голосок из толпы, но Ева быстро огрызнулась: «А тебе что за дело?» Грузовик скрылся за поворотом и я осталась одна на незнакомом перекрестке.

Прежде, чем приняться за выполнение моего плана, нужно было тщательно все обдумать. Во-первых, нежелательно было шарить по квартирам на нашей улице, во-вторых, нужно было иметь ответ на случай, если кто-то остался дома, а главное, чтобы никто из больных, глазеющих из окон, не вспомнил чужую девчонку, слоняющуюся из подъезда в подъезд с разным скарбом в руках. Я быстро вернулась домой и приступила к делу. Я не стесняясь обшарила рюкзаки родных дочек, воображая себя Золушкой, наряжающейся на бал. У Ренаты я нашла бархатную юбку, которая мне была почти до пят, и туфли на каблуках, а у Евы потрепанную кофту в мелкий розовый цветочек по синему полю и маленькую синюю шляпку. Туфли оказались мне как раз, но к сожалению, зеркала у нас не было, так что оценить свой бальный наряд я не смогла, - но было ясно, что мне не хватает палки или зонтика, чтобы натурально хромать. Я осторожно выглянула из

двери – улица была пустынна и тиха, если не считать далекого уханья пушек.

Хромая и охая я прошла мимо двух соседних домов, дважды завернула за угол и оказалась на вполне приличной дачной улице, обсаженной высокими тополями. Мне почему-то показалось, что многие жильцы этих хорошо ухоженных домов не поехали с утра на земляные работы, а давно умотали куда-нибудь в Сибирь или в Казахстан. Тем более, что окна не были заклеены бумажными крестами, и при моем приближении ни одна собака не залаяла. Это было бы замечательно, но рисковать не стоило.

Я аккуратно постучала в крашенную зеленой краской калитку самого большого дома – уж его-то хозяева вряд ли остались ждать немцев! Никто не ответил, я просунула руку в щель между калиткой и забором и ловко открыла щеколду, как меня научила Шурка. Хромая, я добралась до высокого порога, вскарабкалась по ступенькам и стала дробно стучать в стеклянную дверь террасы. Опять никто не отзывался. Тогда я вытащила из красного кисета свою бесценную отмычку, открыла дверь без особого труда и остановилась, прислушиваясь – а вдруг кто-нибудь все-таки затаился в глубине дома и готовится к атаке на меня.

Но дом словно спал – «ни слова, о друг мой, ни вздоха!» – вспомнила я вдруг романс, который Рената пела под аккомпанемент Евы сто лет назад в другой жизни. Хромать уже не имело смысла, а нужно было, наоборот, двигаться легко и бесшумно. Я толкнула первую дверь и не ошиблась – это была кухня, полная самых необходимых вещей. Но прежде, чем приняться за опустошение кухни, я поспешила найти уборную, чтобы опустошить свой желудок и мочевого пузырь. Кто не делал этого после долгого воздержания, тот не знает, что такое счастье! Тем более, что в бачке сохранилось немного воды, которой удалось смыть следы моего хулиганства.

Понимая, что транспорта у меня нет никакого, даже детского велосипеда, и что не следует привлекать к себе внимание большим грузом, я нашла в чулане пустой мешок и начала наполнять его медленно и вдумчиво. Две кастрюли, три тарелки, четыре ложки и два ножа, небольшую пачку газет на подтирку и – о чудо! – нетронутую коробку спичек! Ах да, еще четыре чашки и два полотенца, чтобы все это добро не гремело. Хорошо бы еще прихватить пару простыней, но влезут ли они в мешок? Да и не хотелось идти шарить в других комнатах, а лучше было пошарить на кухонных полках, где я нашла пачку риса и солонку, полную соли.

Пора было убираться с такой славной добычей, пока меня не застучали – в этом доме явно никто не жил, но кто-то его охранял, иначе его бы давно разграбили. Я аккуратно захлопнула за собой дверь и спустилась с порога, как вдруг услышала вдали чьи-то неспешные шаги. Я прислушалась – шаги приближались. Я не решилась выскочить на улицу, опасаясь столкнуться с хозяином шагов, а, наоборот, быстро обогнула дом и легла в высокую траву за кустом сирени.

Больше всего меня мучала тревога – закрыла ли я за собой щеколду, но Шуркина наука меня не подвела: щеколда щелкнула – значит, закрыла! - и калитка отворилась. Следующий вопрос был бы смешным, если бы не был вопросом жизни и смерти – выветрился ли в коридоре запах моих походов в уборной? Тем более, что по дорожке от калитки к дому подходил вчерашний управдом, а ему уж точно не следовало попадаться на глаза.

Управдом вошел ненадолго – наверно именно он охранял этот дом. Похоже, он не нашел внутри ничего подозрительного, - надеюсь, кастрюли и тарелки он не пересчитывал, - и быстро вышел, тем более что из-за забора два детских голоса пропищали: «Деда, мы в школу опоздаем!» И тут я вспомнила, что в прошлой жизни, в которой у меня был дом и Шурка, на сегодня было назначено торжественное собрание по поводу окончания учебного года. Я даже должна была играть роль Бабы Яги в спектакле, подготовленном нашим классом для этого собрания. Каким это все показалось мне сейчас далеким и ненужным!

Зато в связи с подготовкой роли я изучила кое-какие правила гримировки, и потому решила снова вернуться в уже знакомый мне дом в расчете, что управдом пошел со своими внуками в школу на выпускной праздник. Спрятав свой мешок в кустах, я быстро отперла дверь, вошла в коридор и надежно ее заперла, после чего отправилась в ванную комнату, где раньше мельком увидела большое зеркало. Мое отражение в зеркале выглядело крайне странно: как я ни старалась горбиться и хромать, старушка из меня ни за что не получалась – меня выдавало детское личико и школьные косички. Спешить было некуда, я расплела косички и занялась созданием образа старушки.

Видно, хозяева собрались в отъезд очень спешно и бросили в ванной кучу необходимых мне предметов. Я нашла пачку шпилек и заколола волосы в большой пучок на затылке, на который криво напялила Евину голубую шляпку. Теперь голова моя выглядела бы вполне убедительно, если бы не лицо. Порывшись в

ящиках, я нашла губную помаду и несколько цветных карандашей. Подмазав губы поярче, я выбрала коричневый карандаш и смело нарисовала на щеках и под глазами сеточку тонких морщинок. Но чего-то явно не хватало. Я представила себе лицо Сабрины и увидела две глубокие складки, сбегające от носа вниз к подбородку. Нарисовать эти складки было гораздо сложнее, чем морщинки вокруг глаз, но в конце концов я с ними справилась.

Расческу, помаду и карандаш я прихватила с собой, а по пути к выходу заметила в углу чистое ведро и решила прихватить его тоже. В саду я перегрузила мелкие предметы в ведро, а облегченный мешок перекинула через плечо, и, хромя на обе ноги, выбралась на улицу. Там никого не было, а если кто и видел меня из окна, то наверняка принял за хромую старушку. Я без приключений добралась до нашего подвала и почувствовала, что мне пора поесть – мой живот сверху донизу стиснула сильная боль. Вот беда: у меня было все для рисовой каши: кастрюля, рис, вода и спички, – не было только плиты. Нужно было снова отправляться на охоту. Тем более, что жалко было не использовать до конца мой замечательный грим. Я спрятала свою ценную добычу под самое рваное кресло, чтобы никто не украл, и пустилась в путь, очень естественно хромя, – очень уж крутило в животе.

Украсть плиту или буржуйку мне было бы не под силу, но я могла смастерить костер между двух камней, на которых хорошо бы уместилась кастрюля. Но оказалось, что найти подходящие камни трудней, чем обшарить десяток чужих квартир. Потому что камней не было нигде. Я, хромя, добрела до зоопарка и двинулась дальше вдоль забора, хотя ходить в Ренатиных туфлях было непросто! И, главное, напрасно – ну хоть бы один камешек попался для смеха! Впрочем, одного мне было мало, нужны были по крайней мере два. Я даже хромя перестала – какой смысл хромя так далеко от нашего подвала?

И вдруг – какая удача! И сюда однажды залетел немецкий снаряд, – похоже, довольно давно. Развалины обгорели не сильно, и из черной дыры обожженного подъезда, как черные зубы изо рта, торчала дюжина уцелевших кирпичей. Я выбрала четыре наименее закопченных и сунула в свой заплечный мешок. Кирпичи оказались увесистыми, так что я сгорбилась под их тяжестью вполне натурально. Я было двинулась в обратный путь, как вдруг увидела в куче мусора каркас большого обгоревшего зонтика, от которого остались только металлические рожки да

ножки. Я с легкостью оборвала полусгоревшие рожки и восхитилась своей работой: в руках у меня оказалась шикарная трость с полукруглой ручкой.

На полдороге к дому – надо же, я уже считаю наш подвал домом! – меня захлестнула толпа веселых школьников, возвращающихся с праздника. Каждый нес в руке розовый пакетик с подарком, некоторые тут же открывали свои пакетики, вытаскивали оттуда маленькие шоколадки и жадно их жевали, размазывая по лицу коричневую слюну. Тяжело опираясь на трость, я захромала в сторону нашего подвала, и вдруг услышала за спиной начальственный голос: «Гражданочка, прошу остановиться!» Я сразу узнала голос управдома.

Встретиться с ним лицом к лицу было бы опасно: в кирпичах ничего преступного не было, но вблизи он мог бы разглядеть мой грим. Ускорить шаг я не могла, если бы даже захотела, зато старуха в шляпке, ковыляющая с мешком, могла быть не только хромой, но и глухой. И она не услышала громкий окрик управдома: «Гражданочка, еще раз прошу остановиться!», а свернула за угол и побрела дальше. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы внуки управдома не потребовали поскорей отвести их домой, а не то «Людка сейчас укакается».

Испугавшись за Людку, управдом отстал от меня, а я постаралась побыстрее добраться до подвала, открыть дверь отмычкой и поспешно сорвать с себя свой маскарадный костюм. С особым удовольствием я сбросила туфли на каблуках, которые натерли на моих пятках пузырчатые водянки. Сложнее всего оказалось отмыть без мыла мои коричневые морщины: они никак не хотели стираться, будто приросли к моей коже. Покончив с морщинами, я занялась приготовлением рисовой каши, заранее предвкушая, какая она будет вкусная.

Прямо перед домом я разложила маленький костер из сухих веток и смятой газеты, к которым добавила ножку сломанного стула, сброшенного кем-то в наш подвал. По обе стороны костра я установила по два кирпича, один на другой, а на кирпичи поставила кастрюлю с водой – я подставила кастрюлю под каплющий кран сразу, как пришла, так что в нее накапало ржавой воды достаточно для каши. В воду я бросила треть пачки риса и щепотку соли, и села у порога на другой стул, тоже сломанный, трехногий, на котором все же можно было сидеть. Мне так хотелось есть, что я могла только сидеть и смотреть на кашу – мне казалось, что от моего взгляда она будет вариться быстрее.

Наконец, вода выкипела и рис стал пухлый и мягкий, хоть немного рыжеватый, - наверно от воды. Я сняла кастрюлю с кирпичей и затоптала огонь, - сама не знаю, зачем, на всякий случай. Потом наложила себе полную тарелку, а кастрюлю с остальной кашей унесла в подвал, заперла замок на двери и начала медленно, со вкусом есть. Не успела я проглотить несколько ложек, как из соседней улицы вынырнул управдом. Выражение лица у него было, как у собаки-ищейки из кино «Пограничник Карацупа», мне даже показалось, что он нюхает тротуар, вынюхивая чей-то след.

Он направился прямо ко мне и сердце у меня дрогнуло – а вдруг он узнал меня в хромой и глухой старушке? Он оглядел затоптанный костер с кирпичами по бокам и заглянул ко мне в тарелку: «Где это ты разжилась кашей?» Я не знала, как я должна ему отвечать, и потому ляпнула первое, что пришло мне в голову: «Свет не без добрых людей». По-моему, он мне не поверил, и потому сунулся к нашей двери: «Ну, как вы тут устроились?», однако наткнулся на замок: «А почему заперто?» - «Чтоб никто посторонний не мог войти» - «А откуда у вас ключ?» - «От верблюда», - сдерзила я: все равно, терять было нечего, не могла же я рассказать ему про Шуркины отмычки!

Управдом почему-то не рассердился, а рассмеялся: «Да ты языкатая! Знаешь, приходи ко мне завтра, когда твои уедут на оборонительные работы, я расскажу тебе, что делать, чтобы получать горячие завтраки, пока немцев не прогонят». Тут он протянул свою мерзкую морщинистую лапу и погладил меня по голове: «Какие у тебя волосы шелковые!» И я с ужасом вспомнила, что, вытащив шпильки из струшечьей прически, я забыла заплести косички, очень уж спешила сварить кашу. – «Завтра не могу, я завтра тоже поеду на работы». – «Это запрещено, ведь тебе нет еще тринадцати!» - сказал он строго. Я возразила: «Уже есть, недавно исполнилось». - «Только не ври! Я вчера видел твою метрику – тебе будет тринадцать в конце июня».

Надо же – запомнил, и про день рождения, и про горячие завтраки! Может, он не старушку пришел искать, а меня? «Так, придешь? – спросил управдом. – Моя контора в номере одиннадцатом, прямо напротив зоопарка». И он опять попытался погладить меня по голове. Но я попятилась и чуть не упала, споткнувшись обо что-то колючее. Я глянула себе под ноги и обомлела – я споткнулась о свою шикарную трость с полукруглой ручкой. Все, сейчас он меня разоблачит! Но он не обратил на трость никакого

внимания, наверно, он забыл про глухую старушку. «Приятного аппетита», - улыбнулся он всеми зубами, как серый волк, и ушел, оставив меня доедать кашу. Аппетита он мне не испортил.

20.

Тарелку я мыть не стала – ни к чему такие тонкости, когда вода еле-еле каплет. Пока я приводила в порядок свою утреннюю добычу, во второй кастрюле, подставленной под кран, набралось воды до половины, и я решила, что пока хватит: не следовало оставлять кастрюлю на улице без присмотра. А мне не терпелось запереть дверь на щеколду и немного поспать, тем более, что я боялась, как бы управдом опять не приперся морочить мне голову под каким-нибудь предлогом. Я втащила в подвал кастрюлю с водой, завернула в два одеяла кастрюлю с кашей, чтобы не остыла, прилегла на диван, подложив под голову полотенце, и немедленно провалилась в сон.

Разбудил меня управдом, он громко стучал в дверь и вопил женским голосом: «Хватит спать, Линка! Открой дверь!» Я и не подумала ему открывать, хоть уже перестала удивляться, что он знает и день моего рождения, и мое имя, но я не хотела впускать его в наш подвал, чтобы он не увидел, сколько ценных вещей я наворовала за утро. Я надеялась, что он постучит-постучит и уйдет. Но он и не думал уходить, он устроил настоящий кошачий концерт на три женских голоса, чем-то похожих на голоса Ренаты, Евы и Сабины.

И вдруг меня как громом ударило – да ведь это не управдом ломится в дверь, а Рената, Ева и Сабина вернулись с оборонительных работ! Меня как ветром сдуло с дивана, и я бросилась отпирать дверь, но проклятую щеколду заело и она ни за что не хотела вылезать из паза. «Девочки! – наконец, взмолилась я. - Перестаньте дергать дверь, а то я ее никогда не отопру!» И услышала тихий голос Сабины: «А ну, отойдите от двери, обе отойдите, и ты, Рената, тоже». Снаружи стало тихо, я еще раз потянула щеколду и она потихоньку открылась, неохотно, со скрипом, но открылась.

Рената ворвалась в подвал под музыку «Вихри враждебные веют над нами!» - это неожиданно подал голос громкоговорящий. Оказывается, он просто целый день молчал, и правильно делал, раз никого из взрослых тут не было – не для меня же было ему стараться! Перекрывая музыку, Рената заорала: «Мы целый день носом землю роем, хлеб зарабатываем, а она тут

дрыхнет!» По-моему, это она сердилась на меня. Но Ева не дала ей долго разоряться, она ведь знала, зачем я осталась. Она распахнула дверь пошире – на улице было еще совсем светло, хоть и поздно: «Ты лучше погляди, чего она натаскала, даже газет на подтирку достала!»

- «Я кашу рисовую вам сварила», - похвасталась я, разворачивая одеяла, в которые была завернута кастрюля с кашей и ставя на стол тарелки. При виде каши и тарелок Рената плюхнулась на диван и зарыдала: «Проклятая, проклятая война! Что она со мной сделала – я сама себя не узнаю! Прости меня, Линочка, я совсем не такая скотина, как тебе могло показаться!» Тут я тоже заплакала, и мы с Ренатой обнялись, обмазывая друг друга слезами и соплями.

Сабина тем временем разложила кашу по тарелкам, зажгла свечку и заперла дверь: «Ни к чему соседям знать, что мы едим. А то еще спросят, откуда у нас тарелки и кастрюли». Значит она, как всегда, с самого начала знала, чем я тут занималась! А я-то воображала, что обвожу ее вокруг пальца!

«Управдом уже приходил и пытался заглянуть к нам, но я заперла дверь». – «Он рассердился?» - «Почему-то нет. А наоборот погладил меня по голове и позвал назавтра к себе в контору». – «Зачем?» - «Он обещал научить меня, как себя вести, чтобы каждый день есть горячий завтрак». Сабина внимательно осмотрела меня и вдруг спросила: «А зачем ты расплела косички?» Я не знала, что ей ответить, ведь не стоило посвящать ее в мой старушечий маскарад.

Но тут подала голос Рената – она уже забыла, что мы только что дружно обнимались, обливаясь слезами: «Линка, ты зачем рылась в моем рюкзаке?» - «И в моем?» - выступила Ева. Теперь мне уже некуда было деваться, пришлось рассказать им всю правду – про длинную юбку, про туфли на каблуках и про дамскую прическу под голубой Евиной шляпкой. Слушая меня, они хохотали, как безумные, особенно, когда я, напялив Ренатины туфли и Евину шляпку, изобразила хромую походку горбатой старушки с мешком.

«Ой, сейчас уписаюсь! - простонала Рената сквозь смех - Только не знаю, куда бежать». «А эту проблему ты не решила?» - спросила Ева на полном серьезе: она, кажется, поверила в мою способность решить любую проблему. Я не захотела ударить в грязь лицом: «Частично. Я добыла лишнее ведро и газеты на подтирку». - «Ведром мы будем пользоваться по утрам, а сейчас

отправляйтесь в кусты: уже стемнело», - решила за всех Сабина.

Сидя в колючих кустах мы, наконец, услышали то, что весь вечер неустанно твердил громкоговоритель: «Дорогие ростовчане! Не верьте вражеским слухам и не пугайтесь фашистских бомбежек! Наша славная армия выдержит натиск фашистского врага, и очень скоро проклятые немецкие дивизии обратятся в бегство. Славный город Ростов, ворота Северного Кавказа никогда не будет сдан врагу! Никогда, никогда, никогда!»

«Вот потому мы и пробирались сюда, и, кажется, напрасно, - вздохнула Рената, устраиваясь рядом с Евой на диване. – Я так мечтала вернуться домой и помыться в душе!» – «А почему вы не остались в Москве?» - решила, наконец, спросить Сабина.

«Я же сказала: наш дом разбомбили!» - в голосе ее зазвучало раздражение. Казалось, она только и ждала предлога, чтобы вспыхнуть и кого-нибудь обругать. Но Сабину не так легко было сбить с толку: «И что, в огромной Москве нельзя было найти нежилкой подвал?» - «Ах, мама, ты не понимаешь, как мы там жили после того, как наш дом разбомбили! Мы спали в чужих подъездах, пока нас не прогоняли. Мой друг, профессор-скрипач, которому я аккомпанировала и который помог мне устроить Еву в специальную школу, уехал со своей семьей в Ташкент, и мы остались совершенно без поддержки. Евину школу тоже эвакуировали в Ташкент, но ее вычеркнули из списков, так же, как и меня». – «Почему?» - «Ты прекрасно знаешь, почему! Они списки проверяют очень дотошно, и, конечно, обнаружили, что наша фамилия – Шпильрайн. На нас стоит черная метка!»

«Хватит, давайте спать! Ведь завтра вставать ни свет, ни заря!» - взмолилась Ева. «Да, давайте спать! Мы же не виноваты, что наша фамилия – Шпильрайн. И даже я в этом не виновата, хоть вам очень хочется меня обвинить», - вздохнула Сабина. И они, все трое, затихли и сразу заснули, намаявшись за день на земляных работах, и только я никак не могла заснуть. Перед моими глазами крутились, как в кино, страшные картины этих двух дней, и почему-то самым страшным кадром мне сейчас показалась морщинистая лапа управдома, протянутая к моим волосам.

В конце концов я заснула, но утром объявила, что поеду со всеми вместе на земляные работы. Никто особенно не возражал, и мы дружной семейкой одними из первых влезли в кузов грузовика. Не успели мы устроиться спинами друг к другу, как рядом с шоферской кабиной появился управдом. «Секунду погоди», - приказал он шоферу, обводя острым взглядом плотно

набитый кузов. Я поняла, что он ищет меня, и уткнулась носом в Евину спину, но он все равно меня углядел. «Сталина Столярова, - скомандовал он, - немедленно выходи! Тебе нет тринадцати лет, и я не имею права отправлять тебя на оборонительные сооружения!»

Толпа зашипела и стала выдавливать меня из кузова. «Тогда и я не поеду!» - вдруг объявила Сабина и неожиданно легко, как девочка, выпрыгнула вслед за мной. «Гражданка Шефтель, немедленно вернитесь в машину! – заорал управдом. – Я отдам вас под суд за отказ работать на оборонительных укреплениях!» - «Я не могу работать, я вчера покалечила себе руки, мне нужно обратиться к врачу!» И Сабина предъявила ему свои руки, которые она до того старательно прятала от нас – кисти рук опухли, все ногти были сорваны, пальцы покрыты кровоподтеками.

«Где я возьму вам врача? - взвизгнул управдом. – Нет у нас никакого врача!» - «А вы наймите меня, и у вас будет врач!» - «Как вы докажете, что вы врач?» - «А вы наведите справки у директора школы, где я работала до вчерашнего дня». – «Какой школы?» - «Школы номер шестнадцать в Ленинградском районе».

Лицо управдома перекошилось: «Уж не вы ли та самая врачиха, которая заставляла всех делать то, что она велит?» - «Конечно, та самая! Вот сейчас я отправлю вас на постройку оборонительных сооружений!» Гомон в кузове затих и все усталились на Сабину. Она достала из кармана маленький зеркальный шарик и направила его в глаза управдома. Тот усталился на шарик и вдруг обмяк, словно из него выпустили воздух.

«А теперь иди к грузовику, - тихо сказала Сабина, - иди, иди, иди. Так, влезай по лесенке в кузов, влезай наверх в кузов, так - одна ступенька, вторая, третья». Управдом послушно полез в кузов, - толпа дружно ахнула, но никто не посторонился, чтобы освободить ему место. Он так и повис на верхней ступеньке, качаясь из стороны в сторону. «А теперь езжайте!» - велела Сабина шоферу, но тот воспротивился: «Я с этим доносчиком не поеду, он по дороге выпадет и меня отдадут под суд. Так что забирайте его вниз и управляйтесь с ним сами. Только поскорей, я и так уже опоздал».

Сабина пожала плечами: «Не хотите его везти, так помогите стащить его вниз. Я одна не могу, он слишком тяжелый». Шофер ворча вылез из кабины и стащил управдома на тротуар. Сабина шепнула мне: «А теперь лезь обратно в кузов, живо!» Я стала

взбираться по лесенке, спрашивая на ходу: «А ты как же?» Грузовик уже ехал, но я все же услышала, как она крикнула: «За меня не беспокойся, я с ним управлюсь!»

Про оборонительные сооружения я рассказывать не буду, так это ужасно. Я поняла, почему Сабина ободрала руки до крови, - я долбила лопатой твердую землю, а вокруг то и дело рвались немецкие снаряды. Женщины, долбившие землю рядом со мной, громко ругались, что не все снаряды немецкие, бывают и наши. А некоторые смеялись над нашими лопатами, которые должны были выстоять против немецких танков, и пели хором нахальную песню:

*- Дамочки, дамочки, не копайте ямочки,
Скоро наши таночки въедут в ваши ямочки!*

Я тоже пела вместе со всеми: от песни было веселей и не так страшно. Услыхав наше пение, прибежал надсмотрщик, морда у него была толстая, красная и злая. Он приказал: «Вражеское пение прекратить!», но тут совсем рядом разорвался снаряд, и все бросились прятаться в вырытый вчера окоп, и надсмотрщик тоже. Одна дамочка спросила нежным голосом: «Товарищ начальник, неужели вы тоже боитесь снарядов?», а другая объяснила поглубже: «Да чего ему бояться? Его жир защитит. Небось не на четыреста граммов хлеба в день он такую ряжку наел».

Все захохотали, а надсмотрщик весь налился кровью и зарорал: «Сейчас же прекратить вредные разговорчики!» - «А то я пошлю вас копать оборонительные сооружения», - закончила за него та, что с нежным голосом. Он плюнул, выругался и убежал, а мы снова запели ему вслед: «Дамочки, дамочки, не копайте ямочки!» Вообще ничего веселого в этом не было, разве только в обеденный перерыв привезли бидоны с кипятком и каждой из нас выдали наши кровные четыреста граммов хлеба.

Мне было обидно, что я не взяла с собой ни кружки, ни чашки, и потому не могла попить кипяточка. Но та, которая с нежным голосом, заметила, что мне не из чего пить, и протянула мне свою кружку: «Пойди, детка, напейся, пока там еще что-то осталось». Я очень вежливо спросила: «Спасибо, дамочка, а как вас зовут?» Дамочка засмеялась, показывая симпатичные ямочки на щеках. «Я – Зоя, а ты?» - «А я – Лина. А на щеках у вас ямочки, как в песне». Зоя засмеялась еще звонче, будто вокруг не рвались снаряды: «А ты девочка с перчиком, Лина!» - «Еще как!» – согласилась я, впиваясь зубами в хлеб, он был безумно вкусный – кислый и тяжелый, как глина. И становился еще вкус-

ней, если запивать его горячей водой!

Я была очень голодная, но не могла съесть весь хлеб – нужно было половину оставить Сабине, как всегда делала она, получая свой паек в школе. Но я напрасно беспокоилась: когда мы, усталые и измученные, ввалились после работы в свой подвал, нас ожидал царский обед – полная кастрюля пшенной каши и тонко нарезанные ломтики настоящей колбасы. «Это что за чудо?» – не поверила своим глазам Ева. «Ничего особенного. Просто гражданин управдом предложил мне полставки врача при его конторе. А кроме того я получила для нас для всех талоны в баню, которую будут топить в зоопарке в воскресенье», – скромно ответила Сабина. «Ну, мать, ты даешь! – восхитилась Рената. – Как это тебе удалось?» – «Я всегда вам говорила, что знание человеческой психологии иногда творит чудеса».

Мы не стали добиваться подробностей, нам было не до того: впервые за много дней наевшись до отвала, мы с трудом дотащились до постелей. А утром уже нужно было мчаться к зоопарку, чтобы не опоздать к посадке на грузовик. Жизнь потекла монотонно, не очень голодная и не такая уж трудовая – все наши дамочки халтурили, как могли. «А зачем надрываться?» – приговаривала Зоя, лениво перебрасывая с места на место все ту же лопату земли. Действительно, надрываться не стоило. Даже мне было ясно, что наши оборонительные сооружения не выдержат самого слабого удара немецкой армии. Оставалось только надеяться, что какая-нибудь сила отвлечет немцев от атаки на «южно-русскую жемчужину», как торжественно называл наш город громкоговоритель.

Но к началу июля надежды на это чудо стали стремительно таять. Обстрелы становились все чаще и оглушительней, весь город дымился от пожаров, так что ко второй неделе июля работы на оборонительных сооружениях прекратились. «Пора по домам, девочки!» – объявила Зоя, когда снаряды стали рваться со всех сторон, и бросила лопату. Все остальные тоже побросали лопаты и потянулись к выходу на шоссе. Никакого грузовика за нами не прислали, и пришлось бы нам тащиться пешком, если бы ловкая Рената не умудрилась остановить военную машину, которая ехала в сторону зоопарка.

На следующее утро громкоговоритель приказал всем жителям города Ростова спрятаться в подвалы и даже носа не высовывать наружу. Честно говоря, и без приказа громкоговорителя высовывать наружу не то, что нос, но даже палец, было опасно

– то, что мы раньше называли артобстрелом, было просто детской забавой. А теперь наступило время взрослой игры, и снаряды рвались без передышки даже в нашем отдаленном от центра районе.

И все же прятаться в нашем подвале было невыносимо – хоть Сабина ухитрилась скопить небольшой запас продуктов, у нас не было ни воды, ни света, ни воздуха, тем более, что как раз началась летняя жара. Сначала мы сидели в полной тьме, потому что коптилка, как оказалось, быстро пожирает весь кислород, так что мы зажигали ее только на время еды. Проблему воздуха решила Ева, которая больше всех страдала от духоты. Отмахнувшись от испуганных криков матери, она на вторую ночь храбро выползла из подвала во время ужина – подышать, как она объяснила, - и увидела в стене тонкую полоску света, пробивающуюся непонятно откуда в пяти сантиметрах от земли.

Она стала шарить руками по этой полоске, и обнаружила, что это – щелочка в листе жести, закрывающей длинное узкое окошко. «Линка, - крикнула она, - неси сюда свою отмычку!» Под грохот пушек мы отодрали этот лист, и в подвал ворвался ночной воздух, пахнувший дымом и порохом. Окошко пристроилось под самым подвальным потолком, так что если немножко приоткрыть дверь, получался настоящий сквозняк, который даже норовил задуть нашу драгоценную коптилку. Собственно, драгоценной была не сама коптилка, а спички, подходившие к концу, и потому мы решили теперь, когда появился воздух, гасить коптилку только один раз в день – перед сном.

Обеспечив себе воздух и свет, мы в первые дни немного ото-спались, и начали разговаривать. Вернее, мы с Сабинкой помалкивали, а Ева с Ренатой рассказывали нам про свои приключения по дороге из Москвы в Ростов:

«Теперь я вижу, как было глупо поддаться уговорам Евы и отправиться в Ростов. Но радио обещало, что Ростов не сдадут никогда, а после того, как в наш дом попала бомба, нам в Москве жилось ужасно. У нас не было жилья, ни заработка – Евину школу эвакуировали в Ташкент, и филармонию тоже. И не к кому было обратиться за помощью. Мой друг-скрипач уехал с филармонией, но с женой, а не со мной, а другие друзья исчезли – кто эвакуировался, кто ушел на фронт, кто погиб в ополчении. Зимой мы чистили снег вокруг домов большого начальства, и за это спали в дворницкой. А весной снег растаял и дворник вернулся с фронта без ноги – ну, нас и выставили. Уже стало не так холодно,

и мы спали в подъездах, но нас отовсюду прогоняли, да и есть было нечего. И Ева заладила: хочу к маме, хочу к маме!»

«Мне казалось – с тобой нам будет легче, ты нас защитишь. Я же не знала, что тут будет такой ужас, - вмешалась Ева. – Я ее уговорила сдуру, и мы пошли».

«Что значит, пошли? – ахнула Сабина. – Пошли, а не поехали?» - «На чем можно было поехать? В поезда впускали по проездным талонам или за деньги, а у нас не было ни того, ни другого». - «А откуда вы знали, куда идти?» - «Один начальник из того дома, где мы чистили снег, подарил мне страничку из географического атласа. У нас ведь и вещей почти не было, только то, что было при нас, когда наш дом разбомбили. Мы тогда давали концерт в ремесленном училище за жалкие гроши и обед. Поэтому у нас были концертные платья и Евина скрипка». – «Потом кое-какие рабочие вещички нам скинули жены начальников из большого дома, и с этим мы пошли».

«Мы шли долго, иногда нас подвозили попутные машины, но это было опасно, шоферы все время приставали, так что мы решили идти пешком. Несколько раз мы оказывались прямо на передовой, зато нас очень выручала скрипка – мы выступали перед солдатами за ужин, ночлег и завтрак. Ева играла, а я пела – получалось очень неплохо. Но это тоже было опасно, солдаты тоже приставали. Так что лучше было пробираться через деревни, тем более, когда скрипку украли и с концертами пришлось покончить. В деревнях мы притворялись цыганками и гадали бабам на картах, нас за это тоже кормили и пускали в сарай на ночлег».

«А кто вас гадать научил?» - «Ой, мама, мы за эти годы в Москве прошли через много университетов!»

Тут совсем рядом так грохнуло, что дом закачался. Рената рванулась к двери: «Скорей выбегайте!Сейчас нас завалит!» Мы выбежали и остолбенели – дом, отгораживавший нас от шоссе, смело начисто, и через прореху было видно, как по шоссе вереницей ползут немецкие танки. Громкоговоритель молчал.

21.

«Что же теперь будет?» - спросила Ева.

Никто ей не ответил, и я вспомнила рассказы всех прохожих и проезжих про то, как немцы убивают евреев. Наверно, не я одна вспомнила, а все остальные тоже. Танки проползли, за ними промчались несколько мотоциклов и шоссе обезлюдело.

Но артиллерийский обстрел все равно продолжался.

Этого я понять не могла: «Если немцы уже захватили Ростов, зачем они продолжают стрелять?» - «Да это не немцы стреляют, это уже наши». - «Наши? Так вот, прямо по жилым кварталам?» - «А ты думаешь, им тебя жалко?» Я не ответила, я вспомнила Шурку, которая утверждала, что сейчас никому никого не жалко.

«Пойдемте, девочки, в дом, запрем дверь и затаимся – а вдруг про нас забудут», - почти шепотом предложила Сабина. «Как же, забудут! – отозвалась Рената. – Или ты забыла, что твой друг оправдом всех нас в первый же день переписал?» - «Так он для советских властей переписал, а не для немцев». – «Это мы скоро увидим, для кого он переписал».

Увидели мы это очень скоро, через несколько дней. Мимо окошка прошагали две пары ног в сапогах и одна в ботинках, и в дверь дробно и настойчиво забарабанила жесткая рука. Мы задули копилку и затаились с такой силой, что даже дышать перестали. Но это не помогло – рука продолжала барабанить в дверь все так же настойчиво. «Лучше откройте, Сабина Николаевна, я же знаю, что вы все там, - раздался голос управдома. - Откройте по доброй воле, не заставляйте применять силу».

«Что делать?» - дрожащим шепотом выдохнула Ева. «Я думаю лучше открыть, раз он нас выдал», - ответила Сабина в полный голос и отправилась бороться со щеколдой. «Перестаньте ломиться в дверь, а то эта ржавая щеколда никогда не откроется!» - крикнула она громко, еще раз рванула щеколду и распахнула дверь. Со света дня в подвал вошли трое, но не могли ничего рассмотреть в темноте. «Почему они не зажигают свет?» - спросил по-немецки один в сапогах. «Простите, господа, но вы забыли подключить нам электричество», - огрызнулась я тоже по-немецки.

Он на мой немецкий и ухом не повел, а приказал управдому: «Тогда пусть зажгут свечку». Второй в сапогах открыл было рот переводить, но Сабина его перебила по-немецки: «Для этого кто-нибудь должен дать нам свечку. У нас нет». Теперь первый в сапогах – ясно, что он был главный - обратился прямо к ней: «Раз свечки нет, зажгите что-нибудь, что у вас есть!» - «А чем зажечь? У нас нет спичек», - поддержала разговор Рената. «Вот видите, до чего ваша власть довела людей, даже спичек у них нет», - попрекнул управдома главный, но переводчик не спешил это переводить. Тогда я решила поправить дело и перевела.

Управдом зашипел, как раскаленная печка, на которую плес-

нули воду: «Да что вы слушаете этих поганных евреек, они вам такого наговорят!» Переводчик опять заткнулся, и никто из нас переводить эту гадость не стал. «Что он сказал?» - завопил главный, выходя из себя. Мы молчали, мы ведь в переводчики к нему не нанимались, а настоящий переводчик забормотал что-то невнятное: «Это глупые женщины, господин обершарфюрер, они сами не знают, что говорят».

Обершарфюреру надоела эта канитель и он приказал: «Всем выйти из подвала! Там, на свету мы их регистрируем». Мы с Ренатой вышли первые, Сабина за нами, а Ева спряталась в темноте за диваном, надеясь, что ее не заметят. Но для того обершарфюрер и взял с собой управдома, чтоб тот не дал никому спрятаться и избежать регистрации. Он бодро протопал в подвал и вытащил оттуда дрожащую Еву: «Вот еще одна, думает, я ее не помню. Да я всех их знаю наперечет!»

Главный записал в толстую тетрадь Сабину и девочек и обернулся ко мне: «А ты чего стоишь? Давай свои документы!» Я растерянно стояла и не знала, как мне быть. Но Сабина знала. Она расстегнула красный кисет мамы Вали, висевший у меня на шее, и вытащила оттуда мою метрику: «Ее регистрировать не надо! Она русская!» – и протянула метрику переводчику. Тот расправил ее и прочел по-немецки: «Столярова Сталина, русская, год рождения 1929». - «Значит, она не ваша дочь? – удивился обершарфюрер. – Почему же вы ее прячете у себя?» - «Она наша соседка. Вы наш дом разбомбили и ее мать погибла. Вот мы ее и взяли с собой» - «И напрасно взяли. Это очень опасно – прятаться у евреев», - утешил он нас и пошел дальше стучать в двери, на которые указывал ему управдом.

Ева продолжала дрожать, как в лихорадке. Она бросилась к Сабине и повисла у нее на шее: «Они нас убьют, да? Всех нас убьют, для того они нас записали! Мама, сделай что-нибудь! Я не хочу умирать! Я еще совсем не жила, в школе говорили, что я буду великой скрипачкой! Я не сделала никому ничего плохого, почему я должна умереть?» У нее начались судороги в руках, она сжимала горло Сабины все сильнее и сильнее, пока Рената не вмазала ей звонкую оплеуху и не оттащила от матери. Тогда Ева упала на асфальт и стала биться головой о дверь и кричать: «Не хочу умирать! Не хочу, не хочу умирать!»

Сабина стала бледная, как смерть, и оперлась спиной об стенку, чтобы не упасть и не закричать вместе с Евой. А я сказала: «Знаете, что? Пусть Ева возьмет мою метрику и станет

русская Сталина Столярова, а я притворюсь Евой, и пусть меня убивают. Все равно я не хочу больше жить». – «Ты что, сбрендилла? – спросила Рената. – Ведь проклятый управдом ни за что не оставит Еву вместо тебя. Ты ее не спасешь, а себя погубишь!»

А Ева все продолжала и продолжала дергаться и выкрикивать бессвязные слова, так что соседи стали высовываться из окон и дверей, чтобы получше рассмотреть, в чем дело. «И чего это она так?» - спросил старик со второго этажа. А толстая баба, которая лузгала семечки в окне под ним, охотно объяснила: «Та то жидовочка верещит, помирать не хочет». – «А кто ж хочет? – рассудил старик. – Только никто в нас не спрашивает, хотим мы или не хотим». Баба смела языком серую полосу подсолнечной лузги с нижней губы и смачно сплюнула ее вниз, на асфальт: «Люди болтают, будто про жидов есть отдельный приказ, чтоб всех их убить и воздух от них очистить».

– «Воздух очистить всегда полезно», - мирно согласился старик, а Рената вдруг вспикела: «Мама, хватит изображать обморок и давай с этим спектаклем кончать! Сделай, что хочешь, но поскорей убери ее отсюда!» Сабина медленно, как в полусне, отлепилась от стены, но не упала, а подошла к заходящейся в истерику Еве, села рядом с ней прямо на асфальт и положила ее голову к себе на колени: «Ты ведь знаешь, как это трудно со своими!» - пожаловалась она Ренате, но та только нетерпеливо фыркнула: «Знаю, знаю, на себе испытала!»

Сабина положила ладони Еве на глаза и начала гладить их медленными круговыми движениями. «Тише, тише, все хорошо, хорошо, хорошо, – бормотала она почти шепотом, - ты очень устала, очень устала, тебе хочется спать, спать, спать. Твои веки становятся все тяжелей, они уже совсем тяжелые, будто на них положили камни, ты не можешь двинуть ни рукой, ни ногой, ни рукой, ни ногой, ни рукой, ни ногой». Ева замолчала и постепенно перестала дергаться, руки ее безвольно соскользнули вниз и она затихла.

«Ишь ведьма, падучую заговаривает! – восхитилась толстая баба. – И чего только эти жидаы умеют, они весь русский народ заговорили своей большевистской властью!» - «Вы бы про большевистскую власть поосторожней выражались, а то ведь большевики вернутся, они вам это припомнят!» - «Конечно, припомнят, если кто-нибудь донесет» - «А уж кто-нибудь обязательно донесет!» - «Уж не вы ли?» - «А что? Может, и я».

«Пошли в дом!» - скомандовала Сабина, и откуда только

энергия взялась? Ведь пять минут назад умирала, а тут превратилась в настоящего генерала: «Рената, бери Еву за плечи, а Лина пусть возьмет ее за ноги – и марш в подвал!»

Мы спустились в подвал, уложили Еву на диван, заперли дверь на щеколду и задумались: зажигать коптилку или нет? Сидеть в темноте было мучительно, но одолевал страх – а вдруг немцы опять придут? Мы ведь соврали, что у нас нет спичек. «Ерунда, - решила Рената, - врагам врать не зазорно». Мы зажгли коптилку, посмотрели друг на друга и ужаснулись своим видом, все мы были страшные – бледные, немые, волосы дыбом, губы растрескались.

«Так опускаться нельзя, - объявила Рената, - даже перед смертью! Сейчас мы помоем головы и подкрасимся!» - «Где ты, интересно, нагреешь воду?» - «Сейчас лето, можно и холодной помыться!» И мы стали мыться и прихорашиваться, это все же было лучше, чем сидеть во тьме и ждать прихода убийц. «А что мы будем делать с Евой?» - «Я постараюсь продлить ее сон как можно дольше, но слишком долго тоже нельзя, это опасно для жизни», - вздохнула Сабина. «Неужели для жизни есть что-то опасней немецких пуль?» - не удержалась Рената.

«Никто не сказал, что нас убьют. Вполне может быть, что нас отправят в гетто. В Ростове слишком много евреев, всех убить нелегко», - не очень уверенно предположила Сабина. «Это тебе нелегко, а немцам проще простого». - «Ну что ты знаешь о немцах? Я прожила среди них двадцать лет и всегда изумлялась, как они милы и человечны по сравнению с русскими». - «Боюсь, скоро у тебя будет возможность в них разочароваться», - срезала ее Рената и они замолчали.

Молчали они недолго - не прошло нескольких минут, как в дверь постучали снова, но не забарабанили, как в прошлый раз, а нежненько так, кончиками пальцев. «Гаси коптилку!» - прошипела Рената и пошла отворять. Коптилку мы погасили не напрасно – на пороге появился переводчик обершарфюрера. «Госпожа Шефтель, - сказал он на вежливом немецком, - я пришел пригласить вас в контору местного управления». - «Зачем?» - невежливо спросила Сабина по-русски. «Вам придется расписаться в получении одного важного документа», - продолжал по-немецки переводчик, словно не заметив ее грубости. «Какого еще документа?» - «Вы увидите на месте». - «А если я не пойду?» - «Вы ведь интеллигентная женщина и не станете осложнять свое положение бессмысленным саботажем».

«Неужто мое положение может стать хуже, чем сейчас?» - отозвалась Сабина, наконец, по-немецки. «Любое положение может стать хуже, - с ласковой угрозой ответил переводчик. – Так что советую вам немедленно пойти в контору». И удалился, позвякивая висящими на поясе ключами. Сабина с трудом поднялась со своей раскладушки: «Что ж, пошли, Рената, если нужно». - «А с Евой что делать будем?» - «Еву оставим спать под охраной Линочки».

Я вскочила, словно меня ужалила оса, и заверещала: «Я с вами! Я без вас тут ни за что не останусь!» Рената сказала: «Тебя даже не вызывали!», но Сабина бросила на меня быстрый взгляд и поняла, что начинается новая истерика: «Ладно, иди с нами!» - «А как же Ева?» - «А никак, никто ее не украдет».

Мы прикрыли дверь поплотней и отправились в контору управдома, не ожидая ничего хорошего. В конторе битком набился народ, кто знакомый, кто незнакомый, но все, похоже, евреи. Они выглядели как уличные нищие - встрепанные, небрежно одетые, немытые, не причесанные. От многих плохо пахло. Наверно поэтому все они уставились на Ренату, которая только что помыла голову, подкрасилась и сделала прическу. «Уж не на выпускной бал ли вы вырядились, девушка? – не удержалась одна старая еврейка. – Так приглашение для вас уже готово. Видите, там, на столе у коменданта?»

На столе лежала стопка желтых листков. За столом сидел обершарфюрер, за его стулом стоял управдом, всем своим видом показывая, что готов выполнить любую его команду. Обершарфюрер сказал по-немецки: «Сейчас господин комендант сделает важное сообщение», и умолк, предоставляя слово управдому.

«Граждане евреи, - начал тот неуверенно. Потом вынул из кармана очки, надел их и, вытащив из стопки листок, стал читать, слегка запинаясь. – В последние дни отмечено много случаев насилия со стороны нееврейских жителей по отношению к еврейскому населению. Немецкие органы полиции не видят иного выхода из ситуации, как только сосредоточить евреев в обособленной части города. Поэтому все еврейские жители города Ростова 11 августа 1942 года будут отведены в свой собственный район, где они будут защищены от вражеских акций. Чтобы провести это мероприятие, все евреи обоих полов и любого возраста должны явиться 11 августа 1942 года до 8 часов утра на соответствующий сборный пункт.

Все евреи должны взять с собой документы и сдать ключи от нынешних квартир на сборных пунктах. На ключе должна быть прикреплен картонная бирка с именем и адресом. Рекомендуется взять с собой ценные вещи и наличные деньги и необходимую ручную кладь.

Каждый, кто нарушит это распоряжение, должен быть готов к неизбежным последствиям.

Председатель еврейского совета старейшин д-р Лурье».

Управдом закончил читать, снял очки и обвел нас всех взглядом, словно ожидая ответа. Но все молчали. В конторе стало так тихо, будто вся еврейская толпа перестала дышать. Только я осмелилась выскочить с вопросом: «А куда нас поведут?» Но управдом, нет это раньше он был управдом, а теперь он стал комендант. Так вот, этот новый комендант не дал мне провести его за нос: «А ты, Сталина Столярова, что тут делаешь? Ты же русская, зачем же ты лезешь со своими дурацкими вопросами?»

Тут вся толпа обернулась и уставилась на меня – зачем эта русская Сталина Столярова затесалась среди евреев и говорит лишнее? Как будто не понимает, что не стоит раздражать немецкое начальство дурацкими вопросами? Под их взглядами я прикусила язык и втиснулась между Сабиной и Ренатой, чтобы меня не стало видно. А комендант строго спросил: «Все всем ясно?» В ответ все опять промолчали. «Тогда пусть каждый возьмет это воззвание еврейского совета и распишется о его получении».

Притихшие люди начали осторожно подходить к столу, брать листки, расписываться в толстой тетради и поскорей выскакивать из этой страшной комнаты. Когда все прошли, остались только мы – Сабина, Рената и я. «Вы что, ждете отдельного приглашения, гражданки Шефтель?» - рявкнул комендант. «А если я не хочу брать это воззвание?» - спросила Сабина по-немецки. Комендант открыл было пасть, чтобы снова рявкнуть, но обершарфюрер ответил ей спокойно и даже любезно: «Не хотите, можете не брать. Главное – приходите вовремя на сборный пункт».

После его ответа коменданту нечего было добавить, разве что выкрикнуть: «Ровно в восемь, без опозданий!» И мы вышли на улицу, там никого уже не было – похоже, толпа быстро разбежалась, никто не остановился, чтобы обсудить воззвание. «А какое сегодня число?» - спросила Сабина. «Девятое», - ответила Рената. – «Значит, послезавтра». И мы тоже замолчали – страшно было даже подумать, что это воззвание значит.

Когда мы подошли к нашему подвалу, Рената тихо сказала:

«Давайте не рассказывать Еве про это воззвание». – «Давайте, - согласилась Сабина. – Лина, ты поняла? Еве ни слова». Но она напрасно старалась – когда мы открыли дверь в подвал, там было пусто. Евы и след простыл.

22.

Мы ждали Еву все оставшиеся полтора дня. «Может, ее надо искать? А вдруг ее кто-нибудь похитил?» - неуверенно предложила я, но Рената резко меня оборвала: «Никто ее не похитил! Она просто удрала, и дай Бог, чтобы ее не поймали!» Удивительно, почему, когда случается что-то страшное, неверующие люди вспоминают про Бога? Ведь и моя мама, которая уволила няню Дашу за то, что та повела меня в церковь, перекрестила меня перед тем, как отдать маме Вале.

«Куда же она могла пойти одна?» - прошептала Сабина. – И как она сумеет пройти мимо немецких постов, где она найдет ночлег и еду? Ведь она еще ребенок!» - «Ты за нее не беспокойся, мама. Она такую школу прошла по дороге из Москвы в Ростов, что ей смело можно выдать аттестат зрелости!»

Весь следующий день я тоже вспоминала про Бога, когда сидела и смотрела на дверь, представляя, как она откроется и два полица вбросят в подвал Еву, всю в синяках. Но дверь открылась только, когда Рената вернулась домой с менки – она понесла туда менять на еду свою шикарную бархатную юбку: «Вряд ли она мне еще пригодится, - вздохнула она, - а есть хочется». Ей удалось выменять юбку на два стакана пшена и стакан постного масла. Это было здорово, потому что у меня голова уже совсем помутилась от голода.

Мы сварили полную кастрюлю роскошной пшенной каши с постным маслом, и решили съесть всю разом, не оставляя на завтра. «Кто знает, сможем ли мы поесть завтра», - сказала Сабина и замолчала, глядя на дверь. Она наверно тоже представляла, как дверь откроется и два полица вбросят в подвал Еву, всю в синяках. Но дверь так и не открылась, и Ева не появилась ни вечером, ни ночью, ни утром, когда пора было идти на сборный пункт.

Мы встали рано, умылись, причесались, Рената слегка подкрасилась и решили на сборный пункт не идти – если им так нужно, пусть за нами приходят. Тем более, что никаких враждебных действий мы от своих соседей не видели. Мы, конечно, нервничали, понимая, что так просто это нам с рук не сойдет. И

точно, часов в девять появился комендант с двумя немецкими солдатами. Они без стука распахнули дверь ударом сапога и комендант заорал: «Почему вы не явились на сборный пункт? Вы что, приказа не слышали?»

Сабина ответила спокойно по-немецки: «Это был не приказ, а воззвание. Нас защищать не нужно, нас соседи не обижают». Солдат хмыкнул, а комендант побагровел от злости: «Говори по-русски, старая жидовка!» Сабина даже глазом не моргнула и обратилась к солдату: «Почему этот человек кричит? Я по-русски не понимаю». Солдат сказал: «Я тоже. Но вам, мадам, придется пойти с нами на сборный пункт. Это приказ». А второй солдат добавил: «Вы же не хотите, чтобы мы потащили вас силой?»

Сабина сказала Ренате: «Что ж, раз приказ, придется идти», и двинулась к двери, Рената за ней. Комендант заорал: «А где третья жидовка? Опять спряталась?» И ринулся в подвал искать Еву: «Зажгите свет, черт бы вас побрал!» Рената возразила: «Вы же знаете, что у нас нет спичек». Комендант выхватил у солдата ружье и стал тыкать штыком в разные предметы: «А ну, выходи! Выходи, девка! От меня не спрячешься – все равно найду!»

Но не нашел и бросился на Сабину, схватил ее за воротник и потряхнул: «Отвечай, куда девченку спрятали!» Рената оттолкнула его от матери: «Убери руки! Никто ее не прятал. Она пошла к восьми часам на сборный пункт». - «Я что-то ее там не видел!» - «Лучше посмотреть надо было!» Рената взяла мать за руку и потянула из подвала. Солдат спросил: «А маленькая девочка почему не идет?» Сабина объяснила: «Она не моя дочь. Она русская. Лина, покажи ему метрику!»

Я дрожащими руками стала расстегивать кисет, но никак не могла справиться со шнурком. Рената сказала коменданту: «Вы же знаете, что она не еврейка. Объясните это солдату». Комендант закричал: «Ничего я не буду ему объяснять. Пусть идет вместе со всеми!» Мне было все равно – идти или оставаться, даже лучше казалось пойти со всеми вместе, чем остаться одной. И я пошла вслед за Ренатой, но тут, запыхавшись, подбежал переводчик. Он еще издали закричал солдату: «Девочку отпустите! Она не еврейка!»

Солдат махнул рукой: «Оставайся!», но комендант все-таки стал подталкивать меня к выходу. Сабина с силой оттолкнула его, притянула меня к себе и поцеловала: «Прощай, Линочка, радость моя! Не забывай меня». И сунула мне в руку какой-то листок. Я, не глядя, спрятала листок в свой красный кисет и по-

бежала за Сабиной и Ренатой.

Я добежала с ними до сборного пункта, который был там же, откуда грузовик увозил нас строить оборонительные сооружения. Их втокнули в толпу, толпа была небольшая и молчаливая, ее окружили вооруженные солдаты. Какие-то женщины тихо плакали, но никто не пытался вырваться из толпы и убежать. Из конторы вышел обершарфюрер и приказал: «Вперед!» Толпа медленно двинулась по Зоологической улице вдоль Зоопарка, прочь от города. Впереди шли солдаты, колонну замыкали две бронированные машины, которые ползли вслед за толпой. Это выглядело так страшно, - не как в жизни, а как в кино про немецко-фашистских захватчиков.

Я пошла за бронированными машинами и со мной еще несколько пожилых женщин и три старика – наверно, это были мужья и жены евреев. Женщины плакали, а один старик с авоськой в руках все время пытался обогнать машины и кричал: «Фаничка, ты забыла свой завтрак!» Немецко-фашистским захватчикам было смешно смотреть из машин на этого глупого старика, который ничего не понимал, и они играли с ним в кошки-мышки: сперва замедляли ход и давали ему протиснуться между машин, а потом ускорялись и выдавливали его назад, к нам.

Мы перешли мост через Темерник и двинулись дальше по Змиевскому проезду. «Так я и знала – их ведут в Змиевскую балку! – воскликнула одна из плачущих женщин. – Мне соседка рассказывала, что там пленных красноармейцев заставили вырыть большие ямы». – «Какие ямы? – удивился глупый старик с авоськой. – Ведь говорили, будто их отправляют в трудовой лагерь». – «Удивляюсь я вам, гражданин: вам фашисты сказали, а вы им поверили?»

За железнодорожными путями, откуда-то сбоку в Змиевский проезд втекала еще одна толпа, побольше нашей, обе толпы сливались вместе и уходили по Лесной улице куда-то далеко за Ботанический сад. У входа в Лесную стояли немецкие солдаты с автоматами. Они не пропустили нас дальше, и мы остановились на перекрестке. Я все время всматривалась во вторую толпу, отыскивая глазами Еву, - ведь если они ее поймали, она тоже должна пройти по этой дороге.

Но слава Богу, я ее не увидела, а увидела Светку Каплан – маленькую девочку из второго класса, которая уписалась тогда у доски, когда кто-то из мальчишек крикнул «Немцы!» Сейчас с нею тоже что-то случилось: она не могла идти и то и дело па-

дала, а немецкий солдат подгонял ее прикладом. А толпа все продолжала и продолжала течь мимо нас, она унесла с собой и Сабину, и Светку, и Фаничку, которая забыла взять свой завтрак в авоське.

Я поняла, что напрасно стою на этом страшном перекрестке – отсюда я больше никогда не увижу Сабину. Я оглянулась на зеленый массив Ботанического сада и вспомнила, как мы с Сабиной ходили туда на экскурсии. Это было очень давно, в совсем другой жизни, до начала войны, но я вдруг ясно представила себе, как мы вползали в сад через дыру в заборе, потому что у нас не было денег на билеты. Эта дыра в заборе была совсем близко от того места, где я сейчас стояла.

В тот последний счастливый день перед началом войны Сабина устроила нам пикник. После того, как мы съели свои бутерброды, мы отправились искать вечнозеленую магнолию с белыми цветами, и нашли ее прямо возле той самой дыры в заборе, через которую мы вползали в Ботанический сад.

За забором извивались три кривые улочки, за ними земля круто уходила вниз, в зеленый овраг, на противоположном краю которого видны были красные крыши маленькой деревеньки «Змиевка вторая», а овраг под ней назывался «Змиевская балка».

Я бегом побежала по знакомым переулкам и без труда нашла нашу дыру в заборе. Запыхавшись, я быстро отыскала вечнозеленую магнолию, и удивилась, что здесь, в густой зелени парка, ничего не изменилось. Там, за забором шла война, там бомбили дома и убивали людей, а магнолия как ни в чем не бывало тянула к небу могучие ветви, усыпанные огромными белыми цветами. Ну да, вот что изменилось: цветов тогда не было, тогда был июнь, а им полагалось расцвести в июле, зато сегодня было одиннадцатое августа, и они еще не успели увянуть и опать. К стволу магнолии была по-прежнему приставлена маленькая лесенка-стремянка, по которой можно было добраться до первой развилки ее мощных ветвей.

Я так и сделала – влезла по стремянке до развилки, села на расстеленный там соломенный коврик и посмотрела в сторону деревни Змиевка вторая. Но не увидела ничего, кроме знакомых красных крыш. Тогда я подтянулась на руках и добралась до следующей развилки – она была уже довольно высоко и смотреть вниз было страшно. Но я влезла сюда не для того, чтобы смотреть вниз, а для того, чтобы попытаться разглядеть, куда немцы

погналы Сабину.

Разглядывать, собственно, было нечего: разве что вдалеке справа ползла какая-то серая змея, и можно было догадаться, что там идет та самая толпа, за которой я бежала все утро. Но голова змеи очень быстро исчезала за поворотом железнодорожной линии и оставался только хвост, равномерно ползущий за головой. Я сидела в ложбинке между ветвями магнолии, не в силах оторвать взгляд от этой змеи, хоть не было никакой надежды увидеть там Сабину.

Огромные белые цветы пахли сладко и одуряюще. От их запаха у меня начала кружиться голова. В саду было очень тихо, не гудели машины, не перекикивались посетители, и только тоненько жужжали какие-то комары или мухи. И вдруг в тишину ворвался дробный перестук кастаньет, сразу же заглушенный звуками громкого марша, вроде того, что играл у нас по вечерам немецкий громкоговоритель. Я уже знала, что перестук кастаньет – это треск пулеметных очередей, но при чем тут музыка? И тут под звуки немецкой музыки у меня в голове зазвучал голос той женщины из Киева, которую Сабина кормила гречневой кашей: «На другом краю оврага сховался пулемётчик и начинал стрелять. Выстрелы специально заглушали музыкой и шумом самолёта, шо над оврагом кружив. После того как яма заполнялась трупами, их сверху засыпали землёй».

Пулемет застрочил снова и снова, и музыка не могла его заглушить. Я прижалась спиной к стволу магнолии, чтобы не упасть, потому что перед глазами у меня замелькали большие черные мухи, - они летели прямо на меня, но не жужжали, а стучали кастаньетами и громко пели немецкий марш.

Я закрыла глаза и ясно увидела пустое зеленое поле перед оврагом. У входа в овраг стоял небольшой нежилой дом, в него вползала серая змея, хвост которой терялся где-то вдали. Змея вползала в комнату и уже вблизи можно было разглядеть, что это толпа женщин – старых и молодых, с детьми и без детей. Тот самый переводчик, что приходил к нам с обершарфюрером, приказывал женщинам раздеться, а когда они смущенно отказывались, обершарфюрер орал на них так громко, что они пугались и поспешно срывали с себя одежду. Их, голых, выпускали через другую дверь и вталкивали в большие грузовики. Полные грузовики один за другим отъезжали от дома в глубину оврага, откуда доносились частые пулеметные очереди.

Я оттолкнулась от крыши дома и оказалась в овраге, прямо

над головами группы голых женщин, стоявших на краю большой глубокой ямы. Я не успела разглядеть лица этих женщин, потому что застрочил пулемет и они стали падать в яму. Только тут я заметила, что яма уже почти полна трупами, так что тела этих женщин заполнили ее до краев. Немецкий голос громко приказал: «Засыпать!», и три молодых парня в советских гимнастерках стали быстро сгребать на тела лопаты земли из высокой кучи на краю ямы. Мне показалось, что земля над трупами шевелится и из-под нее раздаются крики и стоны.

Я почувствовала, что я тоже падаю в яму и на лицо мне кто-то бросает лопаты земли, как бросали их на кладбище в Ахтырке на гроб папы Леши.

23. Врезка

Когда-то в начале семидесятых, когда я была уже профессором физики в Новосибирском академгородке и имела доступ к иностранной прессе, я прочла в одной старой немецкой газете показания Лео Маара, русского немца, служившего во время войны переводчиком в спецподразделении СС-10а, которому была поручена очистка Ростова от евреев. Показания он давал в 1966 году в мюнхенском суде по делу оберштурмбанфюрера Хейнца Зетцена, руководителя спецподразделения СС-10а, отлично выполнившего задание, героически уничтожив за три дня 23 тысячи безоружных и беспомощных женщин, стариков и детей. Лео Маар в своих показаниях в точности описал ту комнату в заброшенном доме, которую я увидела в своем странном бреду: испуганную толпу женщин, раздевающихся под крики Зетцена и выходящих голыми в другую дверь, где их загоняли в тяжелые грузовики.

Я никогда в жизни не видела ни этого дома, ни этой комнаты, но я увидела их, сидя высоко в развилке магнолии, откуда их невозможно было рассмотреть. Я думаю, это Сабина перед смертью послала мне последний прощальный сигнал.

24.

Я бы умерла вместе с Сабиной, если бы меня случайно не нашла Зоя. Та самая Зоя с ямочками на щеках, с которой я подружилась, работая на оборонительных сооружениях. Какое удивительное совпадение – именно в тот день она пришла в Ботанический сад с тачкой собирать целебные травы и съедобные ягоды. До войны она преподавала химию и биологию и хорошо знала, какие болезни какими травами и листьями можно лечить.

Она нашла меня под магнолией и ужаснулась - подумала, что я мертвая, потому что я лежала на земле без сознания с разбитой головой. Но, пощупав мой пульс, она обнаружила, что я жива, и не оставила меня одиноко умирать под роскошным деревом, усыпанным душистыми белыми цветами, а погрузила меня на тачку и повезла к себе домой.

Потом она признавалась, что кроме милосердия ею руководил маленький расчет – она придумала, чем она будет зарабатывать при немцах, чтобы выжить. Для выполнения ее замысла ей не доставало ребенка, а у нее детей не было – ее единственный сын еще в прошлом году ушел на фронт. Так что она, по ее словам, увидела во мне знак Божий, благословляющий ее замысел. Единственное, чего она не ожидала, что этот Божий знак окажется немым, ведь мы с ней славно перекидывались шутками всего несколько недель назад.

Я тоже сначала не знала, что опять онемела. Несколько дней Зоя отпаивала меня целебными растворами и смазывала мою разбитую голову целебными мазями, но в конце концов ко мне вернулось сознание и я увидела склонившееся надо мной знакомое женское лицо. Я не сразу вспомнила, откуда это лицо мне знакомо, а оно, поймав мой взгляд, озарилось счастливой улыбкой: «Слава Богу, Линочка, наконец ты пришла в себя!» Во рту у меня пересохло, и я хотела попросить воды, но губы мне свела судорога и из моего горла вырвался хриплый стон.

«Что с тобой?» - испугалась женщина, и я узнала Зою. Я хотела крикнуть: «Зоя, это вы?», но только напрасно пощелкала зубами. Я огляделась - за окном сияло солнце, значит, день еще не кончился. Я лежала на раскладушке в хорошо убранной комнате, возле письменного стола с настольной лампой и стаканом для карандашей и ручек. Где я? Как я сюда попала? Я приподнялась на локте, в голове у меня слегка качнулось и прошло. Я сделала знак, будто пишу – Зоя сразу сообразила и протянула мне тетрадку и карандаш со стола.

Я написала: «Как я к вам попала?» Зоя протянула руку за карандашом, чтобы мне ответить, но я быстро написала: «Я все слышу». - «Почему же ты не можешь говорить?» - «Я онемела. Со мной это уже случалось». - «Но это прошло?» - «Меня вылечила Сабина». - «Кто она такая и как ее найти?»

Как найти Сабину? И тут я все вспомнила – и обершарфюрера, и серую змею, ползущую в овrag, и бронированные машины, и пулеметные очереди под звуки немецкого марша. Я бы завывала

и закричала: «А-а-а!», но у меня не было голоса. Мой рот беззвучно открылся и закрылся, открылся и закрылся, я упала лицом в подушку и беззвучно зарыдала.

Зоя села на пол рядом с моей раскладушкой и тихо спросила: «Что с тобой случилось, девочка?» Я могла бы все ей рассказать, но как написать это карандашом в тетрадке? Я кое-как начеркала: «Сабину нельзя найти. Ее убили», и опять рухнула на подушку. «Ладно, выясним это завтра. Я нашла тебя в Ботаническом саду под магнолией, без сознания и с разбитой головой. А сейчас выпей это, — она протянула мне стакан с коричневой жидкостью, — и постарайся заснуть». Я дрожащей рукой взяла стакан, отхлебнула и скривилась: напиток был горький и вонючий. Зоя засмеялась: «Что, противно? Но зато полезно. Так что пей через не хочу». Я выпила через силу и глаза мои тут же начали смыкаться, в голове помутилось, и Зоина комната исчезла, оставив меня на дороге в Змиевскую балку.

Всю ночь я бежала за Сабиной, пока не добегала до заброшенного дома у входа в овраг. Там меня с Сабиной загоняли в пустую комнату, в которой был один стол и один стул, на стуле сидел обершарфюрер и командовал. Переводчик велел нам раздеться и отдать ключи от нашей квартиры. «Но у нас нет ключей, — говорила Сабина, — наш дом разбомбили» - «Это правда?» - спрашивал меня переводчик, но я не могла ответить, мое горло свела судорога. Мы раздевались и выходили в другую дверь. Ренаты, по-моему, с нами не было и Евы тоже. Сабину заталкивали в грузовик с другими голыми женщинами, а меня отгоняли прочь за то, что я не хотела отдавать ключи. Я бежала за грузовиком и пыталась крикнуть «Сабина!», но не могла из-за судороги в горле.

Судорога свела мне горло так сильно, что я проснулась. Было уже светло — или еще светло? «Доброе утро», - улыбнулась мне Зоя, значит светло было уже. «У тебя есть в Ростове родственники?» Я написала: «Теперь никого нет». Это был странный разговор — она говорила, а я писала. «Хочешь остаться у меня?» Я вспомнила сказку о волшебнице, заточившей принцессу в своем замке, но я не была принцессой, и потому просто кивнула головой — мол, хочу. «Вот и отлично! — воскликнула волшебница. — Вставай, умывайся и будем завтракать!»

Когда я, пошатываясь от слабости, села к столу, Зоя положила на мою тарелку мой красный кисет — я и не заметила, что он не висит у меня на шее. «Спасибо», - написала я в тетрадке, по-

веса на шею и стала мазать на хлеб вишневое варенье, стоящее возле моего локтя на маленькой розетке. За завтраком Зоя объяснила мне, что это последние остатки еды у нее в доме, но это не страшно, потому что она знает способ зарабатывать на жизнь, если я ей буду помогать. Я немножко испугалась: волшебница в сказке тоже хотела какой-то опасной помощи от принцессы, но тут же успокоилась – я-то принцессой не была. И правильно успокоилась, ничего опасного Зоя от меня не хотела: просто она умела делать спички, а сейчас это был самый ценный товар. Ей нужно было, чтобы по вечерам я помогала ей делать спички, а днем ходила по улицам их продавать.

Делать спички оказалось несложно, нужно было только настрого маленьких щепочек, а потом макать их в горячее вещество и сушить. Главное, нужно было уметь это горячее вещество приготовить и иметь те составные части, из которых оно получалось. Зоя была настоящая волшебница – она имела и умела. Каждый вечер я, вернувшись с выручкой от продажи спичек, съедала обед, приготовленный волшебницей Зоей, и садилась к столу, на котором стояла миска с пахучей коричневой кашей, тоже приготовленной волшебницей Зоей, и лежала высокая кучка наколотых Зоей за день щепочек. Мы дружно макали щепочки в кашу и выкладывали их ровными рядами на расстеленной на столе газете. Когда вся партия была готова, мы макали каждую спичку в кашу по второму разу и раскладывали их на подоконнике для просушки. К утру они были готовы.

За полгода между двумя оккупациями Ростова, предусмотрительная Зоя скопила тысячи спичечных коробков, собранных ею в мусорных ящиках. Особенно богатый улов давали мусорные ящики возле воинских частей, густо размещенных по всему городу. После завтрака мы с ней аккуратно заполняли спичками старые коробки, на бока которых она с вечера наносила слой той же зажигательной каши. Из коробки для ботинок она смастерила для меня маленький подносик с двумя наплечными петлями, на который она укладывала ровные стопки коробков.

Я отправлялась в город не одна, а с соседом Мишкой, здоровенным балбесом двух метров роста. Его не взяли ни в армию, ни на трудовой фронт, потому что он был настоящим балбесом – в детстве переболел менингитом и так и остался с умом пятилетнего ребенка. Зою он обожал, потому что она всегда его жалела, ласково с ним разговаривала и угощала всякими вкусностями. Кроме того, каждый день по возвращении из нашей торговой экс-

педиции она кормила нас обоих обедом. Польза от Мишкиного сопровождения была огромная – при виде Мишки никто на улице не смел и подумать забрать у меня спички или деньги.

У Зои под окном тоже был громкоговоритель, который иногда громко говорил по-русски, иногда тихо по-немецки. Если он сообщал по-немецки что-нибудь интересное, я переводила это Зое. «Откуда ты так хорошо знаешь немецкий?» - «Сабина научила» .- «Сабина вылечила, Сабина научила! Кто она такая, твоя таинственная Сабина?» - «Теперь уже никто: ее убили в Змиевской балке». – «Убили?» - ахнула Зоя. «Вместе с остальными евреями». Зоя посмотрела на меня вопросительно, но я только пожала плечами: описать этот ужас было невозможно, а говорить я так и не начала.

Оказалось, что даже от моей немоты была небольшая польза - она избавила меня от необходимости подробно рассказать Зое про мою жизнь с Сабиной и про ее гибель. Я хотела все это забыть и не могла. Однажды, когда я ходила по Буденновскому проспекту с лотком, меня остановил русский полицей и потребовал документы. Я открыла свой кисет, и вместе с метрикой вытащила оттуда какой-то скомканный листок. Пока полицей изучал мою метрику, я развернула листок и прочитала наскоро написанную фразу: «Меня звали Сабина Шпильрайн».

И я все вспомнила – наш мрачный подвал, коменданта и двух солдат, уведивших Сабину. Я вспомнила, как она поцеловала меня на прощанье и втиснула мне в руку этот листок, а я, не глядя, сунула его в кисет. И начисто о нем забыла! От этого воспоминания у меня потемнело в глазах и я села прямо на тротуар. «Что с тобой?» - спросил полицей подозрительно. «От голода», - написала я в тетрадке, которую всегда носила с собой в лотке, на всякий случай. Он отдал мне метрику и махнул рукой: «Иди, продавай свои спички!» Но я в тот день спички больше не продавала, я вернулась к Зое, написала ей, что меня лихорадит, и легла на свою раскладушку. Лежа в постели, я читала и перечитывала записку Сабины, и думала, как я буду жить без нее?

Где-то в начале февраля следующего года громкоговоритель вдруг громко залаял по-немецки, именно залаял, а не заговорил. Он изрыгал хриплые команды, смысла которых я понять не могла, тем более что, перекикая громкоговоритель, еще громче зазвучала внезапная пушечная канонада. «Боже, красная армия подошла к Ростову! – ахнула Зоя. – Опять придется сидеть в подвале!»

Я не поняла, обрадовалась она или огорчилась, но выяснять было некогда – грохот начался ужасный. Чтобы спрятаться от этого грохота, мы, захватив немного еды и воды, поспешили в подвал, а карандаш и тетрадку взять забыли. Поэтому все три дня, что мы сидели в подвале, говорила только Зоя – сама задавала вопросы и сама на них отвечала. А через три дня в Ростов вошли советские войска и стали выискивать и наказывать тех, кто сотрудничал с немцами.

Когда жизнь немного наладилась, Зоя решила отвести меня в больницу, чтобы выяснить, как вылечить мою немоту. В больнице никто не знал, как меня лечить, но зато помнили маму Валю. А раз я была сирота, меня решили оставить в больнице в надежде найти какое-нибудь лечение. Тем более, что спички появились в магазинах, а в новой голодухе Зое без спичек не просто было выжить одной, не то, что со мной.

И началась моя больничная жизнь, которая без всякого результата продолжалась четыре года. Меня переводили из больницы в больницу, перевозили из города в город, перебрасывали от одного медицинского светила к другому, а я продолжала молчать. Через два года я приземлилась в детской больнице Харькова и быстро поняла, что тамошний профессор Фукс, сильно пожилой психолог, был тайным последователем психоанализа. Он довольно ловко отыскал мою больную точку и, слегка вздрогнув при имени Сабины, придумал хитрый способ борьбы с моей немотой. Очень может быть, что этот способ он не придумал сам, а скопировал из практики Венского заповедника Фрейда, но со мной он этим сведением не поделился.

Его способ состоял в вытеснении из моей ущербной памяти болезненных воспоминаний и замены их другими, более здоровыми. Это было похоже на игру, которая, как ни странно, постепенно убеждала меня, что Сабину не увели на расстрел на моих глазах. Все дело было в Ренате – она ревновала мать ко мне и убеждала ее не брать на себя бремя моего воспитания, а главное, прокормления. Сабина очень страдала от упреков дочери и в конце концов подчинилась ее требованиям: в одно прекрасное утро я, проснувшись в подвале после бурной вечерней ссоры, обнаружила, что все мои спутницы исчезли, захватив с собой свои скудные пожитки.

В отчаянии я бросилась их искать и каким-то непонятным образом забрела в Ботанический сад, куда ходила раньше гулять с Сабиной. Мне почему-то казалось, что они укрылись именно

там, и, чтобы их найти, я влезла по стремянке на магнолию, потеряла равновесие и грохнулась вниз, раскроив при падении свою несчастную голову. А что касается сеансов, во время которых Сабина открывала мне интимнейшие подробности своей биографии, то это была сплошная выдумка. Нет, она, упаси Бог, меня не обманывала, - она обманывала себя саму, придумывая драматические завихрения собственной судьбы, чтобы хоть чуть-чуть разукрасить серую жизнь скромной учительницы немецкого языка.

«Образованная была дама! – восклицал проницательный Фукс. - Имена-то какие выдумала себе в друзья – Зигмунд Фрейд, Карл Юнг! А английская королева среди них случайно не затесалась?» И толстыми пальцами-сосисками гладил мою бедную голову за ушами, повторяя монотонно, как жужжание мухи, бьющейся о стекло, одну и ту же песню: «Забудь Фрейда, забудь Юнга, забудь Сабину Шпильрайн! Забудь! Забудь!Забудь!» И я забывала.

К тому времени, как я попала в лапы профессора Фукса с его теорией параллельной жизни, я стала очень образованной девичей: прикованная к больничной койке и обреченная на немоту, я, как безумная, «вгрызлась в гранит науки». Я жила в полном одиночестве – нигде в мире у меня не было ни одной родной души, и мне не жаль было времени на учебу. То ли от природы, то ли от Сабининой тренировки у меня развилась блестящая память, и я глотала школьные курсы один за другим, за квартал перепрыгивая из класса в класс. Отсутствие собеседников сроднило меня с книгой, и я заполняла пустоту своей одинокой жизни неумемным чтением.

Профессор Фукс изумлялся, с какой легкостью я схватывала и осуществляла его идеи, так что к концу второго года его терапии я наглухо заколотила исповедь Сабины в тайном подвале своего подсознания - наедине с собой я не боялась употреблять это запретное слово. Но к великому разочарованию профессора Фукса говорить я так и не начала.

Мне шел шестнадцатый год. Я помню, что наступила ранняя весна, когда в мою палату пришел с обходом новый главный врач в сопровождении целой свиты ассистентов и студентов. Я читала что-то интересное и даже на них не взглянула – сколько обходов скольких профессоров я пережила за свою долгую больничную жизнь! Я пропустила мимо ушей привычный доклад моей лечащей докторши Ирины: «А это Сталина Столярова, у

нее неизлечимый случай истерической потери речи». И вдруг стало так необычайно тихо, что я подняла глаза от книги: главный врач, пренебрегая всеми принятыми в больнице условностями, одним прыжком оказался у моей кровати, упал на колени и заглянул мне в лицо. Задыхаясь от волнения он спросил: «Это ты, Лина? Ты жива?» И заплакал.

А я вскочила с постели, повисла у него на шее и заорала хриплым от долгого молчания голосом: «Лев! Лев Аронович! Вы живы?» И тоже заплакала. Ирина взвизгнула: «Она заговорила!» и попросила всех выйти из палаты. Мы со Львом остались наедине. И каждый не знал, с чего начать свой рассказ. От нашего прошлого нас отделяло неоглядное море страданий, моих и его. Он только выдавил из себя главное: «Ты знаешь, Валентина умерла», а я, словно эхо, повторила за ним: «И Сабина умерла». А он сказал в ответ: «Но самое удивительное, что мы с тобой остались живы!»

СТАЛИНА СТОЛЯРОВА — Нью-Йорк, 2002 год

Фильм кончился. Все встали и гуськом потянулись к выходу. Только я, не в силах встать, осталась сидеть, словно прикованная к своему удобному креслу с прикрученным к левой ручке столиком. Поток воспоминаний, годами запертый в глубоком подвале подсознания, рвался наружу, разрушая привычные рамки моей вполне устоявшейся жизни. «Вы хотите остаться на второй сеанс?» - спросила бесшумно подошедшая сзади служительница. Я вздрогнула и поспешно вскочила, роняя с колен сумку: «Нет, нет! Я просто задумалась!» - «Да, - понимающе кивнула служительница, - какая удивительная история. Слово воскрешение из мертвых!» Значит, и она смотрела фильм про Сабину?

На негнущихся ногах я добралась до кофейного бара и взяла еще одну чашечку кофе с бисквитом в целлофановой обертке. От кофе в голове вздулся радужный пузырь - в новосибирской глубинке кофе был дефицитом, и выпитые подряд три или четыре чашки были для меня перебором. Промелькнула мысль: «Теперь ни за что не заснуть», но я от нее отмахнулась, как от назойливой мухи - какая разница, сегодня ночью я все равно не собиралась спать. Где-то в тайниках моего мозга пробуждалась забытая запись моих сеансов с Сабинкой. С каждой секундой она звучала все мощней, полностью заглушая голоса окружающей

меня реальной жизни.

Пока я шла в свой отель на Четырнадцатой улице, я детально обдумала план дальнейших действий. Удивительно, как будучи уже не нормальным человеком, а неким зомби, охваченным маниакальной идеей, я внешне продолжала совершать рациональные поступки, необходимые для выполнения моего замысла.

Лилька скорее всего собрала в номере всех наших друзей-приятелей, так что мне делать там было нечего. Убедившись, что ключ не лежит в гнезде, а значит, я права, я не стала подниматься наверх, а сразу перешла к делу. Я спросила в регистратуре, нет ли у них на ближайшую неделю двух одноместных номеров. К счастью, оказалось, что есть. Цена меня слегка ошарашила, но я быстро подсчитала, что если отказаться от всех задуманных развлечений, то моих денег хватит, чтобы оплатить разницу между одним двухместным и двумя одноместными.

Лилькин номер я взяла с завтрашнего дня, а свой – с сегодняшнего. С ключами в руках я постучала в наш номер. Из двери навстречу мне вырвался нестройный шум и звон бокалов, – все радостно потребовали, чтобы я немедленно присоединялась к их веселью. Но мне было не до них. Я вызвала Лильку в коридор и наспех объявила ей, что переезжаю в одноместный номер, а ей отдаю ключ от ее нового номера, тоже одноместного. Лицо Лильки дернулось в испуганной гримасе: «Я вас чем-нибудь обидела, Лина Викторовна?»

«Нет, нет, Лилька, ты тут ни при чем. Просто в моей жизни открылись новые обстоятельства, и мне нужно побыть одной», – «Уж не задумали ли вы просить политического убежища в Америке?» – в другое время Лилькина шутка прозвучала бы смешно, но сейчас мне было не до смеха.

«Мне просто срочно нужно разработать один сюжет. Так что ты завтра пойдешь на конференцию одна». Ловко подведенные Лилькины глаза чуть не выскочили из орбит: «Вы хотите, чтобы я доложила нашу работу?» – «Да, именно хочу, чтобы ты доложила». – «Но вы так гордились этим открытием!» – «Бывают вещи важнее, чем открытие». – «Вы влюбились, да? И бегали на тайное свидание?» – «Что-то в этом роде: я встретила свою первую любовь». Лилька вцепилась в меня умоляюще: «Но вы мне расскажете, что это?» – «Расскажу. В самолете, по дороге домой». – «Значит, мы все-таки полетим домой вместе?» – «Ну, конечно, полетим, а как же иначе? Только помоги мне сейчас поскорей перенести мои вещи».

Мы вернулись в номер и вынесли мои вещи, не очень нарушив веселье подвыпившей Лилькиной компании. Бросив одежду и туалетные принадлежности на кровать, я села к столу и включила компьютер. Сабинин голос рвался из меня, как приступ рвоты. Мои пальцы сами, без участия сознания, вывели первую фразу: «Версия Сабины».

ГЛАВА ВТОРАЯ ВЕРСИЯ САБИНЫ

1.

Ты не поверишь, девочка, но я выросла в очень несчастной семье, в семье без любви. Мои родители были очень богатые люди, мой папа был умный, интеллигентный человек с нежным сердцем, но мама его никогда не любила. Он делал ей предложение три раза, и она каждый раз ему отказывала. Потому что до него она любила другого, и он любил ее, но свадьба не состоялась и им пришлось расстаться. Я подслушала однажды, как нянька рассказывала кухарке, что мамин возлюбленный был гой, то есть не еврей, а дедушка-раввин запретил маме выходить замуж за гоя. Мама не решилась послушаться дедушку, но никогда не смогла полюбить другого человека, даже такого благородного, как мой папа.

На четвертый раз она согласилась выйти за него замуж, и это было непростительной ошибкой. Подумать только, что я через тридцать лет совершила ту же ошибку! Но об этом не сейчас, о моей ошибке мы поговорим потом, когда придет время. Наш дом был, что называется «полная чаша»: ты помнишь свою квартиру на Пушкинской? А наша была вдвое больше – до того, как большевики разделили ее на две.

Мама не знала бытовых забот: у нее было все - кухарка, нянька и горничная, но она все равно не была счастлива. И папа не мог ей это простить. Поскольку маму он обожал, все свои обиды он вымещал на нас, на мне и особенно на братьях. Нас не воспитывали, нас дрессировали, нас муштровали, нам не давали ни минуты передышки, мы выросли очень образованными детьми, нафаршированными музыкой, языками, науками и литературой. Но нас жестоко наказывали за любое нарушение порядка, за любое русское слово, сказанное в немецкий или французский день.

Никогда не забуду ту страшную картину, с которой все началось. Кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы, случайно

заскочив в комнату четырехлетнего брата Сани, я не увидела его голую розовую попку на папиных коленях. Не успела я осознать, что происходит, как папина рука поднялась и звонко опустилась на розовый мячик попки. Саня взвизгнул, а папа шлепнул его еще, еще и еще.

У меня потемнело в глазах. Под визг Сани я села на корточки и, спустив трусики, наकाкала на расстеленный на полу персидский ковер. Папа ахнул, уронил Саню с колен и бросился на меня. Когда я увидела его руку, занесенную надо мной - не знаю, с желанием помочь или наказать, - я подпрыгнула и вцепилась зубами в мякоть нависшей надо мной ладони. Папа тоже взвизгнул, а я радостно захохотала и стала икать. На шум вбежали мама и нянька и в ужасе уставились на неправдоподобную сцену домашней жизни – ошеломленный папа с окровавленной рукой, рыдающий на полу Саня с голой розовой попой и икающая я перед свеженаложенной пахучей кучей на драгоценном персидском ковре.

Не зная, с кого начать, мама рванулась ко мне с криком: «Что случилось?», но я не смогла ответить - мои зубы продолжали клацать в воздухе, не находя, во что бы еще впиться, их лязганье иногда прерывалось спазмами лающей икоты, рвущейся у меня из горла. Мама по образованию была зубным врачом, поэтому с клацающими зубами она справилась довольно быстро, но что делать с икотой она не знала.

Пришлось срочно послать папину коляску за семейным врачом, который хоть жил и не очень далеко, но все же не мог примчаться мгновенно. Все полчаса, которые прошли до его появления, я непрерывно икала с таким напором, что охрипла, и к тому же то и дело порывалась спустить трусики и покакать на пол. Спасло наши ковры и паркет только то, что покакать мне было больше нечем – все, что скопилось у меня в кишечнике, я нерасчетливо выпустила из себя в первый раз.

Наконец, приехал милый дедушка, седой доктор Левин, и через минуту поставил мне диагноз «Истерия». На вопрос, с чего это началось, папа показывал прокушенную ладонь и бормотал что-то невразумительное о дисциплине и уважении, Саня жалобно плакал, а я икала. Доктор Левин смазал папину руку йодом, а мне выписал успокаивающие капельки и ушел, а мы остались в своей роскошной гостиной, удивляясь такому неожиданному взрыву страстей в нашей мирной еврейской семье.

Это было только начало. С того дня у меня завелась дурац-

кая привычка за обедом детально представлять, как каждый член моей семьи будет выкакивать съеденную во время обеда еду. Особенно напряженно я следила за папой, и часто при виде папиной руки, подносящей ко рту вилку с едой, я вскакивала из-за стола, садилась на корточки и какала посреди столовой, испытывая при этом неизъяснимое удовольствие. Сначала мои потрясенные этим безобразным поведением родители пытались меня наказывать, но это приводило только к ухудшению моего состояния. Тогда они обратились к врачам. Я не помню, как меня лечили, хотя лечили наверняка, потому что в конце концов вылечили.

От моего странного расстройства осталось только непонятное возбуждение, связанное с папиной рукой – каждое ее движение вызывало у меня одновременно отвращение и сексуальное возбуждение. Теперь, после долгих лет работы с психическими расстройствами я склонна подозревать, что я испытывала неосознанное эротическое влечение к папе, которым как бы хотела компенсировать отсутствие маминой к нему любви. Потому что мне тяжело было жить в доме без любви.

Я была непростая девочка с фантазиями и причудами. Я с детства пыталась разгадать тайны природы, и играла не в куклы, а в химическую лабораторию. Я прекрасно играла на рояле, я свободно владела четырьмя иностранными языками, я окончила гимназию с золотой медалью, но у меня не было никакого приличного будущего. В России еврейских девушек не принимали в университеты, а мои родители никогда бы не позволили мне уехать за границу учиться.

Меня ожидала обычная судьба еврейской девушки из хорошей семьи: мне предстояло выйти замуж и рожать детей. Я содрогалась при одной мысли о таком будущем, душа моя рыдала и бунтовала. Ко мне начали водить женихов - ведь я была выгодной невестой, мой отец был успешный коммерсант и дела его процветали. Каждую неделю в нашем доме устраивали смотрины, куда почтенные толстые евреи приводили своих сыновей. Все они были мне отвратительны – и толстомордые лавочники, и чопорные адвокаты в щегольских костюмах, и интеллигентные студенты в очках. Мне не о чем было с ними говорить, душа моя летала высоко за облаками и ждала зачарованного принца. Я ни за что не хотела создать еще один холодный дом без любви.

Все они смотрели не столько на меня, сколько на нашу роскошную мебель и прикидывали, какое за мной дадут придан-

ное. Ну, может быть, не все, но большинство. Был, правда, один студент-биолог, милый мальчик с большими черными глазами в длинных ресницах, который интересовался мной больше, чем приданным – он краснел и бледнел, когда я садилась рядом с ним во время чаепития и то и дело пытался прижаться под столом своей коленкой к моей.

Он неплохо играл на рояле и знал наизусть много хороших стихов, но я с ужасом представляла себе его в качестве мужа. Я не хотела рожать от него кудрявых детей с большими черными глазами в длинных ресницах, похожих на моих братьев. Ты не подумай, что я не любила своих братьев, я их обожала, но я не хотела, чтобы мои дети были на них похожи. Мне кажется, что на них на всех лежала печать обреченности, а я хотела, избавить своих детей от этой печати. Но главное – я вообще не хотела рожать детей, я не хотела тратить свои силы на соски, пеленки и нянек, я хотела быть свободной, чтобы заниматься наукой.

Прошло полгода после блестящего окончания школы, а я все болталась без дела и сходила с ума от тоски. Мама твердой рукой толкала меня в заранее уготованную мне хорошо обставленную западню, и казалось, у меня нет никакого иного выхода. И вдруг случилось мелкое событие, зародившее в моей душе искру надежды.

К на обед был приглашен господин Слуцкий, папин партнер по текстильной торговле. Обед, как обычно, был великолепный, а вино, по словам господина Слуцкого, еще великолепней. Немного перебрав вина, он во время десерта выдал нам страшную семейную тайну – его любимый племянник Люсик заболел психическим расстройством и его пришлось отправить на лечение в психиатрическую клинику в Швейцарии. «А они принимают иностранных подданных?» - удивилась любопытная девушка Сабина Шпильрайн. «Они принимают всех, кто может себе это позволить. А таких немного, потому что лечение в их клинике очень дорогое».

Десерт я уже съесть не смогла и, сославшись на сильную головную боль, удрала в свою комнату. Мой маленький, но острый мозг принял с лихорадочно обрабатывать новую ценную информацию. Передо мной неожиданно открылась лазейка из поджидающей меня западни – я должна убедительно разыграть ужасное психическое расстройство, которое можно излечить только в дорогой швейцарской клинике. Первым делом нужно было выяснить, какие бывают психические расстройства и в чем они про-

являются. Причем нужно было спешить – брачная машина уже была запущена, и дедушка-раввин настойчиво писал из Екатеринослава, что хорошая еврейская девушка не должна так долго болтаться без мужа. А слово раввина-дедушки в нашем доме было законом.

Я решила завтра с утра удрать из дому и пойти в городскую библиотеку, где можно было почитать книги по психиатрии. Предлог у меня был прекрасный: мама давно просила меня пойти в папин магазин и выбрать ткани для летних платьев предстоящего сезона, но я ни за что не хотела оказать ей эту любезность в наказание за ее брачные планы. Теперь можно было пойти ей навстречу. Наскоро позавтракав, я выскочила из дому, заглянула в магазин, где наскоро выбрала несколько симпатичных расцветок и помчалась в библиотеку, в которую была записана уже несколько лет.

Найти книги по психиатрии было нетрудно – кроме русского я свободно читала на трех европейских языках. Трудность была в другом – количество таких книг оказалось сравнимым только с количеством психических расстройств. Понадобились бы годы, чтобы это море знаний освоить. У меня опустились руки – как я с этим справлюсь? В отчаянии я начала просматривать оглавление одной толстой книги и наткнулась на знакомое слово «истерия». Я вспомнила, что в детстве у меня было психическое расстройство: я какала на пол во время обеда и бросалась на папу, как на врага – кусала его, царапала и щипала. Врачи называли мою болезнь истерией.

Мне стало весело: раз я уже болела истерией, моя болезнь может вернуться. Нужно было только выяснить, какие еще бывают симптомы истерии, кроме каканья на пол в присутствии гостей – сейчас я вряд ли могла бы это сделать, даже ради собственного спасения.

Я открыла нужную главу и прочла: «Термином истерия обозначается психическое расстройство, которое проявляется в виде телесных симптомов без каких-либо реальных нарушений: головные боли, параличи, спазмы, страхи, боязнь выступать на публике, отвращение к некоторым продуктам. Больные истерией склонны показывать посторонним язык и устраивать безобразные скандалы с битьем посуды».

Все это было замечательно, на все это я была способна! Окрыленная, я отправилась домой, по пути входя в роль истерички. Конечно, я опоздала к обеду – это было очень кстати, тем

более, что, как всегда у нас, на обед были приглашены солидные гости. Я вбежала в столовую и огляделась: кроме нашей семьи за столом сидели Слонимы с сыном. Значит, опять смотрины – отлично!

Мама спросила сердито: «Почему ты опоздала?» В ответ я заблела по-овечьи и показала гостям язык. Мама обомлела и начала медленно подниматься из-за стола, то ли собираясь дать мне оплеуху, то ли упасть в обморок. Я не стала дожидаться, пока она выберет правильный вариант наказания: я громко захохотала и убежала в свою комнату. Несколько лет назад по моему требованию на дверь моей комнаты навесили крючок, чтобы братья не врывались ко мне, когда я переодеваюсь. Теперь я со злорадным удовольствием заперлась на крючок и растянулась на кровати.

Ждать пришлось недолго – через пару секунд в дверь забарабанил папа, требуя немедленно открыть. Я захохотала еще громче и не тронулась с места. С этой минуты началось долгое, мучительное и для меня, и для них, продвижение к решению отправить меня на лечение в Швейцарию. Я уже не говорю о страданиях моих бедных родителей, но и мне этот спектакль дался нелегко – ведь я ни на миг не должна была забывать, что больна тяжелой формой истерии.

Иногда это было очень трудно, особенно, когда в гости приходили мои школьные подружки. Но у меня хватило здравого смысла и силы воли ни разу не сорваться – ведь на карту была поставлена моя судьба! Чего только я ни вытворяла! Сколько посуды и зеркал я перебила, сколько раз в судорогах падала на пол и теряла речь, но ни разу не смогла себя заставить наказать на пол за обедом. Однако, к счастью, обошлось без этой крайности.

Однажды я подслушала разговор родителей обо мне. Папа сказал: «Но зачем в Швейцарию? Ведь это безумные деньги! Говорят, в Петербурге тоже есть неплохие врачи», на что мама вся вспыхнула: «При чем тут деньги? Ты же знаешь, что в русских психбольницах пациентов бьют! Особенно таких, как твоя дочь». Деньги были причиной постоянных раздоров между мамой и папой. Папа был очень успешный коммерсант, но страшно бережливый, чтобы не сказать скупой, а мама только и делала, что транжирила папины деньги. Она была красивая женщина и обожала красивые вещи, возможно, чтобы скомпенсировать отсутствие любви в ее жизни.

Папа, конечно, уступил, он всегда уступал маме, и в начале августа мы с ней отправились в Цюрих. Это путешествие было самым ужасным в моей жизни: невыносимо трудно было несколько дней поддерживать образ истерички в крошечном пространстве купе, и некуда было спрятаться, чтобы отдохнуть, разве что в уборную. Еще больше положение усложнилось в Варшаве, где к нам присоединился мамин брат, доктор Люблинский, который должен был сопровождать нас в Цюрих.

Он ждал нас в доме папиной сестры, и сразу, как только мы вошли, меня до костей пронзил его взгляд. Я знала, что он человек умный и недоверчивый: мое столь сильное психическое расстройство сразу после получения золотой медали в школе могло показаться ему подозрительным. Обманывать родителей было легко, потому что им, бедняжкам, и в голову не приходило, что я притворяюсь. Но дядя был способен на все – он спокойно мог меня разоблачить. Однако он ничего не успел сказать маме, потому что я мгновенно приняла решение – я заткнула нос двумя пальцами и выскочила из комнаты.

Мама испуганно выбежала за мной, а я уже топала ногами в прихожей и громко визжала: «Сейчас же уберите от меня доктора Люблинского! Он так воняет, что я не могу рядом с ним дышать!» Мама знала, что у истеричек бывают такие причуды, а я знала, что после такого заявления никто не поверит дядиным подозрениям. Все разрешилось благополучно: меня покормили на кухне и уложили спать в отдельной комнате. Но ночью у меня был кошмарный приступ страха – я бегала по квартире в ночной рубашке с криком, что меня преследуют три черных кота. Так что папины родственники вздохнули с облегчением, когда мы утром троим отбыли в Цюрих.

В поезде я разыграла свою роль как по нотам: каждый раз, как мамин брат входил в наше купе, я, зажимая нос, пулей вылетала оттуда в коридор. Дядя сжалился надо мной и позволил мне валяться в его одноместном купе все то время, что он сидел с мамой. Это была настоящая благодать – не надо было визжать, дико хохотать, дергать головой, сучить ногами и показывать всем язык.

Было прекрасно свести их в одном купе и отделаться от их надзора, но меня тревожило, что дядя там разоблачает меня. И я была права: когда проводник разносил чай, я спряталась за их дверью и слышала, что они спорят. До меня донесся обрывок дядиной фразы: «При чем тут смерть Эмили? Твоя бедная де-

вочка умерла три года назад, но это не помешало ей получить золотую медаль». Дверь закрылась и я вернулась в свое купе, где на столике стоял стакан чая и лежал бутерброд с сыром.

Я впилась зубами в бутерброд и задумалась. Ясно, что слово «ей» относилось ко мне, а не к моей покойной маленькой сестренке, смерть которой я горько оплакивала три года назад. Значит, мама пыталась объяснить мою истерию смертью Эмилии, а дядя с ней не соглашался. Но мамина идея была отличная: я действительно ужасно горевала после смерти сестренки, почему бы не сослаться на это в клинике?

Тут мама выглянула из своего купе и мне пришлось пожертвовать недопитым чаем, которым я в нее запустила с криком: «Не смей за мной следовать!» Стакан ударился о косяк двери и разбился, а подстаканник со звоном покатился по полу. Мама в ужасе отшатнулась, дядя втащил ее в купе, а сам выскочил в коридор и дал мне звонкую пощечину. «Иди обратно в свое купе!» - приказал он. Я попыталась его укусить до того, как он втолкнул меня к маме, но не успела. Он закрыл за мной дверь, и я с болью увидела, что мама плачет. Мне стало ее ужасно жалко, я бы могла перед ней извиниться от всей души, но не стоило портить дело из-за сентиментов.

Тут вошел проводник и стал стелить нам постель, делая вид, что не замечает мамино заплаканное лицо. А может, он и вправду не замечал, - какое ему было дело до пассажиров? Когда он вышел, мама достала из сумочки мою снотворную таблетку и протянула мне. Мне на миг захотелось швырнуть в нее таблеткой, но я тут же решила, что на сегодня хватит. У нас было купе первого класса с туалетом и умывальником. Я вышла в туалет, пописала, почистила зубы и прежде, чем спустить воду, выбросила таблетку в унитаз. Потом вернулась в купе, надела ночную рубашку и сладко заснула безо всякой таблетки. Слава Богу, во сне не нужно было притворяться истеричкой!

Утром я проснулась в полной боевой готовности к встрече с дядей Люблинским. К счастью, они с мамой отправились завтракать в вагон-ресторан, а меня предусмотрительно оставили в купе из опасения, что я могу устроить сцену на людях. Я не спорила – мне самой при них кусок не лез в горло: все время приходилось думать, что бы такое-этакое изобразить. Честно говоря, я уже исчерпала все идеи и с нетерпением ждала, когда же я смогу лечь наконец на больничную койку. Я понимала, что там за мною тоже будут надзирать, но это будет уже другой надзор –

равнодушный, не домашний.

По приезде в Цюрих пришлось опять разыграть комедию, в результате которой дядя отправился в отель на отдельной пролетке. В отеле я решила дать родным последний бой, чтобы они отвезли меня в клинику, не дожидаясь завтрашнего дня, как они планировали. Не то, чтобы они жаждали провести еще один день в моем любезном обществе: просто для моего поступления в клинику им нужно было выполнить какие-то бюрократические формальности, на которые одного дня не хватало. А кроме того, они устали с дороги.

Но я их не пощадила - я закатила такой грандиозный скандал, что распугала и хозяев, и постояльцев. Это был лучший в городе, самый дорогой старинный отель с резной мебелью и мраморной лестницей. Там, в обшитых дубовыми панелями коридорах, всегда бесшумно сновали хорошо вышколенные слуги и царила полная тишина. Ох, как я вырвалась в этот тихий коридор, как свалила с пьедестала изящную статуэтку с лампой на голове, упала на паркет и диким голосом завопила, дрыгая ногами и дергая головой.

Прибежал испуганный хозяин и срочно послал за знакомым врачом, который в обход всех правил, но за отличную компенсацию, выписал на бланке отеля необходимое медицинское свидетельство. И меня, спеленутую по рукам и ногам, поздним вечером того же дня отвезли на извозчике в кантональную психбольницу Бургольцли. И именно в Бургольцли меня настигла судьба. Я затеяла этот спектакль с истерией всего лишь для того, чтобы прорваться в швейцарский университет – подозревала ли я, что создаю трагическую драму всей своей жизни?

В клинике я попала в опытные руки санитаров и медсестер, которых совершенно не пугали мои истошные крики и нелепые гримасы. Они ловко переодели меня в ночную рубашку и, несмотря на мои громкие протесты, вкатили в меня какое-то быстроедействующее снотворное. Я пыталась сопротивляться и стискивать зубы, но они бесцеремонно зажали мне нос и влили в рот горькую коричневую пакость. Чтобы не задохнуться, я вынуждена была ее проглотить. Уже засыпая, я подумала, что это даже хорошо, и мне сегодня больше не надо будет притворно кричать и устраивать скандалы, от которых я так устала.

Утром я проснулась с тяжелой головой и не сразу сообразила, где я нахожусь. А когда сообразила, обрадовалась: «Ах, да, я уже в клинике! Теперь надо постараться, чтобы не разоблачи-

ли и не выгнали». Я осторожно перевернулась на бок и из-под смеженных ресниц огляделась: сквозь облака светило неяркое солнце, судя по торчащим за окном верхушкам деревьев моя палата находилась на втором этаже, а может, даже и на третьем. На стуле у двери, уронив голову на стоящий перед ней маленький столик, спала женщина в белом халате. «Ага, значит, ко мне приставили сиделку! С ней надо вести себя осторожно».

В дверь заглянула молодая женщина в белой косынке и, встретив мой взгляд, спросила по-немецки: «Завтрак подавать?» И я вдруг осознала, что теперь вся моя жизнь перейдет на немецкий язык. «К черту ваш завтрак!» – заорала я по-немецки и бросила в нее подушку. Женщина ловко увернулась от подушки, спокойно сказала: «Отлично! Сейчас принесут», и скрылась в коридоре. От шума проснулась сиделка, подперла лицо руками и сделала вид, что вовсе не спала. Что ж, придется начинать скандалить, а не то они решат, что я здорова и отправят меня домой к маме.

От одной мысли о маме во мне проснулась прежняя боевая прыть и я приготовилась к атаке. В палату вкатили столик на колесиках, на котором был красиво сервирован скромный больничный завтрак: кофе с молоком, две булочки, масло и яйцо. Яйцо, отлично! Это как раз то, что мне нужно! Я схватила яйцо и запустила им в сонную сиделку. Она спросонья не успела отшатнуться, яйцо расквасилось у нее на щеке и растеклось по лицу желтыми потеками.

Бедняжка вскочила со стула и бросилась к умывальнику. В этот момент дверь распахнулась и в палату вошла группа молодых людей в белых халатах, которых вел за собой пожилой человек с бородкой. Позже я узнала, что это был ежедневный утренний обход директора Бургольцли профессора Блейера. Но тогда я решила, что они явились такой гурьбой, чтобы связать меня и выпроводить из клиники как самозванку.

Через пару месяцев, когда я освоилась в клинике, я поняла, как наивны были мои опасения. Психбольница Бургольцли была не частной, а общественной, и находилась на содержании кантона Цюриха. А это означало вечную нехватку денег, и такие частные пациенты, как я, на лечение которых богатые родственники не жалели затрат, были на вес золота. Меня бы не изгнали из Бургольцли, пока мой папа за меня платил, даже если бы я по секрету призналась профессору Блейеру, что все мои истерические выходки – просто симуляция.

Но я не собиралась признаваться, - наоборот, я хотела как можно лучше разыграть партию истерички. При виде входящей в мою палату толпы я сорвалась с кровати и, вскочив на подоконник, стала с напором отчаяния пытаться открыть окно. Окно не открывалось и не могло открыться – естественно, что в псих-больнице все окна наглухо запечатаны.

«Что вы делаете, фройлин Шпильрайн?» - ласково спросил профессор, который, как потом выяснилось, никогда не поднимал голоса, разговаривая со своими пациентами, что бы они ни вытворяли. Зато я голос подняла, да еще как! «Выпустите меня отсюда! – заорала я, зная, что все психи утверждают, будто они здоровы. – За что вы заперли меня в больницу? Я совершенно здорова! И не нужен мне ваш отвратительный завтрак!»

«Неужели яйцо оказалось тухлым?» - простодушно спросил профессор, взмахом руки указывая на заляпанную яичным желтком сиделку. Мне на миг стало неловко, но я постаралась это скрыть и опять рванула на себя окаменевшую оконную ручку: «Отпустите меня немедленно!» - «Девушка из России с таким замечательным немецким языком не может надеяться выйти из больницы через окно третьего этажа» - промурлыкал профессор с такой нежностью, что я прикинула, не стоит ли мне разбить стекло. Но под рукой не нашлось предмета, подходящего для этой цели.

Пока я решала, что же еще такое отколоть, профессор приказал одному из студентов снять меня с подоконника. Студент, высокий крепкий парень, схватил меня подмышки и безо всякого усилия перенес на кровать. «Как пушинка», - сообщил он профессору. «Что, очень легкая?» - спросил тот, и велел меня взвесить. Я отказалась идти. Тогда все тот же студент взвалил меня на плечо и понес по коридору, а я орала и била его по спине. Вся гурьба во главе с профессором последовала за нами.

Меня внесли в комнату, полную всяких приборов, и поставили на весы. «Всего сорок девять килограммов?» - удивился профессор. – Не удивительно, что при таком истощении у нее нервный срыв. Что, родители морили вас голодом?» - обратился он ко мне. – «Мои родители - звери и кровопийцы!» - обрадовалась я предложу зарыдать. – Не только морили голодом, но за любую мелочь шлепали по голой попе!»

Кто-то из студентов хихикнул, но профессор цыкнул на него и спросил у меня: «Обратно пойдете сами или отнести?» - «Никуда я не пойду!» - огрызнулась я, и меня понесли назад в палату.

Мне были запрещены визиты родственников, прописано усиленное питание и постельный режим. Запрет визитов был мне очень кстати, а от постельного режима я через пару дней начала лезть на стенку. И уж конечно, я постаралась напроказить, как могла. Пользуясь тем, что я могла отоспаться днем, я по ночам изображала приступы страха, умоляла зажечь свет и выгнать страшного черного кота, который прятался у меня под кроватью. Однажды, когда сиделка пошла пописать, я удрала из палаты, незамеченная промчалась по коридору и спряталась в той комнате, где меня взвешивали. Они два часа искали меня по всей больнице, чуть с ума не сошли от страха, а когда нашли, чуть не бросились меня целовать за то, что я жива.

Тогда я притворилась пай-девочкой и кротко попросила их дать мне какую-нибудь книгу, пообещав им за это больше не убегать. Строгая медсестра отменила сиделку и принесла мне книгу Августа Фореля про гипноз. Я погрузилась в чтение и так увлеклась, что не заметила, как кто-то вошел в мою палату. Почувствовав на себе чей-то взгляд, я подняла голову от книги и увидела стоящего в дверях высокого молодого человека.

Его лицо поразило меня тем, что не было похоже ни на еврейские, ни на русские лица, окружавшие меня всю жизнь. В этом лице не было ни одной округлой линии, оно было составлено только из прямых линий и прямых углов. Прямые надбровья под прямым углом переходили в прямой нос, под которым четко обрисовывались жесткие узкие губы и квадратный подбородок. Но особенно порастил меня его взгляд – твердый, пронизательный и недобрый. Ни в лице, ни во взгляде не было никакого следа мягкости и снисходительности. Это было лицо сурового властелина, встречи с которым жаждала моя душа.

Но внешне ничего не произошло: небо не упало на землю, не сверкнула молния, не загрохотал гром. Молодой человек сказал ровным, хорошо поставленным голосом: «Добрый день, фройлин Шпильрайн, я – ваш лечащий врач. Меня зовут Карл Густав Юнг».

2.

Это было прекрасно. Он был мой лечащий врач! Это означало, что он будет посещать меня каждый день и проводить со мной несколько часов. Мое отношение к нему было в точности описано в письме Татьяны к Онегину: «Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, а потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи». Однако мое положение

ние было лучше, чем положение Татьяны – если Онегину было скучно в поместье ее родителей, и он мог неделями там не появляться, то мой Карл Густав обязан был посещать меня каждый день. А моя задача сводилась к тому, чтобы ему со мной никогда не было скучно.

Мы были не просто врач и пациентка – он был мой первый врач, а я – его первая пациентка. Первая пациентка, пробный камень, первая ступенька предстоящей ему блистательной карьеры! Он хотел сделать из меня специальный случай: он решил впервые применить к лечению истерии новый, почти никем не признанный тогда метод психоанализа. Психоанализ был посвящен лечению подсознания – этой вновь открытой области человеческой души.

Понимаешь, в те времена человека воспринимали таким, как его видели, и если у него было нервное расстройство, его лечили от тех проявлений, которые были заметны снаружи. Но где-то в конце прошлого века венский врач-психиатр Зигмунд Фрейд догадался, что в глубине человеческой души таятся чувства и переживания, не только невидимые посторонним глазом, но неведомые и ему самому. Он назвал эти скрытые эмоции подсознанием, о котором сознание ничего не знало. Именно травмам подсознания учение Фрейда приписывало причины многих психических расстройств.

Как и положено при возникновении каждой великой идеи, коллеги и современники встретили ее в штыки. Она разрушала привычную гармонию, к которой все они привыкли и приспособились. Фрейда травили в научных журналах, над его статьями издевались. И только отдельные редкие профессионалы поняли суть его теории и восхитились. Ведь это было настоящее открытие: догадаться о существовании скрытого в каждой душе тайного царства, о котором никто не подозревал. Для признания правоты Фрейда в те времена нужна была большая смелость. Карл Густав Юнг был одним из таких смельчаков. А мне повезло: я оказалась первым объектом, к которому он собирался этот метод применить.

Я говорю, что мне повезло, потому что психоанализ состоит из цепи бесконечных бесед между врачом и пациентом. А мне только это и было нужно! Во всяком случае, на первых порах, пока мне не понадобилось большего. Как-то, когда Карла Густава срочно вызвали к директору клиники, я имела наглость полистать мелким почерком записанную им мою историю болезни.

И обнаружила, что он тщательно побеседовал с моей дорогой мамочкой до ее отъезда домой. Что и говорить, мамочка создала в его голове весьма непривлекательный портрет своей любимой дочери.

Она не очень нажимала на мое истинное детское расстройство, связанное с папиной привычкой больно бить моих маленьких братьев по голой попе, зато она уделила особое внимание моему горю по поводу смерти моей шестилетней сестрички, случившейся три года назад, и моей невообразимой влюбчивости. По ее словам, я безумно влюблялась в каждого взрослого молодого мужчину, который мне встречался, но с легкостью меняла объекты этой влюбленности. Я и не знала, что так она представляет себе мою эмоциональную жизнь.

Слава Богу, она понятия не имела о моей великой любви к доктору Карлу Густаву Юнгу, хотя, глядя на него, могла бы об этом догадаться. Но к счастью, она не догадалась, и ничего лишнего ему не сказала. Потому что эта любовь была несколько не похожа на мои мелкие интрижки с учителями музыки и зубными врачами. Эта любовь была, как облако, которое накрывает альпиниста на вершине горы – из него невозможно выйти, можно только взлететь с ним в небо или сверзиться в пропасть.

Я не хотела ни того, ни другого, я хотела приручить доктора Юнга и стать для него незаменимой. И потому я стала лихорадочно листать историю болезни в поисках какой-нибудь зацепки. И нашла! Доктор Юнг пренебрег откровениями моей мамы насчет смерти сестры и влюбчивости – он сосредоточил свое внимание на шлепках папиной руки по голым попкам моих младших братьев. Вообще-то, он был прав – моя настоящая, непритворная истерия была вызвана в детстве именно этими шлепками, звонкими, смачными, музыкально оформленными детским ревом.

Он даже написал, что острое желание накакать на персидский ковер у меня сопровождалось попытками мастурбации. Тут он слегка перегнул: никаких таких попыток не было, но сладкое чувство невыносимой боли внутри живота возможно чем-то напоминало оргазм. Недаром слово истерия происходит от слова утерус – матка. Юнг заподозрил, что моя враждебность к папе была одной из форм моего неосознанного желания эротических отношений с ним. Как будто я хотела таким образом заменить ему недостающую любовь моей матери.

Тогда я не смогла понять всех тонкостей его теории, но глав-

ное я поняла: я должна была сосредоточить свои психозы именно на папиной руке и на шлепках по голой попе. К тому времени, как он вернулся, я уже, откинув одеяло, лежала в постели в ночной сорочке, подол которой высоко вздернулся у меня на бедре. Он извинился за то, что вынужден был уйти, и небрежным движением набросил на меня одеяло.

В этот миг я зарыдала и начала умолять его не шлепать меня, чем очень его озадачила. «Откуда вы взяли, что я собираюсь вас шлепать?» - «Папа бы обязательно отшлепал меня за то, что я лежу перед вами не укрытая одеялом!» Я тут же увидела, что попала в самую точку – мой предполагаемый психоз так и лег ему на ладонь, почти готовый. Только с годами, занимаясь медицинской практикой, я поняла, как врач любит пациента, идущего ему навстречу. Но и без опыта, одна интуиция истинной любви подсказала мне правильное поведение.

Когда я поняла, что меня так просто не выставят из клиники, я решила начать выздоравливать. Я бы выздоровела быстрее, но я боялась, что тогда доктор Юнг потеряет ко мне интерес: я была нужна ему не здоровая, а выздоравливающая в результате его мудрого лечения. Я продолжала вытворять разные безобразия с сиделками и санитарками, но с Юнгом я была тише воды, ниже травы. С ним я позволяла себе только безобидные шутки, вроде поданной ему руки, густо измазанной чернилами. И каждый раз, отколов очередной номер, я со слезами спрашивала его, не собирается ли он меня отшлепать.

Поскольку я хулиганила все реже и реже, мне отменили постельный режим и позволили вместо больничного халата носить нормальные платья. Мама оставила мне целый чемодан нарядов всех стилей и фасонов, но я выбрала самый простой – холщовое деревенское платье безо всяких украшений. В соответствии с платьем я заплела свои пышные еврейские кудри в скромную косу, так что никто бы не мог даже заподозрить, какой неугасимый эротический вулкан полыхает в моей душе. Вернее, никто, кроме Карла Густава.

Искры этого вулкана не могли не обжигать его, и я заметила, что его интерес ко мне изменился - он стал напряженней и в то же время осторожней. Тогда я пустила в ход свой интеллект, ведь я недаром получила золотую медаль в русской гимназии. Я стала читать учебники по психиатрии, принимать участие в утренних обходах профессора Блейера и даже выступать в его легендарных презентациях. Мне позволили рабтать в психоло-

гической лаборатории, а в некоторых несложных случаях разрешали даже ставить диагноз.

Доктор Юнг уже не знал достоверно, я его пациентка или ассистентка. Наши беседы становились все более содержательными и увлекательными. Я выяснила, что он женат и у него двое детей, но была уверена, что его богатая изнеженная жена не проявляет такого интереса к его работе, как я. Я была уверена, что никто кроме меня не слушает его с таким вниманием, ничье сердце не бьется так в унисон с его, как мое. Теперь уже я начинала обволакивать его, словно облако в горах, из которого есть только два выхода – или в небо или в бездну.

И мы с ним закружились в этом облаке – он, все еще пытаюсь выпутаться, а я – все больше затягивая его в свои сети. При этом я ни на секунду не должна была забывать про свои обязанности истеричной пациентки и всегда напоминать ему об этом. Для этого я изобрела множество хитроумных трюков: например, мы пошли с ним гулять по больничному парку, это входило в его систему лечения. Мне сперва показалось, что прохладно, и я надела пальто. Потом выглянуло солнце и стало жарко – я сняла пальто и расстелила его на скамейке, на которую мы сели, ни на секунду не прерывая увлекательный разговор о признаках шизофрении.

Когда мы поднялись, чтобы идти обедать, он взял пальто и начал машинально выбивать из него пыль. Со мной немедленно началась грандиозная истерика – ведь по его теории, я не переносила, когда кого-нибудь или что-нибудь колотили, били, шлепали в моем присутствии. Я взвыла, задергалась, затопала ногами и рухнула на землю, больно ушибив колени и локти. Впоследствии этот случай стал хрестоматийным – он был описан много раз во многих научных статьях как пример неустранимой детской фиксации.

Зная, что моя главная болезненная точка – телесное наказание, я часто обращалась к Юнгу с просьбой причинить мне боль, или вынудить меня сделать что-нибудь, чего я делать не хочу. Я внимательно следила за тем, чтобы он вписал эти мои дурацкие просьбы в историю болезни, словно предчувствуя, что весь мой случай станет хрестоматийным.

Чтобы не выздоравливать так стремительно, как мне бы хотелось, я, начитавшись нужных статей, стала симулировать летучие боли в разных частях тела, особенно в ступнях. И моему лечащему врачу приходилось то и дело ощупывать мои колени

и стопы. О, какое это было блаженство, когда его умелые длинные пальцы мяли и гладили мои ступни! «И тут, возле большого пальца, и тут, в ямочке под подъемом!» - все больше увлекаясь, сочиняла я, стараюсь задержать его руку на моей ноге как можно дольше. А в животе у меня трепетало и сжималось что-то, слегка знакомое мне по воспоминанию о детском удовольствии какать на пол при гостях.

Мне стало все чаще и чаще казаться, что Юнг не вполне счастлив в своей семейной жизни. Я не обманывала себя, я понимала, что мне хочется, чтобы он был несчастлив и одинок, и все же мне так казалось. В таком случае у меня появился бы шанс. Мне удалось заглянуть в опубликованные психиатром Францем Риклиным результаты ассоциативных тестов, проведенных им с Карлом Густавом. И я вычитала из этой публикации, что на слово «свадьба» доктор Юнг ответил «несчастье» и что его терзают мысли о сладких играх на софе в комнате молодой иудейки. Ручаюсь, кроме меня никаких других иудеек у него тогда не было.

Не скрою, меня возбудила идея сладких игр на софе иудейки. На завтра после прочтения статьи Риклина я вместо своего бедного холщового платица обрядилась в экзотический наряд из белого кружева, подхваченного под грудью так, что две мои прелестные юные грудки выглядывали из кружева, как из пены морской. Я расплела свою скромную косу и рассыпала по плечам черные шелковые кудри, зазывно выющиеся на фоне белого кружева.

К моменту прихода моего лечащего врача я лежала на софе в вызывающей позе, многократно отрепетированной перед зеркалом. Он вошел и застыл на пороге – по-моему, он подумал, что ошибся дверью. «О, доктор Юнг, - проворковала я томно, закидывая за голову сплетенные в пальцах руки, - как вам нравится мой наряд?» Вместо того, чтобы обругать меня, он плотно закрыл дверь, одним прыжком оказался возле меня, встал перед софой на колени и, обхватив мои плечи обеими руками, хрипло скомандовал: «Сейчас же переоденься!» Я покорно пролепетала «Сейчас переоденусь», - но не спешила вырваться из его объятий. И он тоже не спешил разжать руки. Так мы посидели неподвижно несколько секунд, глядя друг другу в глаза, его губы почти касались моей щеки.

Он с усилием оторвался от меня, вскочил и вышел из палаты со словами: «Я вернусь через пять минут. Чтбы ты была в обыч-

ной одежде!» Через секунду он приоткрыл дверь и рявкнул: «И волосы заплети!» Оставшись одна, я заметила, что вся дрожу. «Он вернется через пять минут, - а что, если не переодеться?» Но здравый смысл, который всегда был при мне при любых обстоятельствах, разумненько подсказал: «Не стоит. Эта сцена больше не повторится. Да и не надо ее повторять – она должна быть одна. Тогда он ее не забудет».

И он ее не забыл. Через пятнадцать лет, когда мы в очередной раз выясняли отношения, он обвинил меня в том, что я с первых дней пыталась его обольстить. А гораздо раньше, описывая мой случай Фрейду, он, правда не называя моего имени, пожаловался, что я с первой минуты поставила себе целью соблазнить его. Это было страшно несправедливо, о каком соблазне могла идти речь? Ведь я тогда была настолько наивна, что даже не представляла себе ясно, чего я от него хочу. Я просто из кожи вон лезла, чтобы привязать его к себе, чтобы он меня не бросил, когда я выпишусь из клиники.

А выписаться из клиники было необходимо, если я собиралась выполнить свою главную задачу – поступить в университет. Я ведь устроила весь этот дорогостоящий маскарад не для того, чтобы соблазнить своего лечащего врача! Этого я могла бы добиться и в России. Для поступления в университет мне необходима была помощь профессора Блейера, который слыл известным поборником женской эмансипации. Я заслужила его уважение своим усердным участием в работе его семинара, и он написал мне рекомендацию, необходимую для поступления в университет. Представь себе, я была принята в университет через девять месяцев после того, как поступила в клинику с тяжелейшим диагнозом.

Поскольку Юнг сделал мой случай показательным и писал о нем в научных журналах, нашлось немало желающих пересмотреть его заключения. Чего только мне ни приписывали его оппоненты – и вяло текущую шизофрению, и тяжелый садо-мазохистский комплекс, но никто не обратил внимания на даты обострения моей болезни. Как я, шесть лет страдая тяжелой формой истерии, умудрилась без всяких эксцессов закончить гимназию с золотой медалью? И каким образом я, поступив в клинику Бургольцли в состоянии почти неизлечимого психического расстройства, через девять месяцев получила от уважаемого директора клиники рекомендацию для поступления в университет? При чем нигде в истории болезни не нашлось ука-

зания на способ лечения, если не считать долгих бесед и прогулок с лечащим врачом.

Зато там лиловым по белому было написано: «Госпожа Сабина Шпильрайн не является душевно-больной». В этом месте сердце мое дрогнуло – неужели догадался? Но нет, это было всего лишь предисловие к следующей фразе: «Она находится здесь на лечении из-за нервозности с симптомами истерии. Мы рекомендуем ее к зачислению.» Мои родители были, конечно, в восторге от такого оборота дела – не говоря уже о том, что содержать в Цюрихе студентку было гораздо дешевле, чем пациентку психбольницы, они были счастливы, что я излечилась так быстро и надежно.

К сожалению, этот восторг привел всю мою дорогую семейку в Цюрих – деньги у них были, нужно было только захотеть. И они захотели – явились в полном составе, мама сняла квартиру в центре города и принялась за устройство моей жизни. Только этого мне не доставало: опять оказаться в нервном кругу родной семьи, из которого я вырвалась почти нечеловеческим усилием. Опять начались обязательные семейные обеды, с приглашенными приличными еврейскими гостями, сын которых подозрительно подходил мне в мужья. За ними пошли спонтанные нашествия моих братьев в университетскую библиотеку, где они не столько читали умные книги, сколько горячо спорили в курилке о судьбах России.

Разумеется, у моих родных были и другие причины на время удрать из Ростова, кроме заботы обо мне: шел 1905 год, в России вошли в моду еврейские погромы, брат Саня, бунтовщик по натуре, связался с революционным подпольем и был объявлен в розыск полицией, брат Яша явно склонялся последовать за ним.

Но за границей было достаточно места, где мои родные могли бы комфортабельно жить, не нарушая мой с трудом восстановленный покой. Так я и сказала своему покровителю, профессору Блейеру, придя к нему на прием перед выпиской из клиники. Он внимательно посмотрел на меня и все понял. Через пару дней он пригласил к себе мою маму и в самых вежливых выражениях объяснил ей, что семейное окружение отрицательно отражается на процессе моего выздоровления.

Потрясенной маме понадобилось несколько дней, чтобы переварить идею отрицательного влияния родной семьи на мою психику, и еще столько же, чтобы приучить к этой идее папу. Но

и папа в конце концов согласился: они сдали с убытком только что снятую квартиру в Цюрихе и, умытаясь слезами, отбыли в Париж, где у папы был бизнес. А я переехала из клиники в свою собственную комнату – снятую, конечно, но мою, куда никто не мог войти без моего разрешения.

Никто, кроме моего Юнга. Это я здорово придумала называть про себя моего любимого лечащего врача юнгой. Ты знаешь, что юнга – это ученик матроса, молоденький мальчик, которым помыкают на корабле все, кому не лень. На этот раз моим юнгой попыталась помыкать моя мама, написав в дирекцию клиники просьбу, чтобы мне назначили другого лечащего врача, более опытного и солидного. Произошло это после того, как я проболталась, что мой юнга – любовь всей моей жизни. Опытная в сердечных делах мама была категорически против такой любви.

Но ей это не помогло: наши отношения с юнгой к тому времени уже вошли в такую стадию поэзии, которую можно было разрубить топором. Я не думаю, что я делала что-нибудь сознательно, просто в отношении юнга у меня замечательно работала интуиция, и почти каждый мой поступок и проступок все крепче привязывал его ко мне. Сначала я попросила его дать мне прочесть его докторскую диссертацию, от одного названия которой сердце нормальной интеллигентной девицы уходило в пятки.

Надо же придумать такое: “О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов”! В диссертации он проводил психиатрический анализ медиумического транса, сопоставляя его с галлюцинациями и помраченными состояниями ума. Он отмечает, что у пророков, поэтов, основателей сект и религиозных движений наблюдаются те же состояния, которые психиатр встречает у больных, заглянувших в бездну: их психика не выдерживает этого ужаса и происходит раскол личности. У пророков и поэтов тоже наблюдается тенденция к расколу личности: к их собственному голосу часто примешивается идущий неведомо откуда другой голос, диктующий им, что писать, но им, в отличие от психически больных, удастся придать своим творениям художественную или религиозную форму.

Имей в виду, что это я изложила идеи юнга простыми словами, он сам излагает их гораздо более путанно и научно. Зато, когда я пересказала их ему самому, он был потрясен силой моего интеллекта и моим умением выразить сложную мысль просто и доступно. Мы с ним часто говорили об удивительном совпадении наших мыслей и идей: стоило мне рассказать ему о

моем очередном научном озарении, как он тут же вытаскивал из портфеля вчерашние записки, в которых обнаруживалось, что подобное озарение посетило в то же время и его.

Обсуждая научную основу нашего поразительного душевного единства, мы совместно набрали на еще никем не высказанную мысль о том, что в каждой мужской душе существует женская составляющая, которую мы называли анима, тогда как в женской душе есть соответствующая мужская часть, по аналогии названная нами анимус.

Попробую объяснить это доступными словами. В душе всякого мужчины(или женщины) есть идеальный, прописанный ему судьбой, образ женщины (или мужчины), привнесенный туда всей культурой и историей его группы, которую юнга назвал коллективным бессознательным. Но реальная линия его (или ее) жизни рисует другой идеальный образ, созданный на основе реальных обстоятельств его(или ее) биографии. И очень часто эти два образа не только не совпадают, но вступают друг с другом в непримиримое противоречие.

Наша любовь с юнгой замечательно укладывалась в рамки этой теории. Уже через много лет, в тысячный раз расставаясь и снова сходясь, мы признались друг другу, что я – его анима, а он – мой анимус. Мы предназначены были друг другу свыше, но наши земные обстоятельства стояли между нами непреодолимой преградой. Он был сыном пастора реформаторской церкви, я – внучкой одного из самых уважаемых раввинов Южной России. Он всегда клал все вещи на место и несколько раз в день вытирал пыль со своего рабочего стола, а я никогда не знала, где именно место моих вещей, и пренебрегала пылью.

Но я до тонкости понимала каждый извив его весьма непостижимых мыслей, я часто опережала его в поисках решения, и еще чаще предвосхищала его идеи. Он женился на замечательной немецкой девушке Эмме, наследнице большого состояния, умеющей отлично вести дом и воспитывать детей. А я ничего этого не умела и не хотела уметь. Я была стремительна, несдержанна и часто слишком умна, умней многих наших коллег-мужчин. Мужчины этого не переносят. Видела бы ты, какая буря поднялась, когда я на венском семинаре профессора Фрейда доложила свою работу о деструкции как основе бытия!

Как они на меня кричали! Как обвиняли в дерзости и неосновательности, хотя через девять лет они пришли в восторг, когда их кумир Зигмунд Фрейд выступил с той же идеей, обозвав

деструкцию Танатосом. Правда, к его чести я должна признать, что он на меня сослался. К тому времени его роман с Юнгом сам себя сжег дотла, оставив у всех горький привкус отчаяния и разочарования. Но я забежала вперед – между этими событиями прошли годы и годы, полные для меня радости, тоски, открытий и падений.

А тогда я по уши погрузилась в студенческое приволье и в свою тайную любовную жизнь. Поначалу между мной и юнгой ничего не было кроме радости общения и взаимопонимания. Считалось, что, хоть я и выписалась из клиники, но все еще нуждаюсь в его врачебном надзоре. Моя невинная придумка, направленная на освобождение от семейного рабства, оказалась настоящей ловушкой. В 1907 году на первом конгрессе по психиатрии в Амстердаме юнга доложил «О фрейдовской теории истерии», приведя в качестве примера случай Сабины Шпильрайн. Противники психоанализа встретили доклад Юнга в штыки, он гордо вышел с ними на бой, и мой случай стал хрестоматийным.

Хотя бы просто ради своей любви к нему я никогда не посмела бы признаться в том детском притворстве. Это моя самая страшная тайна, и ты, моя девочка, – первый и последний человек, которому я эту тайну доверяю. Как ни странно, она все эти годы камнем лежит у меня на сердце – хотя нет уже никого, кому бы это было важно: ни мамы, ни папы, ни братьев. Но я знаю, что жизнь моя подходит к концу, и мне хотелось бы хоть один раз поделиться этой тайной с родным человеком.

В связи со своим амстердамским докладом юнга вступил в переписку с Фрейдом, которого в те годы боготворил. Летом 1906 года он закончил книгу «О психологии шизофрении», первый экземпляр которой он послал в Вену Фрейду. В этой книге юнга рассказал свой «сон о скачущей лошади», который он видел где-то зимой 1905-6 годов. Поскольку он придавал особое значение сновидениям, считая, что именно в них проступает скрытое от нас бессознательное, он просил Фрейда истолковать этот сон.

Я не стану пересказывать все детали этого сна, скажу только, что великий толкователь снов Зигмунд Фрейд увидел в нем две ведущие линии – сильно развитое тщеславие и «незаконное эротическое желание, которое не стоит выносить на свет божий». Потрясенный таким толкованием Юнг прибежал с письмом Фрейда ко мне – а к кому еще он мог с таким письмом прибежать? Вряд ли к жене!

Я его не ожидала – у нас на этот день ничего не было на-

значено. Я недавно вернулась из университета и только успела снять юбку с блузкой и накинуть на плечи халатик, как он вошел ко мне внезапно, даже не постучав. Кто-то из жильцов как раз выходил, когда он подошел к двери, и впустил его, ни о чем не спрашивая – в нашей квартире все знали, что он мой лечащий врач.

Он плотно закрыл за собой дверь и протянул мне письмо Фрейда почти с упреком: «Прочти этот абзац. Это о тебе». – «Обо мне?» - не поняла я, но пробежав глазами по неровным строчкам, больше уже ни о чем не спрашивала. Он подошел ко мне совсем близко, распахнул мой халатик и сказал очень тихо: «Я больше не могу, ты сводишь меня с ума». У него были необыкновенно нежные руки, за одни только руки можно было любить его всю жизнь.

Так началась наша настоящая любовь. То, что было до этого дня, было только ее прелюдией, предвосхищением. Он и тогда часто посещал меня и мы подолгу говорили о важном для нас обоих, задавая вопросы и нащупывая решения. Он и тогда говорил, что у него никогда не было собеседника лучше меня. Но мы позволяли себе ласкать друг друга только взглядами, только глазами, тщательно избегая прикосновений, словно понимали таящуюся за ними бездну. Но оказалось, что по-настоящему мы глубины этой бездны даже представить себе не могли. С той роковой минуты мы оба словно с цепи сорвались.

Он стал приходить ко мне почти каждый день, как только мог вырваться из водоворота своих обязанностей – от лекций, от лаборатории, от семьи, от пациентов. Я старалась как можно реже уходить из дому, чтобы не пропустить его прихода. Я ходила в университет только, когда знала наверняка, что у него лекция или обход в клинике. Постепенно он стал брать меня с собой в клинику на обходы – я говорила с больными и потом обсуждала с ним возможные диагнозы и способы лечения.

Мы словно стали неразлучны: когда его не было рядом, я думала только о нем, и он говорил о себе то же самое. Я так упивалась настоящим, что вовсе не думала о будущем. Я вообще не думала о многом, о чем бы мне следовало думать. Я одевалась небрежно, в старые, еще привезенные с собой из Ростова платья и блузки, а волосы просто заплетала в косу, чтобы они не мешали. А была я девушка не бедная – любящие родители каждый месяц присылали мне 300 франков, чего с лихвой хватало на все мои потребности.

И вот однажды я решила пойти в театр – я знала точно, что он в этот вечер ко мне не придет, потому что они с женой идут на тот же спектакль. Я специально пришла раньше и из глубины зала следила, как они вошли рука об руку и двинулись между рядами в поисках своих мест. Вид жены юнги меня просто потряс. Она и вообще-то была женщина миловидная, но в тот вечер она выглядела просто красавицей, все у нее было продуманно элегантно – платье, пояс, шляпа, прическа. В антракте я помчалась в туалет, чтобы посмотреть на себя в зеркало, и ужаснулась – я выглядела Золушкой-замарашкой, только что закончившей топить печку.

Обратно в зрительный зал я не вернулась из опасения встретиться с ними в таком виде – как будто я уже почти два года не болталась по Цюриху именно в таком виде. Привычно анализируя свое пренебрежение женственным убранством, я заключила, что это был мой способ противостояния маме, помешанной на ожерельях, шубках и шляпках. А раз так, я быстро поняла, каким способом я должна с этим комплексом бороться.

Рано утром, рискуя пропустить визит юнги, я выскочила из дому и помчалась по модным магазинам. Начавши с платья, я с удовольствием обнаружила, что хоть я и небольшого роста, но фигура у меня стройная и бедра красиво округляются вниз от тонкой талии. Ведь надо же, я об этом почему-то раньше не задумывалась, я ценила в себе ум, интеллигентность и богатую фантазию. Я выбрала два очаровательных платья, достойных дочери моей модницы-мамы, белое и темно-голубое, и отправила их домой с посыльным – деньги у меня, слава Богу, были, я никогда не тратила все свои триста ежемесячных франков.

Всласть нагулявшись по обувным и шляпным магазинам, я опять отправила покупки с посыльным, а сама вместо университета пошла в парикмахерскую. Я испытывала при этом незнакомое мне удовольствие – от касания скользящих тканей, от запаха кожи, от разнообразия идущих мне шляп. И мне стала понятна безудержная страсть моей матери к сводящим отца с ума покупкам. В парикмахерской мне тоже очень понравилось – подумать только, небрежно заплетая волосы в косу, я ни разу за два года не была в парикмахерской!

Парикмахер долго перебирал мои спутанные кудри, восхищаясь их густотой и шелковистой фактурой, и в конце концов создал на моей голове небольшой элегантный шедевр. «Главное, - изрек он, - ничего лишнего. Ваше личико само украсит лю-

бую прическу».

Придя домой, я обнаружила, что юнга заходил и, не застав меня, оставил короткую записку: «Я вчера купил новую яхту. Приходи завтра к двум часам на пристань – я хочу ее опробовать с тобой». На завтра я опять не пошла на лекции, и все утро потратила на примерку и выбор туалета для катанья на новой яхте. Недаром я назвала своего друга юнгой, в нем и вправду жило что-то матросское – он был помешан на скольжении яхт по зеркальной глади озера.

На пристань я пришла без четверти два, сама себя не узнавая в изысканном темно-голубом платье и в шляпе из крахмаленного кружева в тон платью, красиво оттеняющей мою новую прическу. Я встала у перил недалеко от входа, но так, чтобы не бросаться в глаза. Юнга, как обычно, пришел ровно в два и стал нетерпеливо оглядывать толпу на пристани в поисках меня. Его взгляд несколько раз скользнул по мне, не останавливаясь, и через пару минут я заметила, что он начал нервничать – он терпеть не мог мою российскую неточность.

Тогда я подошла поближе и окликнула его. Он обернулся и уставился на меня, не узнавая. Я сказала тихо: «Юнга, это я». Он вдруг понял, что элегантная дама в кружевной шляпе – действительно я, и захохотал. «Я ведь тебя давно заметил и подумал, какая красивая девушка, но мне и в голову не пришло, что это ты».- «Значит, ты никогда не считал меня красивой девушкой?» Хитрый юнга немедленно нашел правильный ответ: «Красивые девушки – для того, чтобы ими любоваться, а не для того, чтобы их любить».

Он подхватил меня под руку и хотел повести к яхте, но я заупрямилась: «Какая разница между любоваться и любить?» Он и тут нашелся, он был большой мастер словесного фехтования: «Любоваться – это для всех, а любить – это только для себя». После этих слов мне ничего не оставалось, как пойти за ним к яхте. Должна признаться, что мои изящные голубые туфельки на высоких каблуках мало подходили для такой прогулки, но я мужественно – нет женственно – выдержала это испытание, и со стесненным сердцем вошла по трапу на палубу.

«Ну, как тебе моя красавица?» - с любовью оглядывая яхту спросил юнга. «Я должна любоваться или любить?» - сдержила я, хотя в глубине души я эту яхту возненавидела с первого взгляда. Ведь ясно, что купить такое сокровище юнга мог купить только на деньги жены, а никак не на свою профессорскую зарплату.

К счастью, он уже меня не слушал – он всей душой погрузился в управление своим скольльзящим по воде чудом. Ветер попытался сорвать с меня шляпу, так что я поспешила ее снять и спрятать в сумку.

«А что мы будем делать с остальным одежками?» - спросил юнга, направляя яхту к пустынному берегу. «В каком смысле?» - не сообразила я. «Понимаешь, я нашел здесь одну заросшую кустами бухточку, где мы могли бы пришвартоваться и спрятаться от чужих глаз». Яхта скользнула в маленькую бухту и действительно спряталась в зарослях. Я сбросила туфли и стала решительно расстегивать пуговицы и крючки: «Если тебе так не нравится мой новый наряд, я могу выбросить его в озеро», - объявила я, стягивая с себя платье, но юнга остановил мою занесенную над водой руку: «Если очень хочешь, можешь выбросить, но только тебе придется возвращаться с пристани домой в костюме Евы».

Представив себе такую картину, я просто отбросила платье в угол и тут же о нем забыла в объятиях своего друга. Это был дивный день, солнечный и тихий, мы никуда не спешили и могли позволить себе наслаждаться друг другом без опасений и спешки. И вдруг, когда мы лежали блаженно расслабленные после долгой прекрасной любви, он сказал с отчаянием: «Ты создана для меня – ты дышишь, как мне нужно, ты пахнешь, как мне нужно, ты думаешь, как мне нужно. Но у нашей любви нет никакого будущего, мы никогда, никогда не будем вместе».

Он увидел, что я поражена его словами, и тут же смягчил их шуткой: «А твою замечательную прическу мы совершенно испортили, придется опять заплести косу». Я заплела косу и мы тронулись в обратный путь. Солнце уже почти село и все озеро было затянуто прозрачной пленкой голубого тумана. Теперь, глядя назад сквозь все эти годы, я думаю, что это был наш самый лучший день.

С этого дня начались мелкие, почти незаметные перемены, которые в конце концов привели к крушению нашей любви. В марте этого года случилось замечательное, казалось бы, событие – юнга съездил в Вену, чтобы встретиться с Зигмундом Фрейдом. Поехал он, конечно, со своей женой Эммой, а не со мной, что было вполне естественно и все же очень обидно. Ведь именно я, а не Эмма была его постоянным собеседником на темы психоанализа, я была судьей и критиком его работ и идей, а иногда даже источником и вдохновителем некоторых мыслей.

Венская встреча прошла очень удачно – два гения психологии на первой стадии поняли и полюбили друг друга. И если у юнги и было какое-то небольшое внутреннее сопротивление, великий старец Фрейд бросился в пучину этой любви очертя голову. В первый день они проговорили без перерыва тринадцать часов, закончив беседу в два часа ночи и договорившись встретиться назавтра для продолжения.

Фрейд был в восторге от ума и молодости юнги, от богатства его идей и от четкой манеры их выражения. Вдобавок, его восхищало, что юнга не еврей, потому что психоанализ в ту пору называли бредовой еврейской выдумкой. Фрейда даже не смутило собственное толкование сна юнги в ночь после их первой встречи: он заключил, что молодой коллега жаждет сбросить его с трона, чтобы занять его место. В ответ он назначил юнгу своим сыном и наследником, к великому неудовольствию фрейдовского психологического семинара, каждый из членов которого сам мысленно претендовал на это место.

Юнг вернулся в Цюрих преображенным – признание Фрейда окрылило его и обеспечило его новым время-пожирающим занятием – постоянной перепиской с великим шефом. Теперь ему стало труднее вырывать из житейской суеты короткие минуты для наших встреч: Фрейд писал ему пространные письма почти каждый день и требовал немедленного и тоже пространный ответа. Если юнга задерживался с ответом хотя бы на один день, великий мэтр устраивал невообразимый скандал, так что запугал бедного юнгу досмерти.

Однажды юнга признался мне, что столь бурная любовь вселивает в него мистический ужас – когда-то в детстве он подвергся сексуальной атаке со стороны человека, которого уважал и почитал своим учителем. А кроме того, есть еще одна причина, мешающая ему ответить на любовь Фрейда столь же страстной любовью.

Сказавши это, он сам испугался своих слов и стал озираться по сторонам, словно опасаясь, что кто-то его услышит. Опасения его были сверх-смешными: мы лежали, обнявшись, в моей кровати, дверь была заперта, квартира пуста. Успокоившись, он рассказал мне шепотом (все-таки шепотом!), что в Вене в лаборатории Фрейда его неожиданно отозвала в сторону младшая сестра Марты Фрейд, Минна Бернес, которая жила в квартире Фрейдов, помогая Марте управляться с ее бесчисленными детьми.

Юнга знал, что жена Фрейда совершенно не в курсе его работы, тогда как красивая и интеллигентная Минна Бернес состоит при нем главным советчиком и секретарем, упорядочивая его архив и перечитывая и правя его статьи. И все-таки ее слова поразили его в самое сердце – она призналась, что она любовница мужа своей сестры, и тот страшно страдает от своей неверности. Она хотела, чтобы юнга провел с ней психоаналитический сеанс для успокоения ее совести. Он провел с ней сеанс, но с тех пор стал тоже страдать оттого, что знает такую стыдную тайну великого профессора Фрейда, и ничего ему об этом не говорит.

«А почему ты должен что-то ему говорить? Разве это твое дело?» - «Но мы с ним делимся мельчайшими деталями нашей внутренней жизни, мы в каждом письме рассказываем друг другу наши интимнейшие сны, а такое важное нарушение морали я боюсь даже упомянуть!» - «А обо мне ты тоже ему рассказываешь?» - «Конечно, нет!» - «Почему же он должен рассказывать тебе о Минне?» - «Ты не понимаешь разницы? То, что у него с Минной – это инцест! К тому же она живет в его доме!»

Ты наверно хочешь спросить, что такое инцест. Инцест – это интимные отношения между близкими родственниками, в число которых включается и сестра жены. Я не стала с ним спорить, я поняла, что о Минне Бернес со мной говорит не мой любимый друг, а незнакомый и даже несимпатичный мне сын реформистского пастора, навеки застрявший в его подсознании. А с обитателем подсознания спорить бесполезно – он все равно не понял бы доводов разума. И хоть я не стала ему противоречить, где-то глубоко между нами пролегла первая, пока крохотная, трещинка.

Следующая трещинка, уже побольше и побольнее, случилась чуть позже, в конце сентября, после того, как юнга выступил на амстердамском конгрессе по современным теориям истерии с докладом, полностью согласованным с фрейдовской теорией детских сексуальных комплексов. Его выступление на конгрессе было неудачным во всех отношениях: неправильно рассчитав время доклада, он нарушил регламент и не согласился сойти с трибуны, когда председатель его прервал.

Аудитория и без того была настроена враждебно к слишком оригинальным построениям Фрейда, а юнга оказался их главным защитником. Как ни смешно это звучит сегодня, слова эротика и либидо считались запрещенными в среде психиатров, так что бедного юнгу разве что не пбили в наказание за слишком смелое их употребление. И с безумным усердием начали раз-

бирать по косточкам приведенный им случай истерии, где он выступал как лечащий врач.

Он не назвал имени своей пациентки, страдавшей в детстве всеми названными им комплексами, но каждому, знакомому с его практикой, было ясно, что речь идет обо мне. Я просто онемела, когда этот доклад дошел до меня. Было указано, что пациентка-истеричка приехала из России, а кроме меня, другой пациентки из России у него не было, и главное, он приукрасил свой замечательный результат, сильно преувеличив ужасный набор болезненных симптомов пациентки, что было чистой ложью. Самое ужасное, что, как я уже говорила, мой случай стал хрестоматийным, то есть, общеизвестным. Когда я шла по университетским коридорам, мне казалось, что все показывают на меня пальцем и рассказывают друг другу о том, как я в детстве какала на персидский ковер.

Я знала, что подобный случай у него уже был. Прежде, чем написать свою диссертацию об оккультизме, он два года посещал оккультный кружок, в котором медиумом выступала его пятнадцатилетняя племянница Беттина. В диссертации он доказал, что медиум в состоянии транса ведет себя так же, как его душевнобольные пациенты. Хоть он и не назвал имени медиума, кто-то опознал Беттину, и жизнь ее в маленьком городке стала невыносимой: на нее показывали пальцем и мальчишки дразнили ее на улице. Ее бедные родители вынуждены были продать дом и переехать в другое место, где их никто не знал.

Удивительно, что эта печальная история ничему его не научила – он был слишком занят собой, чтобы думать о других. Конечно, мне следовало бы с ним тогда расстаться, а еще лучше – открыв ему секрет моего притворства, посмеяться над его хвастовством. Нет, еще лучше – нужно было рассказать об этом не ему, а всему психиатрическому миру. Как бы такой рассказ порадовал его завистников-коллег! У меня даже было вначале побуждение это сделать, но я представила себе жизнь без юнги, и испугалась. Я не могла от него отказаться – лучше бы мне было умереть. Я его не простила, его поступок был непростительным. Однако я сцепила зубы и перешагнула через свою обиду.

Но главная трещина образовалась к зиме, когда в Цюрихской опере поставили серию Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Я не пропустила ни одного спектакля. Сюжет оперы – очень запутанная народная сказка, в которой выступают не люди, а мифические герои. В конце оперы главный герой – прекрасный,

не знающий страха юноша Зигфрид гибнет, чтобы спасти свою возлюбленную Брунгильду, а Брунгильда гибнет, пытаясь спасти Зигфрида. Меня страшно взволновала идея оперы – стремление спасти любимого ценой собственной жизни. Кроме того меня поразило совершенно новое музыкальное решение, очень напоминающее принцип психоанализа, когда тема каждого героя постепенным лейтмотивом выползает из общего хора, как комплекс из подсознания.

Окрыленная своими открытиями, я наутро помчалась к юнге, хоть у нас никакой договоренности о встрече не было. Он сидел у себя в кабинете за столом и что-то писал. Задышавшись от волнения я рассказала ему свои соображения о музыке Вагнера. «Боже мой, именно это я сейчас написал!» - воскликнул он, указывая на исписанный лист на столе. Я была вне себя от восторга: «Ты видишь, как совпадают наши мысли! Нам нужно работать вместе, и мы создадим нечто великое и небывалое. Это будет наше дитя, наш арийско-еврейский Зигфрид!»

Лицо юнга вдруг потемнело и стало мрачным, глаза потухли и он сказал мне сухо: «Ты ворвалась в мой кабинет без договоренности, чтобы обсудить возможность родить от меня ребенка? Ты выбрала для этого совершенно неподходящее время и место». Я потеряла дар речи – о каком ребенке он говорит? Мне только внебрачного ребенка не доставало! Я высказала романтическую идею о наших совместных научных достижениях, которые могли родиться от сочетания его арийского рационализма с моей еврейской изобретательностью, а он понял меня буквально! Или не захотел со мной работать и притворился, что понял меня буквально?

С тех пор наши отношения резко изменились: мы стали видеться реже и реже, он больше не приходил ко мне как любовник, а принимал меня в кабинете только как психолог пациентку. А через пару лет, когда я вступила в переписку с Зигмундом Фрейдом, тот рассказал мне, что юнга жаловался ему на пациентку из России, которая со скандалом требовала, чтобы он зачал с ней ребенка.

Во время наших психоаналитических сессий он непрерывно мусолил тему ребенка-Зигфрида, пытаясь выудить из моего подсознания именно этот замысел, и раздражался от моего сопротивления. Теперь мне иногда кажется, что он испугался соавторства со мной, он испугался моего темперамента и моей еврейской интенсивности, с которой не мог совладать, и предпо-

чел более простой путь - перевод моего желания работать с ним вместе на сексуальные рельсы.

Это была уже не трещина, а полный раскол, крушение, конец света. Мне так не доставало нашей любви, но еще больше я тосковала по нашим дивным совместным беседам, когда от каждого слова замечательные идеи высекались, как искры из кремня.

Я так тосковала по моей работе в его лаборатории, по его лекциям об искусстве, адресованным лично мне. Он объяснил мне, как открытие подсознания устранило все претензии к аморальности искусства – искусство, рожденное подсознанием, не знает ни морали, ни добра и зла, поскольку оно не контролируется разумом.

В такие моменты я чувствовала себя птицей, парящей в облаках. Теперь же, обделенная и брошенная, я превратилась в жалкого червя, бессмысленно ползающего среди объедков современной жизни. Мы уже не говорили ни об искусстве, ни о бессознательном - все разговоры, не имеющие отношения к сексуальному комплексу, юнга называл пустой болтовней. Я понимала, что он в страшном напряжении оттого, что старается подавить свою любовь ко мне, но мне от этого было не легче. Моя любовь уже не приносила мне радости, она стала источником постоянных страданий.

Несмотря на постоянное отчаяние, я продолжала учиться в университете и ходить на лекции. Мне предстояло сдать несколько сложных экзаменов, но, слава Богу, отчаяние не отбило у меня память. Сдавши успешно один экзамен, я пришла к юнгу на очередной сеанс психоанализа, и рассказала ему о своей победе над трудным материалом. Он и ухом не повел – не поднимая головы от каких-то бумаг, он сухо поздравил меня с успехом, словно ему до меня не было никакого дела.

И тогда я приняла мучительное решение: мы должны прекратить наши психоаналитические сеансы, я не могу позволить равнодушному человеку копаться в моей душе в поисках несуществующих комплексов. Принявши такое мудрое решение, я отправилась на очередной сеанс, считая его прощальным. И случилось чудо: меня встретил совсем другой человек. Он весь светился от радости – ему открылась истина: не стоит подавлять свои чувства, не нужно бороться со своим влечением ко мне, моногамия только вредит человеческой жизни и он ее отвергает. Он даже пробормотал, что его жена согласна на любовь втроем.

Я не стала думать о жене юнги, я ухватилась за счастливую возможность вернуть его любовь. И напрасно! Юнга опять начал приходить ко мне так часто, как только мог, и я обнимала его, забывши свои недавние страдания. Но жена, как видно, не дремала. Через какое-то время по Цюриху стали ходить слухи, будто доктор Юнг собирается бросить жену и жениться на своей пациентке. Я часто думала о том, кто бы мог пустить по городу такие слухи – ведь ни одна живая душа не знала о нашем романе. А она, скорей всего, знала, раз говорила, что согласна на любовь втроем.

Вряд ли она действительно была согласна, скорей под прикрытием согласия была готова бороться. Что ж, пустить такой слух было с ее стороны очень остроумно. Это могло страшно испугать юнгу: роман с пациенткой всерьез угрожал его карьере и репутации. Тем более подозрительно, что в то же время моя мама получила анонимное письмо из Цюриха, написанное на хорошем немецком языке. Незнакомый доброжелатель предупреждал маму, что ее дочери грозит страшная опасность из-за ее романа с доктором Юнгом.

Я не сомневаюсь, что это письмо на хорошем немецком написала жена юнги. Теперь, глядя назад сквозь толщу лет, я хорошо понимаю, как ей трудно было вынести, что ее мужа, красивого, талантливого, обаятельного, окружает рой влюбленных в него молодых пациенток. Помню, как-то, возвращаясь из университета, я встретила свою подружку Эстер, нарядную и светящуюся от радости. «Куда ты, такая нарядная?» - спросила я. «У меня сеанс психоанализа с доктором Юнгом, - ответила она и добавила, потупив глаза, - мне кажется, он ко мне равнодушен». Мне стоило большого труда не расхохотаться, потому что на вечер у меня было назначено с ним свидание. Но когда она убежала, трепеща от предчувствия встречи, я подумала, а не случайно ли она воображает, что он к ней равнодушен.

Ясно, что прочтя письмо неведомого доброжелателя, бедная мама совсем потеряла голову. Она сразу поверила заботливому доброжелателю, потому что я по детской наивности сама часто писала ей о своей любви, и в некоторых письмах радостно повторяла: «Я счастлива! Мой друг меня любит!» Почему бы ей было не поверить в опасность, исходящую от доктора Юнга, если она сама непрерывно меня об этой опасности предупреждала?

За год до этой катастрофы, в разгар нашей любви, мои родители потребовали, чтобы я приехала их проведать. Мне очень

не хотелось тащиться по бесконечным железнодорожным путям в далекий Ростов, но я вынуждена была подчиниться. В Ростове мне было невыносимо – я опять попала в нервно-напряженную атмосферу моей семейки, да и вообще, не говоря уже о разлуке с моим возлюбленным, жизнь в России не шла ни в какое сравнение с жизнью в Швейцарии. Юнга тоже тяжело переживал нашу разлуку и писал мне почти каждый день.

Я не выдержала российской тоски, и, несмотря на жалобные стоны мамы и папы, потерявших надежду на то, что я останусь у них, до намеченного срока сбежала обратно в Цюрих. Последнее письмо юнга пришло уже после моего отъезда, и мама, ничтоже сумняшеся, его распечатала и прочла. Я так и не узнала, что там было написано, но маму оно привело в ужас. Вслед мне полетело полное рыданий мамино письмо, в котором она умоляла меня немедленно прервать всякие отношения с юнгой.

Так что предупреждение доброжелателя упало на благодатную почву. Не теряя времени и не жалея денег, мама стремглав помчалась в Цюрих. Помчаться стремглав из Ростова в Цюрих можно было только в мечтах, а в реальности пыльные поезда медленно тащились по рельсам, долго стояли на станциях и часто опаздывали. Маме нужно было пересекать границы и мучительно долго ждать поездов на пересадках, но ничто не могло ее остановить – она ведь ехала меня спасать!

Боже, как она мне навредила! Я не стану пересказывать всех подробностей ее ужасного конфликта с юнгой, скажу только, что в результате он резко и оскорбительно порвал со мной, как тогда казалось – навсегда. Маму даже нельзя обвинять – ведь именно этого она и хотела. А я? Кто подумал обо мне?

Через несколько дней после того, как мы расстались навсегда, я решила пойти на его лекцию в университете. Я не вошла в аудиторию, а осталась стоять в дверях. Я, конечно, ни слова не слышала из того, что он говорил, и вдруг он замолк, словно захлебнулся словами. Это длилось недолго, всего несколько секунд, но я поняла, что он меня увидел. Я повернулась и протянув вперед руки, словно слепая, наощупь вышла в коридор. Удивительно, что я не умерла от горя прямо там же, на пороге аудитории.

Удивительно, что юнга тоже не умер от горя. Но он резко переменил всю свою жизнь. Он скоропалительно подал в клинику прошение об отставке и переехал из Цюриха в соседний городок, где незадолго до нашей драмы построил для своей семьи заго-

родный дом с причалом для яхт. Юнга, сын простого пастора, не мог бы позволить себе роскошь уйти в отставку, как не мог бы позволить себе роскошь этого дома с причалом, если бы не деньги его богатой жены Эммы. Мне стало обидно, что он пожертвовал нашей великой любовью ради практических соображений, и я решила его наказать.

Я могла бы вытащить на свет шутовскую историю своего умелого притворства и странно быстрого излечения, но побоялась, что накажу и себя, если после такого признания никто не захочет иметь со мной дела. И тогда меня осенило - ведь у меня в руках есть ключ к сердцу моего потерянного возлюбленного: его преклонение перед великим идолом Зигмундом Фрейдом. После недолгих колебаний я написала Фрейду письмо с просьбой об аудиенции – я была готова поехать в Вену, чтобы рассказать ему подробности моей трагической любви и ее ужасной развязки.

Как я поняла потом, Фрейд обратился к юнге с вопросом, кто я такая и чего могу от него хотеть, сообщив, что я прошу его о свидании. Юнга быстро смекнув, что я собираюсь говорить с Фрейдом о нашей любви, охарактеризовал меня самым неприглядным образом. Я, дескать, с самого начала пыталась его соблазнить, а он не поддавался, но пять лет занимался мной после того, как меня выписали из клиники, исключительно из сострадания. Он не покидал меня бескорыстно, понимая, что я опять скачусь в бездну истерии, если он меня бросит.

А кроме того, сообщил он, я была его первым случаем исцеления с помощью психоанализа, и он не мог допустить возвращения моей болезни. И тут он признался, что я та самая пациентка из России, чей случай стал хрестоматийным. Я узнала об этом гораздо позже, когда моя переписка с Фрейдом стала почти регулярной, а переписка юнга с ним стала прерывистой и недружелюбной. Но тогда Фрейд в ответном письме мне твердо стал на сторону юнга и начал уговаривать меня смириться и отступить.

А на случай, если я не соглашусь смириться, они приготовились объявить меня душевнобольной, помешанной на эротическом влечении к своему врачу. Я узнала об этом от Фрейда спустя несколько месяцев, когда его отношения с юнгой начали стремительно портиться. Это тоже была трагическая история, может быть, даже более трагическая, чем мой разрыв с юнгой. Не знаю, сыграла ли в этой драме роль моя жалоба на Юнга, или намеки Юнга на роман Фрейда с Минной Бернес, но примерно в

то же время два столпа психоанализа начали медленно отдаляться друг от друга.

Первый, казалось бы мелкий, инцидент случился на борту парохода, на котором оба они в компании с еще одним членом их группы направлялись на конгресс в Америку. За обедом Юнг выпил стакан вина и начал с увлечением рассказывать о каких-то зловонных мумиях в саванах, найденных в бельгийских болотах. Фрейд отодвинул тарелку и тихо попросил Юнга прекратить этот рассказ, но Юнг, возбужденный вином и темой, а может и из злорадства, не прекращал. Тогда Фрейд снова попросил его остановиться, но Юнг продолжал, словно не слышал просьбы. И тут Фрейд закатил глаза под веки, потерял сознание и упал со стула.

Отношения юнга с Фрейдом стали с тех пор портиться, и тут подоспела я со своими письмами. Я иногда думаю, что я сыграла в их разрыве роковую роль. Конечно, разрыв этот произошел не из-за меня, а из-за борьбы амбиций, когда психоанализ из маленькой затеи венских евреев начал превращаться в мировую организацию и захватывать новые круги медицинского сообщества. Как только организация выросла, она стала колотиться на группы, в которых незначительная разница идей превращала людей в значительных претендентов на первое место.

Поначалу юнга был счастлив, что Фрейд назвал его своим сыном и наследником. А через несколько лет он уже не хотел быть сыном, а претендовал на титул отца. И Фрейд, необычайно чуткий к своему престижу, распознал это стремление в снах юнга, которые тот ему регулярно описывал в своих письмах. А кроме того, юнгу стала раздражать роль почти единственного арийца в этой затее венских евреев, и швейцарский Цюрих начал подкапываться под еврейскую Вену. Каким-то странным образом это противостояние совпало с моей настойчивой идеей создания Зигфрида – нашего арийско-семитского плода, который даст человечеству небывалый толчок к новым высотам.

Намеренно неправильно истолковав мою идею, юнга пожаловался Фрейду, что наш разрыв произошел оттого, что я жаждла родить от него ребенка, чего он не мог себе позволить. Можно подумать, что я могла себе это позволить! К тому времени любовь Фрейда к юнге уже сильно поостыла, и он, основываясь на моих письмах, обвинил юнга во лжи. Не найдя способа выкрутиться, юнга признался, что дьявол всегда находит способ превратить лучшие побуждения в грех.

Казалось, на этом вся история могла бы закончиться, но я,

обиженная несправедливым упреком юнги по поводу ребенка, написала Фрейду о намерении юнги выступить против него с новой идеей. Идея юнги, частично направленная против меня, состояла в том, что подсознание личности несет в себе не только ее детские эротические представления, но содержит еще исторический опыт всего ее племени. И таким образом, по Юнгу, еврейское подсознание отличается от арийского.

Узнав об этом замысле, Фрейд пришел в ярость. Это было время, когда озарившая его идея подсознания подвергалась жестоким атакам его противников, и одним из главных их аргументов было обвинение в еврейском характере всего его учения. Теперь даже трудно себе представить, что бывали минуты, когда вся идея психоанализа казалась обреченной.

(Окончание следует)

Александр Танков

ИЗ ЦИКЛА “ПЛЯСКИ СМЕРТИ”

*Збися див, кличет верху древа
("Слово о полку")*

ПЛЯСКА НИЩИХ

*Тусклой люстрой трехрожковой
Светит небо надо мной.
Я стою у подростковой
Пирожковой на Сенной.
Пахнет серым, сырým небом,
Тем, чего не избежим –
Жалкой пайкой, черствым хлебом,
Пахнет временем чужим.
Это запах новой жизни,
Это запах старой лжи...
По отчаянной отчизне
Панихиду отслужи.
Сумасшедшая шарманка,
Подоплека бытия,
Наркоманка, нимфоманка,
Подколодная змея!
Слезла с неба позолота,
Кожу сбросили дома.
Допетровское болото,
Вьюга, музыка, чума.
Воротник бобровый спорот.
Обветшал багровый город,
Город – призрак, город – мрак...
У него, наверно, рак.
Он стоит, как старый нищий,
Тянет лодочку руки,
И царапают о днище
Пальцы цепкие реки.*

ЯБЛОЧКО. МАТРОССКИЙ ТАНЕЦ

Это – вьюга, это – крест.
Это – Луга, это – Брест.
Это – церковь понарошку
Превратили в домкомбед.
Это – дворник нашу кошку
Приготовил на обед.
Бесконечная зима
Сводит запросто с ума.
Если утром на Разъезжей
Ты увидишь след медвежий –
Значит, все еще январь.
Сурик, жмурик, киноварь.
Повтори, как ту таблицу,
Что учили в первом «Б»
Черно-белую столицу
С папиросой на губе.
Матросня утюжит клешем
Разухабистый бульвар.
Если хочешь о хорошем –
Рублик, бублик, самовар.
Если хочешь о плохом –
Кукарекай петухом.
Вот дымят печные трубы.
Не подняв тяжелых век,
В подворотне скалит зубы
Крысovolкочеловек.
Он вернулся с Мировой
Хуже язвы моровой.
- Дай погреться у костра,
Изувеченный!
Отоварился с утра
Человечиной.
Вот Венера, вот Луна.
Вот фанера, вот стена.
Холод, голод, черный ход.
Всех нас выведут в расход.
Будет каждому по вере.
Это – люди, это – звери.
Снизу – хляби, сверху – твердь.
Слева – правда, справа – смерть.

БЕЛОЕ ТАНГО

*Когда мы шли через Сиваш,
И берег черный
Кидался под ноги – я ваш
Слуга покорный! –
Цеплялся, голося – Я друг! –
За край шинели,
И звезды падали вокруг
Крупней шрапнели.
Когда ворочался январь
В протоке узкой,
Читала выюга нам словарь
Советско-русский.
Но шло учение не впрок
Степному скифу,
Сполна платившему оброк
Сыпному тифу.
Поземка мерзлую звезду
На хлеб меняла...
Так в девятнадцатом году
Земля линяла.*

ПОЛОВЕЦКАЯ ПЛЯСКА

*Степная сыпь, сыпная степь,
Огни в ночной степи.
Земля посажена на цепь –
И сорвалась с цепи.
Земля посажена в острог –
И выломала дверь.
И вышиб дно, и вышел в срок
Тысяченогий зверь.
Где завивал телеграфист
Кудрявые стишки –
Расстрельный лист, разбойный свист,
Кровавые тиски.
Где повторяли три сестры
Свое «В Москву, в Москву» -
Горят махновские костры,
Белеет смерть во рву.
Где пропивали стыд и честь*

Чумные города –
Несет на копьях смерть и месть
Чингизова орда.
Теплушки лузгают зарю.
Написано давно
Письмо советскому царю
От Нестора Махно:
Ты – смерть и плен, ты – сушь и ложь,
Ты – злая вошь Кремля,
Я – острый нож, живая рожь,
Я – мать-сыра земля.
Ты зажимал страну в тиски,
Я – жил и воевал,
Крестьянской ярости ростки
Я кровью поливал...

Среди кровавого жнивья,
И выжженных лесов
Ползет железная змея,
Поет железная змея
На триста голосов.
Еврей в простреленном пальто
Идет по головам...
Не понимает он – за что
Такая власть словам?
Зачем о прошлом говорить?
Мелодия стара.
Зачем пытаться прикурить
От мертвого костра?
Затем, что катится страна
По прежней колее,
Сыпного страха семена,
Канкан на солее.
И полдень сер, и вечер хмур,
И кровью пьян восход.
И скоро выцветший гламур
Отправится в расход.
Где скалит воровской общак
Улыбку в сто карат,
Там Гзаку говорит Кончак:
Пора за дело, брат!

*И отвечает брату Гзак:
Большой нас ждет улов!
И меч остер, и автозак
На тысячу голов.
Засеем смертью те поля,
Что не понять умом...
О, где ты, русская земля?
Ты скрылась за холмом.
В ветвях деревьев кличет див,
Кричит глухой совой,
И едет раненый комдив
С поникшей головой.
Он был в аду, он был в раю,
Он в сердце носит ад,
Он задержался на краю
И песню страшную свою
Поет на новый лад.*

ЛУКОВЫЙ МЁД

Дом престарелых «До 120!» стоял на опушке цветущего лукового поля, на окраине белого города Кирыят-Парпар, в зелёной ложбинке – как раз на том месте, где Каин убил Авеля. В ясную погоду из Кирыят-Парпара можно было разглядеть небооружённым глазом небоскрёбы Тель-Авива, а ясная погода держится в наших краях почти круглый год. Лишь изредка, куда реже, чем хотелось бы, набегают невесты откуда зимние тучки и поливают иссушенную солнцем землю экономно, как из лейки. На смену зиме, не спрашивая разрешения у горожан, приходит лето, а там и осенние праздники на пороге. И прокручивается год, год за годом, – то ли потому что Земля крутится вокруг Солнца, то ли по какой другой веской причине. Жители города Кирыят-Парпар, ни при какой погоде не дотягивающие покамест до 120 лет, охотно посещают русскую столовку «Жар-птица», марокканский буфет «Марракеш» и опасливо обходят стороной эфиопский киоск «Царица Савская», где тебе вместо борща и хумуса предложат запечённого в баобабах листьях летающего грызуна и нацедят в пластмассовый стаканчик безалкогольной бурды, способствующей, якобы, соблюдению заповеди «плодитесь и размножайтесь». На белых городских улицах обыватели лузгают подсолнухи и покуривают наргиле, из окон квартир и автомобилей доносятся песни Высоцкого и Офры Хазы; город лениво существует – ни Европа, ни Азия, а так, сам по себе.

В конце прошлого века высокая волна эмиграции русских евреев в Израиль – этих, по утверждению одного учёного профессора из тель-авивского университета, то ли хазар, то ли вообще татаро-монголов – задела золотым гребешком и Кирыят-Парпар. Приезжих было много – миллион, а работы мало. Рома Розенсон, бывший ленинградец и мастер велоспорта, не стал вешать нос на плечо, а поступил, долго не думая, на работу в богадельню «До 120!» на второй этаж, ночным медбратом. Почему медбратом, если Рома совсем ещё недавно гонялся на велосипеде по треку и при всём желании не мог мазь от замазки отличить? А потому что Роме просто повезло, удача ему привалила: в бога-

дельне освободилась ставка, а в ночные медбратья не каждый-то и побежит. Можно было бы, конечно, нанять араба, но помощь новым репатриантам – почётный долг каждого израильтянина; вот Рому Розенсона и взяли.

И то – на велосипеде ему, что ли, оставалось ездить? На Святой земле езда на велосипеде дело сугубо личное: купи велосипед и едь, пока его не украли. А мастерский диплом можешь хоть к стене прибить, хоть на лоб приклеить: до трековых гонок мы пока ещё не дотягиваем, у нас других забот полон рот.

С велосипедом, значит, тут всё ясно, за велосипедную езду хоть по треку, хоть как, никто гроша ломаного не даст. А вот со вторым этажом богадельни как раз наоборот. Там тоже на двух больших колёсах ездят, но на особый лад. На первом этаже ходят на своих ногах, с перебоями, но ходят, опираясь двумя руками на рогатый ходунок. У ходунка, как у зебры, четыре надёжных ноги – на две передние надеты, вместо копыт, колёсики размером с чайное блюдце, зато задние обуты, как в чуни, в надрезанные теннисные мячики для беспрепятственного скольжения по вымощенному полированной плиткой полу. Обитатели первого этажа, цепко взявшись за рога ходунка, толкают его вперёд и, семеня нестойкими ногами, преодолевают пространство. Одна убогая старушка сразу после завтрака впрягается в свой ходунок и пускается в путь – от столовой по коридору к чёрному ходу, ведущему в богаделенский садик. Добравшись до дверного проёма, старушка поднимает к потолку крупное одухотворённое лицо и возносит молитву: «Благословен ты, Боже, за то, что привёл меня сюда сегодня и сейчас». Вознеся молитву, старушка поворачивается вместе со своим ходунком на 180 градусов и пускается в обратный путь по коридору. Осилив путь до столовой, она делает остановку, вздымает лицо и произносит молитву: «Благословен ты, Боже, за то, что привёл меня сюда сегодня и сейчас...» Помолившись, она разворачивается и пускается в обратный путь к чёрному ходу. Так она путешествует до самого обеда, без перерыва на отдых, творя благодарственную молитву в точке разворота... Не знаю как вы, а я испытываю к ней уважение за её жизненную твёрдость.

Но оставим в покое богомолку. Ей не отведена существенная роль в этой истории, пусть себе ходит по коридору из конца в конец. Да она мало чем и отличается от других обитательниц первого, «ходячего» этажа, почти целиком заселённого женщинами; старики здесь – большая редкость, их можно перечесть

по пальцам одной руки. Почему так сложилось – вопрос, занимавший многих вдумчивых наблюдателей; ни один из них не получил на него исчерпывающего ответа ни от бывалых служащих богадельни «До 120!», ни от самих её обитателей, включая колясочников со второго этажа, где, в отличие от первого, абсолютное большинство составляли представители некогда сильного пола, а женщины встречались редко, как бабочки на снегу.

Так или иначе, после недолгого делового разговора с директором заведения в его кабинете на первом этаже, Рома Розенсон был радушно принят и на втором: в служебном помещении, своего рода каптёрке, его угостили растворимым кофе и сухим сахарным печеньем.

Угощали Романа две то ли сестры-сиделки, то ли няни-помойки – Лара и Зина; ему было всё равно, на какой они тут числились должности. Обе приехали из России три года назад, обе были рады новому человеку – «своему». Зина выглядела лет на тридцать, не больше – голубоглазая стройная брюнетка на высоких ногах, знающая себе цену. Лара – та была постарше, за пятьдесят, много пережившая, ещё больше видевшая. Говоря без умолку о выставленном ею за порог пьянице-муже, о новом сердечном друге и о своей кручёной жизни, она перемежала бегущую речь легко лжившимся в строку матерком и подливала кофе, подкладывала печенье. А Зина сидела молча, только отрывисто поглядывала на Рому – давно и высоко оценив себя, привычно оценивала теперь симпатичного плечистого новичка.

В нешироком проёме приоткрытой двери каптёрки Рома видел, как по коридору, точно такому же, как и внизу, на первом этаже, ездили инвалиды в своих колясках. Они ездили уверенно и искусно, делая неожиданные повороты и обгоняя друг друга. Они двигались тесно, словно бы роясь. На людей в белых медицинских халатах, изредка возникающих то здесь, то там в их движущейся массе и возвышающихся над нею, они поглядывали со скрытым интересом, как на рыбаков рыбы из воды. Колясочники за стеной каптёрки являлись как бы существами иной формации, попавшие сюда, на второй этаж богадельни «До 120!», с другой планеты и почему-то здесь поселившиеся.

-А эти... - Рома Розенсон кивнул на дверь, - они, вообще-то, как? Смирные?

-Ну, как... - Лара пожала крепкими плечами. – Днём они ездят, в домино играют. А ночью спят. Можно сказать, что смирные.

-Куда они ездят-то? – спросил Рома.

-Да куда! – сказала Лара. – Куда им ездить? Тут вот, по коридору.

-А на улицу? – спросил Рома.

- Да как они поедут! – удивилась такому вопросу Лара. – По лестнице они не могут, там же ступеньки, а ключа от лифта, - она вынула из кармана халата ключик на шнурке и показала Роме Розенсону, - у них, конечно, нет.

- А они хотят? – Рома взглянул на Зину, сидевшую молча. – Вниз?

- Мы не спрашиваем, - сказала Зина.

- А нижние, с первого, - продолжал расспрашивать Рома, - здесь, что ли, не показываются?

- Они же ходячие, - объяснила Зина. – Им сюда зачем?

- Но если, например, ноги у кого отнимутся, - добавила Лара, - тех могут сюда перевести, к нам. Были такие случаи.

- У наших тут всё есть, на втором, - сказала Зина скучным голосом. Ей надоел этот разговор, за чашкой кофе ей хотелось поговорить на другую тему: кем работал Роман в России и из какого города он приехал в Израиль – может, выяснится, что они земляки.

- Всё есть абсолютно! - подтвердила Лара. – И питание хорошее, и уход суточный. Мы им пелёнки поменяем и уложим на ночь, а ты уже потом смотри, если кто вызовет звонком.

- А сколько их всего? – спросил Рома, соображая, что может послужить причиной ночного вызова.

- Всего тридцать девять, - дала справку Зина, как будто подвела черту и с размаху поставила печать.

-Тридцать восемь! – уточнила Лара. – Ночью же умер один, из восьмой палаты.

И вот тут-то через открытое окно в комнату влетела пчела.

Не возьмусь утверждать, что за все тридцать два года жизни Романа Розенсона пчёлы оказали на него какое-либо влияние. Он, разумеется, сталкивался время от времени, как каждый из нас, с этими насекомыми – где-нибудь в парке или в лесу. Но осмысленно, со знанием дела отличить пчелу от осы он бы не сумел. Да ведь, правду говоря, редко кто это и умеет в нашем урбанистическом мире, кроме пчеловодов, обладающих таким умением в силу своей профессии, да угрюмых дикарей, кормящихся собирательством где-нибудь в непролазных джунглях Папуа и Новой Гвинеи.

В отличие от назойливой, но безвредной мухи пчела облада-

ет боевыми качествами: может ни с того ни с сего напасть на прохожего человека и ужалить. Набрасывались пчёлы и на Рому, он отмахивался и отбивался, но безуспешно: раз пять, а то и десять был атакован. Он не смог бы припомнить, где и при каких обстоятельствах случились эти нападения, да такая памятьливость ничего бы и не прибавила: цапнула сволочь, и всё тут. Опасливо глядя на пчелу с её жалом и ядом, летящую своей дорогой, Рома Розенсон даже на окраине сознания не выстраивал связь между нею и мёдом, которого был большой любитель. Мёдом медленно текущим в Святой земле, янтарно светящимся в стеклянных банках, на магазинных полках.

- Пчела, – насторожённо следя за полётом насекомого, сказал Роман. – Дай-ка я её газеткой пришлѐпну!

- Не надо! – предостерегла красивая Зина. – Другие сразу налетят, всех искусают.

- Случались уже такие случаи? – озабоченно подивился Роман Розенсон. – Чтоб всех подряд перекусали? Это сколько же их должно сюда поналететь...

- Тут пасека рядом, – дала объяснение Зина. – Их там тучи, просто тучи. В суд уже подавали – не помогает.

- Потому что судья – аферист, – рассудила Лара. – Тут, всё же, не лес, а дом престарелых. А пчёлы эти летают и летают. Это же опасно, особенно для пожилых людей! Не успеешь оглянуться, а они до смерти загрызут.

- Арабы тоже опасно, – сказал Роман. – И для пожилых, и для любых. И живут они рядом, им даже пасека не нужна. Во-он минарет торчит!

- Правда, – согласилась с такой оценкой действительности красивая Зина, а Лара привела возражение:

- Арабы хоть люди, от них любой вред можно ждать. А эти, – она укоризненно взглянула на гудящую над столом пчелу, – тьфу!

- Ты поосторожней, – предостерегла товарку Зина, – а то Петрик на тебя снова телегу накатает.

Зазвенел звонок к ужину, и колясочники, шелестя резиновыми шинами, ринулись по коридору к столовой. Роман не успел спросить, кто таков этот Петрик и, подымаясь из-за стола вслед за женщинами, подумал: «Наверно, левак какой-нибудь. За арабов заступается».

После ужина наступил черѐд ночи и сна. Сѐстры уложили колясочников в койки и разошлись по домам. Старшая сестра сидела в дежурке, там пел и шутил телевизор. Она сидела на вы-

сокой табуретке как капитан на своём мостике, посреди ночного моря, пустынного на первый взгляд и обманчиво спокойного. На вопрос Романа Розенсона, чем ему следует заняться в первую очередь, она лишь пожала плечами: инвалидная команда спит, что тут поделывать. Эта сестра не склонна была к задушевному разговору, и Роман, собравшийся было поделиться с нею своими знаниями о трековых гонках на велосипеде, молча выскользнул из дежурки в коридор. Там было пусто, хоть шаром покати, из открытых дверей палат доносились стоны и храп.

Южная ночь, эта чёрная красавица прилегла на Святую землю, опустила тьма с небес на богадельню «До 120!» и скрыла её от чужих глаз. Да и что на неё глядеть! Ночью добрые люди спят – и ходячие, и колясочники, и медперсонал, и звери в поле спят на свой лад: шакалы, и суслы, да и неустанные пчёлы на своей луковой пасеке. Только тать в ночи не спит, шастает тут кругом в поисках наживы.

Темень наступила. Где-то что-то такое читал Рома Розенсон про темень, подступающую к нашим отечественным краям – здорово было написано, очень живо, и вот запало в голову: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла... исчезли висячие мосты... опустила с неба бездна и залила... базары, караван-сарай, переулки...» Это про нас, про нас: ведь отсюда можно до Средиземного моря на гоночном велике доехать за пятнадцать минут. Там было ещё интересно про какого-то чудака и как Иисуса Христа казнили.

Присев к регистрационному столику около лифта и уложив голову на согнутую в локте руку, Рома задремал. Ему снились бегущие по коридору богадельни криворогие антилопы-гну, он таких видел по телевизору, по каналу «National Geographic».

Посреди ночи затренькал звонок, заморгала красная лампочка на стеклянной, в золотой рамке панели вызовов: кто-то дёргал за шнурок в палате номер семь. Роман поднял голову от столешницы, выпрямился на стуле и, с удивлением сообразив, где он, быстренько зашагал на вызов по коридору, очистившемуся от антилоп-гну без следа.

Вызывал старик, мутно различимый в темноте четырёхместной палаты. Койка старика стояла у окна, жёлтый месяц и молочки звёздных путей были словно размазаны по чёрному стеклу. Приподнявшись на руках над подушкой, старик что-то говорил, твердил на непонятном наречье, из которого Роман Розенсон не различил ни слова. Видя искреннее непонимание Романа, ста-

рик вздохнул и по-русски произнёс отчётливо:

- Никак не засну. Таблетку дай.

Рома сбегал к дежурной сестре за снотворным, отнёс таблетку старику под окном и дал ему запить. Бессонный старик что-то невнятно пробормотал, подобрал сильные руки и бревном рухнул на подушку, так что кровать заходила ходуном на своих четырёх железных ногах. А Рома вернулся к хлипкому столику под доской вызовов, возле лифта, поёрзал головой по столешнице и, подложив под щёку регистрационный журнал, заснул сном праведника, кои ещё встречаются иногда на Святой земле, робко пасутся на её пажитях наряду с нечестивцами.

- Петрик из второй палаты, конечно, на весь этаж самый боевой, - сказала Лара, натягивая прорезиненный оранжевый фартук на медицинский халат. – Пчёлы – это у него задвиг такой, а так он знаешь какой учёный? И по истории всё знает, и по географии, и по чему только хочешь... Ахмед, поросёнок, опаздывает!

Дневная смена в богадельне «До120!» заступила в шесть утра, а медбрат Ахмед опаздывал. Подъём и мытьё колясочников под душем, таким образом, задерживалось до прихода араба. Роман мог идти, но спешить ему в такую рань было некуда. Он, честно говоря, ждал появления красивой Зины – поделиться с ней впечатлениями о первой рабочей ночи. Но Зина взяла на сегодня отгул – поехала в Крайот, на родину Иуды, чтобы пообщаться там с дальними родственниками, недавно прибывшими на ПМЖ из Кривого Рога.

На допотопном «Фиате» приехал Ахмед, и вместе с Ларой, в четыре руки, они споро перемыли своих стариков. Минут пятнадцать Рома Розенсон наблюдал, для общего развития, за их работой, а потом сел в автобус и поехал домой отсыпаться.

Дни, в очередь с ночами, то ли катились, то ли перекатывались с боку на бок, а время оставалось неподвижным для обитателей богадельни «До 120!». Петрик потянул шнурок экстренного вызова перед рассветом, в пятом часу утра. На улице было темным-темно, и не только наступление светлого дня, но и само его существование казалось сомнительным для всякого разумного человека.

- Ахмед? – спросил Петрик, когда Роман Розенсон проявился в чуть подсвеченном из коридора проёме двери.

- Роман, - сказал Рома, входя. – Ахмед – дневной, а я ночной.

Новенький, первую неделю только работаю... На что жалуетесь?

- Ни на что, - сказал Петрик. - На что можно жаловаться?

- Вызывали? - терпеливо уточнил Роман Розенсон.

- Вызывал. - Он выговаривал «л» мягко и округло, с польским акцентом. - Садитесь вот сюда... Угостите болеутоляющим?

- Голова болит? - сказал Роман, присаживаясь на краешек койки. - Может, от погоды?

- А что там может болеть, в голове? - требовательно спросил Петрик. - Мозг выше боли, это факт. Тогда что - кость?

- Ну, не знаю... - сказал Роман Розенсон. - А таблеточку - пожалуйста: у меня болеутоляющее и снотворное всегда в кармане.

- У меня кости ноют, - сказал Петрик, проглотив таблетку. - А голова, молодой человек, болит оттого, что думает. Кто не думает, у того не болит... Вот, например, Настрадамус.

- А? - спросил Роман. Делать ему было нечего, а Петрик интересно говорил. Даже непохоже, что левак.

- Ты не слыхал про Настрадамуса? - приподнявшись на подушке, жёстко спросил Петрик.

- Как не слыхал! - с жаром отвёл подозрение Рома. - Я слыхал! - Он, действительно, кое-что знал о провидце - смотрел о нём фильм по ТВ и даже читал статейку в «Google». Рома Розенсон, хотя и привык смотреть на мир с высоты велосипедного седла, любил интересные вещи и помимо велосипеда.

- Ну, хорошо, - отступил Петрик. - Допустим... Так вот, Настрадамус подсчитал, что конец света наступит 21 декабря 2012 года. Астрономически подсчитал! Р-раз - и всё!

- Как - всё? - с недоверием переспросил Рома. - Совсем, что ли?

- Индейцы майя, про которых ты, наверно, тоже слыхал, - продолжал Петрик, - а Настрадамус про них не то что не слыхал, но даже не подозревал об их существовании - эти индейцы пришли к тому же выводу: конец света произойдёт через два года, 21 декабря. Всё...

- Ну, это мы ещё посмотрим, - не стал унывать Роман Розенсон.

- Первые признаки уже видны, - сказал Петрик и покачал головой.

- Льды, что ли, тают? - проявил знание Рома.

- Мимо... - сказал Петрик. - Пчёлы улетают.

- Куда они улетают? - удивился Рома Розенсон. - Вон, не-

давно совсем, на прошлой неделе, в дежурку одна залетела.

- Заблудилась, - озабоченно предположил Петрик. – Перепутала что-нибудь.

- Да чего она перепутала! – усомнился Роман. – Летела-летела, потом глядит – окно...

- А в окне, - иронически усмехнулся Петрик, - ты, дундук, сидишь. Она и обрадовалась... Так, что ли?

- Ну, не знаю, - сказал Роман без обиды. – Может, и так.

- Тут нечего и знать, - жёстко сказал Петрик. – Пчела поумней нас с тобой будет, ей здесь делать нечего... «Залетела»!

- А правда, что вы жалобу написали на сестру, когда она пчелу пришибла?

- Написал, - признал Петрик. – Пчёл нельзя убивать.

- Так они ж кусаются! – возмутился Роман.

- А ты, что ли, не кусаешься? – возразил Петрик. – Тогда тебя тоже надо пришибить.

- Ну, я, предположим, не кусаюсь, - сказал Роман в темноте комнаты. – Я ж не собака.

- Ты кусаешь хлеб, мясо, - гнул своё Петрик. – У тебя кусательный аппарат развит на все сто. И при этом совсем не обязательно кусать меня или вон его, - Петрик кивком головы указал на соседа, храпевшего на своей койке у противоположной стены. – Но, если припечёт, ты и человека цапнешь за милую душу.

- Цапну, - согласился Роман. – Но только за руку и, во-вторых, не до смерти. А пчёлы до смерти могут загрызть, я точно знаю.

- За руку, говоришь, - проворчал Петрик. – Это потому что за горло не получится ухватить.

Сосед напротив застонал во сне и зачмокал губами, как будто погонял лошадь. За распахнутой дверью палаты коридор, тускло освещённый ночными светильниками, был пуст, как шахтный штрек.

- Ну, что, меньше болит? – спросил Роман. – Кости?

- Нет пока, - сказал Петрик. – Эти таблетки одна химия, их надо запретить давно.

- Массаж лучше всего помогает, - сказал Роман. – Я сколько раз травмировался, связки рвал, боли страшные – и вот именно массаж просто спасал.

Петрик не проявил интереса к тому, по какой причине Роман Розенсон связки рвал; прошлое медбрата, как видно, ничуть его не занимало.

- На массаж у нас тут очередь какая, - угрюмо заметил Пе-

трик, - сам знаешь.

- Я могу отмассировать, - предложил Рома. – У меня опыт.

- Давай попробуем, - ворчливо согласился Петрик. – А то сил уже нет терпеть.

- Начнём с плечевого пояса и пойдём ниже, - засучивая рукава, объявил Роман. – Ложитесь на живот.

Движениями пальцев мягкими и в то же время сильными, бороздящими Роман обтекал тело старика, его давно утратившие упругость мышцы. Вниз, ещё раз от головы вниз, как будто отслаивая от костей боль и стряхивая её, отбрасывая прочь в темноту ночи. Старик лежал смирно, трудно дыша.

- Ты говоришь, пчёлы жалят, - внятно произнёс Петрик. – Ну да. Эти ужаленные избранные. Отмечены печатью.

- Я, значит, тоже отмечен? – удивился Роман Розенсон. – Меня же ведь кусали.

- Жалили, не кусали, - терпеливо поправил Петрик. – Я тебе объясню. Люди просто не понимают. Пчёлы из другого мира, из сопредельного.

- А как же мёд? – нажимая сильнее, спросил Роман.

- А что мёд? – сказал Петрик. – Мёд – нектар божий. Если б не мёд, первые люди с голоду бы погибли, и земля осталась пустой. Бортники – знаешь?

Про бортников Рома Розенсон ничего не знал.

- Ну, бортники, - объяснил Петрик. – Они дикий мёд собирали по колодам, по дуплам... Вот здесь, вот здесь посильней!

Роман поднажал, ему стало жарко. Продолжая массировать, он плечом утёр пот со лба.

Жарко было и Петрику – то ли жарко, то ли холодно.

- Ужаленные и избранные, - сказал Петрик, - переживут День Конца и перейдут в сопредельный мир. Два года ещё осталось...

Напрягая сильные гибкие пальцы, привычные намертво сжимать велосипедный руль, Роман продолжал водить руками вдоль тела пчелиного старика. «Так, вроде, нормальный, - нависая над Петриком, размышлял и раздумывал Роман Розенсон, - а крыша у него, всё же, набекрень. Пчёлы...»

«Пчёлы... - глядя как бы со стороны на богадельню «До 120!», на свою койку на втором этаже у окна и на себя в этой койке, раздумывал и размышлял Петрик. Он не ощущал уже ни своего увечного тела, ни проникающих, отслаивающих жизнь от смерти пальцев Романа Розенсона, ни присутствия самого Ромы,

продолжавшего, кажется, что-то говорить и спрашивать. – Пчёлы...» - Оглядываясь назад, Петрик видел на зелёном горизонте островерхий шатёр, сложенный из жердей и покрытый ветвями с овальными, размером с ладонь глянцевыми листьями. Шатёр становился всё ближе, выглядел всё отчётливей. Петрик, волнуясь, приготовился увидеть в нём или около него своих давно умерших родных – отца с матерью, сестру. Он увидел гребца с мускулистым, открытым солнечному ветру торсом, в долблённом челне, скользящем по реке к берегу и шатру, и со счастливым смирением признал в нём самого себя. Лодка скользила по тёмной воде, как по маслу, тишина мира казалась, а, может, и в действительности была музыкой.

Подойдя к берегу впритык, гребец выпрыгнул из лодки и легко зашагал к шатру, и Петрик вдруг вспомнил дивную летучесть стремительной походки. Высокие кусты куртинами обступали тропу, по которой он шёл. Тёплая земля пружинила под его ногами. У входа в шатёр хлопотала у костерка, разведённого в булыжном ложе, молодая женщина – готовила еду. К спине женщины был привязан, наподобие рюкзака, младенец. У самого костра сильный гребец бросил на камни связку серебристых рыб, нанизанных на пропущенную через жаберные щели лубяную верёвку и ещё трепыхающихся. Затем он опустился на землю и свободно растянулся, удовлетворённо оглядывая свой дом, мать с младенцем и розовый костерок, ластящийся к ногам, как собака. И Петрик вглядывался в картину глазами вольного гребца, и ему было отрадно, что эта молодуха родила ему сына, что дом его – полная чаша: река кормит рыбой, пчёлы – мёдом. Что ноги легко носят, и нет нужды в кресле на колёсах. Что жизнь проста, как таблица умножения, и никто не пристаёт с дурацкими пожеланиями дотянуть до 120. Петрику хотелось завести разговор о пчёлах и разведать, где они тут поселились – в дупле или же в колоде, - да он не успел: из-за реки, а, может, из лесных зарослей донеслось упреждающее «Давай сирену, а то не довезём!», и ревун «скорой помощи» пинком вытеснил все другие звуки мира и залил отрадную картину густой тьмой.

- Живой, живой! – опустив телефонную трубку на рычаг, сообщила красивая Зина. – Откачали его.

- Ну, это просто зашибись! – заметила прямодушная Лара и обернулась к Роману Розенсону, угрюмо сутулившемуся на стуле. – И кто тебя только просил ему массаж делать, когда он еле

живой и на тело, и на голову.

- Он сам просил, - сказал Рома. – А то бы я не стал.

Давно рассвело, время шло к завтраку, а ночная смена всё не расходилась: судьба Петрика была почему-то небезразлична медперсоналу второго этажа богадельни «До 120!»

- Ты его затёр почти до смерти, - сказала Лара. – И это ему повезло, что «скорую» сразу вызвали. А есть ещё такие, которые жалуются, что медицина у нас плохая.

- Сколько его там продержат? – спросил Рома. – В больнице?

- Долго держать не станут, - сказала красивая Зина со знанием дела. – Каждый день влетает в тысячу баксов или даже больше, если анализы. А ты как думал!

- Да никак я не думал, - оправдался Роман Розенсон. – Не он же сам платит, а казна.

- Раз очухался, - заключила красивая Зина, - так его, скорей всего, после обеда уже выпишут. Обход пройдёт, документы оформят...

- Тогда я домой не поеду, - сказал Рома. – Подожду, пока его привезут. А то, всё же, неудобно...

Но везти Петрика обратно на «скорой» оказалось накладно, богаделенский врач не хотел вводить администрацию в расходы. Вот тут-то Роман и предложил свои услуги: доставить больного из госпиталя до самого места в инвалидном кресле, пешочком. Здесь недалеко, вполне можно управиться. И полезно: Петрик по дороге свежим воздухом подышит, продует лёгкие после гериатрической больницы.

Путь туда, с порожним креслом на велосипедных колёсах, Рома засёк по часам; получилось двадцать пять минут. Значит, обратный ход займёт полчаса, от силы минут сорок. Пока выпишут документы, то да сё – ну, час. Обернёмся до темноты.

Ждать не пришлось: документы были уже готовы. В больнице никто не удивился, что выписанного Петрика Выгодского, с постоянным местом жительства в доме престарелых «До 120!» пришёл забирать медбрат с креслом. Пришёл – значит, так и надо: скатертью дорога, полотенцем путь. Петрик был задумчив, тих. «Какой-то он вялый, - подумал Роман. – Как видно, рано его выписали, надо было хоть до завтра ещё подержать». И спросил, чтобы начать разговор:

- Вам анализы все сделали?

- Сделали, наверно, - сказал Петрик. – Я не спрашивал.

- Вы ночью взяли и сразу отключились, - с упрёком сказал

Роман Розенсон. – Я слышу – дыхание идёт, но слабое.

- А я такое видел, Рома, - не поворачивая головы, сказал Петрик. – Такое раз в жизни видят... - И замолчал.

- Ну, что? – поторопил Роман и, поскольку Петрик продолжал молчать, уточнил вопрос: - Видели – что?

- Реку, - неохотно сказал Петрик. – И двор.

- Река – большая? – продолжал спрашивать Роман Розенсон.

- Довольно большая, - прикинул Петрик.

- Как, например, Нева? – спросил Рома.

- Примерно, - сказал Петрик. – Не гони так, куда спешишь!..

- Значит, это не у нас, - проявил Роман знание географии. – У нас самая большая – Иордан, её курица перескочит.

На улицах было многолюдно, народ возвращался с работы по домам. Лавируя между прохожими, Роман толкал кресло, стараясь не накренять его на поворотах и не вывернуть седока под ноги пешеходам. До богадельни оставалось пройти три жилых квартала, потом – пересечь шоссе и обогнуть широкое луковое поле, окружённое зарослями красных, белых и жёлтых бугенвиллий.

- Нет, не Нева, - сказал Петрик. – Нева холодная, а та, моя – тёплая.

Через шоссе переправились без помех, по «зебре». Водители предупредительно тормозили, увидев инвалида в кресле-каталке, с сопровождающим.

- Где ж она, всё-таки, могла течь? – призадумался Роман Розенсон. – Вот что интересно...

- Всё там было, - с тоскою в голосе сказал Петрик. – Рыбы, пчёлы. Так хорошо... А я не успел досмотреть.

На поле со стороны шоссе вела тропинка, проложенная сквозь высокие заросли кустов, густо украшенных цветами – красными, белыми и жёлтыми. Красных бугенвиллий, более сильных, было больше, чем жёлтых и белых. Перед кустами и тропинкой, ведущей в заросли, вплотную к ним – так, чтоб его можно было увидеть с дороги – был прикреплён к двум шестам рекламный щит. Этот щит опирался тыльной стороной, спиной о цветущие кусты, как бы открывая перед проезжими и прохожими вид через окно, ведущее в иные края. Мускулистый дикарь со своей дикаркой был изображён там рукой наивного умельца, крытый листьями островерхий шатёр и синяя река с причаленной к берегу лодкой. В ясном небе застыла в полёте занимавшая добрую

треть картины пчела с золотыми усиками, туго опоясанная чёрным лакированным пояском. Красочное изображение венчала удостоверяющая надпись, выполненная чёткими библейскими буквами: «Пасека «Луковый мёд». Подарочная упаковка, низкие цены».

Петрик вцепился в колёса своего кресла, и Роман послушно остановился.

- Мне сюда, - сказал Петрик. – Это здесь.

- Так магазин же вон по той дороге, - указал пальцем Роман Розенсон. – Ещё с полкилометра до него, вот тут и планчик нарисовали.

- Нет-нет! – твёрдо возразил Петрик. – Ты не знаешь. Я ночью не успел досмотреть!

- Там пчёлы летают, - озабоченно заметил Рома. – А если нападут?

- А ты не ходи, - сказал Петрик. – Я сам поеду и сразу вернусь. – И направил кресло на велосипедных колёсах к щиту, к тропинке, ведущей в кусты и на луковое поле за теми кустами.

Роман Розенсон остался и праздно стоял. Минут через десять он озабочился: подступали сумерки, надо было ехать дальше, а на тропе никто не появлялся, и с поля не долетало ни единого звука. Рома решительно вздохнул и ступил на тропу.

Кресло-каталку на краю поля, на фоне закатных кустов, не просто было увидеть. Роман разглядел Петрика, сидевшего в кресле совершенно неподвижно; пчелиный рой стоял над ним, как чёрный дым над трубой.

Об этой истории много писали в газетах. Рому Розенсона никто ни в чём не винил – несчастный случай, что ж тут поделать! Возвращаясь с похорон в богадельню «До 120!», Роман ломал голову над тем, что же такое успел досмотреть покойный Петрик на луковом поле. И на завтра – ломал.

И через неделю.

И через год.

Александр Перчиков

*Концерт окончен. Партитура
Закрыта. Тени на стене.
Нам билетер кивает хмуро -
Мы - уходящая натура,
Мы сон, приснившийся во сне.*

*Нас с каждым годом в этих залах
Все меньше. Новый господин
Устал от обликов усталых,
И от мерцающих седин.*

*За нами – прошлые столетья,
Но смотрит Время мимо нас.
Еще остались междометья,
Но потерялся смысл фраз.*

*Мы на земле обетованной -
Небес исполненный каприз -
Живем меж адом и нирваной,
Как на качелях – вверх и вниз.*

*Мы – тень, мы аббревиатура,
Мы день вчерашний без прикрас.
Прощай, великая культура,
Мы – уходящая натура,
И все же – помните о нас.*

*Листая электронные страницы,
В сообществе невидимых друзей,
Пересечем привычные границы
Без ожидания и очередей.*

Империя ночного интернета,
Взрывной коктейль иллюзии и слов,
Где виртуальный луч иного света -
Обманный дар , явившийся из снов

Он оживляет прежние надежды,
Холодный дух, бессмертный как Кащей,
Срывает оболочки и одежды,
И обнажает плоть и суть вещей.

Приписаны к пространствам параллельным,
Две жизни проживаем, как одну,
Влетаем мы то к высям запредельным,
То в адскую ныряем глубину.

Там все возможно, смерть и воскресенье,
Но я вернусь, забросив все дела,
Устав от фальши, в поисках спасенья,
В тот прежний мир, где ты со мной была.

А так хотелось быть, а не казаться,
В рассветный час руки твоей касаться
И окунаться в облако волос,
И чтоб спросили утром – Как спалось ? -
Закрывать глаза и в детстве оказаться.

И так хотелось жить не по науке,
А впитывая запахи и звуки,
И смыслов расплетая кружева,
Когда уже не верится в слова –
Лишь в то , что говорят глаза и руки.

Давай не будем подводить итоги –
Еще не все проверены дороги ,
Еще не все умчались поезда
В тот час , когда вечерняя звезда
Как поздний гость , застыла на пороге.

От воздуха пьянящего хмелея ,

*Мы сделаемся проще и смелее ,
Душою ощущая , что не зря
Учились жить , о прошлом не жалея,
Как озеро. Как темная аллея.
Как снегири на фоне января.*

*Качался дождь в ветвях, как обезьяна,
Висел на проводах, стучался в дом,
И мир был совершенен, без изъяна,
Так чист и свеж, что верилось с трудом.*

*И не хотелось ни борьбы, ни спора,
Лишь только б дождь за окнами стучал,
Лишь только б звук, нет, отзвук разговора
Иной судьбы начало означал.*

*Мне нравится его повадка лисья –
Как старый маг, рожденный из воды,
Он тронет кистью фонари и листья,
И в ночь уйдет, и смоем все следы.*

*Он нам сквозь сон протягивает руку,
Лишь мы и дождь на свете – ну и пусть.*

*Я расставаний горькую науку
Давно учу, как рифмы. Наизусть.*

*Случилось так, что мы теперь вдали
От странной, от родившей нас земли,
Которую нам выпало оставить,
Которую забыть мы не смогли.*

*Иной пейзаж сегодня за окном,
Но было что-то в воздухе речном ,
Настоянном на запахах, на травах,
На позабытых Богом переправах,*

*Снах наяву, и яви, ставшей сном.
Как в птичьих перелетах есть загадка,
Так в наших судьбах свой секрет сокрыт.
Проходит все. Но, боже мой, как сладко
Звук русской речи губы холодит...*

*Мы уезжали навсегда,
Как в ночь с откоса.
Нам вслед Полярная звезда
Светила косо.*

*Как птички стаи, стороной,
Сквозь бесконечность,
Мы над поверхностью земной
Скользили в вечность.*

*Кто нам рукой махнет в ответ,
Кто нас осудит...
Пройдет не так уж много лет,
И нас не будет.*

*Но между двух далеких звезд,
Потерь, признаний,
Мы золотой построим мост
Воспоминаний.*

Дине Рубиной
“Синдром Петрушки”

*А он – старинная игрушка
С потертой краской на щеке,
Пустяк, безделица, Петрушка
У Кукольника в руке.*

*Он прошлого не выбирает,
Ему что будет – невдомек,
Его судьбой Судьба играет,
В печи мешая уголек.*

*В его стране – в ее квартире,
Где книги выстроились в ряд,
Где Мастер жив, он – штрих в пунктире,
Но рукописи не горят...*

**“Самара детства моего.
Полно киосков с газировкой”.**
Борис Свойский

**Самара детства моего.
Полно киосков с газировкой.**
*Там за трамвайной остановкой -
Театр. Площадь. Штаб ПРИВО.*

*Синеет Волги полоса.
Из сада Струковского – тени,
Под ними – лестницы ступени,
Над ними – птичьи голоса.*

*Самара, детская страна,
В вагоне старого трамвая
К тебе я еду, вспоминая
Забытых улиц имена.*

*Пух тополиный, волжский плес,
Тот дом, где детство обитает -
Все в дымке времени, все тает
Под шум дождя. Под стук колес.*

*И я прошу – не уходи,
Останься запахом и цветом,
Речной прохладой, знойным летом,
Птенцом, согретым на груди.*

*Там жив отец. Там ярок свет.
Там мама юная с обновкой,
Полно киосков с газировкой,
И жизнь идет. И смерти нет.*

ЧЕТВЕРТОЕ ОТКРОВЕНИЕ

... И это притом, что я никогда не любил поездов. Они неизменно наводили на меня тоску угрюмой безучастностью натруженного железа, терпким казенным запахом пепельных простыней, скованностью в крохотном пространстве, загустевшем от дыхания незнакомых людей. Унылое постукивание колес, плывущие за окном картины, неуютное молчание, бестелесные разговоры только усиливают во мне ощущение неприкаянности, отстраненности от протекающего снаружи невозмутимого полнокровного времени.

А тут мне захотелось задержаться, посмотреть еще раз на опустевшее купе и подумать что-нибудь глубокомысленное, типа: как легко, одним прикосновением, реальная жизнь обращает грандиозные замыслы в забавные цитаты из пожелтевшей провинциальной газеты (никогда не отказывал себе в удовольствии полюбоваться красотой своих мыслей). Я вышел из вагона последним, задумчиво постоял на подножке и только потом ступил на опустевший перрон. У входа в здание вокзала не выдержал, обернулся и с благодарностью посмотрел на локомотив, упершийся в тупик осоловелыми глазами.

Утренний город дышал хрустальным воздухом взрослеющей весны, сквозь прозрачное небо на высохшие тротуары стекало помолодевшее солнце, останки снега в угреватой старческой сыпи истлевали на обочинах. Среди всего этого я шел, плыл, парил, упиваясь переполнявшим меня неизъяснимым вкусом свежееобретенной свободы. А ведь еще вчера (как же это было возможно?) я не замечал этой незатейливой здоровой красоты. В голове моей, как в арифмометре хрустели, жужжали, скрипели идеи, казавшиеся судьбоносными, и вдруг, словно неискушенная детская рука нечаянно чуть сильнее повернула заводной ключик, и вся эта механика лопнула и разлетелась по сторонам бесполезными пружинками, винтиками, крючочками, оставив лишь пустую коробку с пасторальными картинками снаружи и бодрящим сквозняком внутри.

Потому что ни с чем несравнимое облегчение сейчас, когда мне уже почти шестьдесят, понять, что все это было наваждением, игривой приманкой Лукавого! Жаль, конечно, этой зимы, потраченной впустую, усилий, вложенных в никчемные интеллектуальные потуги, но этот хмельной аромат свободы, кажется, окупает все.

Да, именно так, это было в самом начале зимы, помню, выглянул в окно – падал первый снег, – и я нисколько не сомневался, что это знак свыше.

Потому что я повсюду различал знаки свыше.

Потому что задолго до этой зимы одно утреннее пробуждение моей юности, (одно из тех, в которых последние тающие штрихи сна легким взмахом очерчивают застывшее меж двух миров мгновение, и в нем, как фигуры на фотобумаге вдруг проявляется ясная, убедительная, захватывающая все твоё нутро идея), одно памятное пробуждение наполнило меня уверенностью, что мне назначено совершить нечто неимоверно значительное, духовное, такое, которое остановит, откроет людям глаза и перевернет их мировоззрение.

Господь помиловал – избавил...

Это сейчас, а тогда... Тогда, с того самого утра, я носил в себе тайну, невысказанную тайну, которую сначала нужно было сформулировать, а потом претворить в жизнь.

Правда, вслед за этим возникли некоторые технические трудности. Проторенный путь, в самых разнообразных вариантах исхоженный лихими голливудскими супергероями был явно не по мне. При моем хрупком телосложении и природной, мягко говоря, робости, рассматривать умелые стальные мускулы, непобедимые кулаки и стремительные револьверы в качестве средств исправления мира было бы, по меньшей мере, безответственно, если не сказать бесперспективно.

Мое оружие – интеллект, воинствующий дух и то, что всегда под рукой – слово. Я не искал слова, они находились сами, у меня всегда были склонности к изысканному словесному самовыражению. Нужно было только немного потрудиться, зарифмовать их. Для большей доходчивости. Подыскивать рифмы – это несложно, хотя и утомительно.

Как же там у меня было? Сейчас, сейчас... Та-та, та-та... та-та-та, ну, в общем, про рассвет, который своей багровостью ударяет и «срывает ночные маски». Да, а в конце:

*Вот так бы и люди шагали,
Грудью толкая праведность,
Вот так бы на зло плевали,
Если б не трусость и скаредность!*

- Ёб твою мать! – воскликнул мой тогдашний приятель, слизывая усы пивной пены. В то время он в основном составлял мою постоянную аудиторию. – Крепко сказано! Очень правильные стихи! Трусость – она любое дело испоганит, а скаредность – вообще гнусная, отвратительная пакость. Но я тебе так скажу: больше всего меня раздражает, что одним – всё, а другим, как ни горбчатся – хер на палочке. Ты об этом напиши. Есть такие люди, вот взять, к примеру, вашего брата, еврея... Я не тебя имею ввиду, ты же свой...

- Ты пойми, вдумайся! – говорил я ему...

- А как же! – отвечал он мне...

Со временем оказалось, что стихи, при всем моем даровании, не приносят устойчивого результата. Проблема в том, что их можно было понимать и так и этак, а объяснять каждому, что заключено в той или иной метафоре, просто невозможно. Кроме того, на удивление немалую роль играли узкоэтнические приоритеты. Потому что, причем здесь евреи? Я же подразумеваю в общечеловеческом масштабе!

Тогда я решил писать картины. В живописном искусстве нет национальности, ее не надо напрягаться-читать, интерпретировать – все видно сразу. Смотрите и проникайтесь тем, как все ужасно, жестоко, негармонично. Пусть это вас ошарашит, напугает и, главное, заставит задуматься.

Потому что, остановитесь и посмотрите: несчастный горбун забился в угол, а за его уродством скрывается неоценимое душевное богатство, которого никто, кроме меня не замечает. Невинная девочка держит трепетный, нежный, как она сама, цветок, а к ней уже тянет порочные руки прожженный гнилой извращенец. Худенький мальчик со скрипочкой (ну, может быть, в какой-то степени я), и хлопыя снега, и свеча в далеком окне, и одиночество, и обнаженная женщина (это такой символ) плывет в холодных облаках.

- Способности у тебя вообще-то есть, – сказал знакомый художник, просмотрев мои работы. Я такую специальную папку склеил с ручками, чтобы можно было носить показывать. – Только неплохо было бы изучить анатомию, рисунок опять же, да и

тон какой-то грязноватый... Девочка больше мумию напоминает... А этот, со скрипкой, вообще...

Причем здесь анатомия? Неужели и без нее не видно, что мир вопиюще несовершенен, что зло наступает со всех сторон, а люди разобщены, переполнены ненавистью, а вы мне здесь про какой-то рисунок, тем более, тон. А если для вас девочка похожа на мумию, то подумайте – может быть в этом и заключена основная глубина трагедии! Не говоря уже о скрипке!

Что было делать? Только запастись терпением. Если хочешь достучаться до глухих сердец, будь готов столкнуться с непониманием

Между тем я женился.

Потому что моя жена была одной из тех немногих чистых душ, кого мои идеи воспламеняли. Правда, ненадолго. Анатомия ее нисколько не интересовала, и потому, мои картины подвигли ее на то, чтобы не только связать со мной жизнь, но и родить от меня двух дочерей. С годами она, как и все остальные, устала, но смирилась и махнула на меня рукой.

Это было очередным разочарованием, но к тому времени я достаточно повзрослел, чтобы понять, что одиночество – удел того, кто ищет неординарных духовных путей.

Потому что я носил в себе тайну. Невысказанную тайну, которую, если только осознать – мир содрогнется, затрепещет и с благодарностью хлынет к моим стопам в поисках животворящей истины. И я ему ее открою.

Со снисходительным состраданием я смотрел на окружающих людей и дома, и на улице, и в заштатной конторе, где работал бухгалтером. Что ж, думал я, веселитесь, наслаждайтесь своей беззаботностью, не утруждайте себя пытливым проникновением в сущность бытия! Но знайте – в безмятежности ваших застолий, в бездумности ваших разговоров, в никчемности вашей повседневной суеты вам никогда не разглядеть той глубины вселенского несовершенства, которая открылась мне. Блаженствуйте, пока еще есть время, а я ради вас буду нести бремя этого знания!

Подобные мысли естественным образом привели меня к эзотерике. Писание картин, по-видимому, исчерпало свои возможности: мои произведения вызывали у окружающих все большее неприятие, сюжеты, ошеломляющие своей проникновенной глубиной иссякли, а для изучения премудростей других изящных

искусств не было времени – человечество нуждалось в спасении от надвигающегося апокалипсиса.

Потому что эзотерические знания предполагали духовное совершенство, а я, без ложной скромности, ну, если не совсем, то в немалой степени...

Но и тут меня ждало разочарование. Внимательно прочитав две-три брошюры, я пришел к выводу, что школ тайноведения не счесть, и каждая из них, претендуя на непререкаемое обладание истиной, предлагает своим adeptам в принципе одно и то же – разнообразные духовные упражнения, направленные на медитативное постижение высот мироздания через уход от мира внешнего в мир внутренний. А там...

На медитации у меня не хватало терпения. Кроме того, принцип «каждый сам за себя», правда, в другом, материальном выражении, я считал порочным по самой своей сути, и потому одним из главных источников мирового зла.

Должно было быть нечто другое. Мысли об этом другом не оставляли меня ни днем ни ночью. Казалось, я уперся в тупик, из которого нет выхода.

И тогда, (конечно же, в одно прекрасное утро), на меня снизошло второе откровение: нужна новая общечеловеческая религия.

И я призван ее создать.

Во-вторых, это было для меня спасением.

Потому что, когда тебе уже порядком за пятьдесят, ты помимо воли подводишь итоги, оглядываешься на «пройденный путь», и, в общем, при всех припудренных смирением формулах самооправдания, робко пытаешься рассмотреть результат. Ну, хоть какой-нибудь.

Что же мог увидеть я? Бесплодные блуждания среди людской глухоты и слепоты? Никого не возбуждающие идеалы? Наивные, никому не нужные строфы? Картины, пылящиеся за шкафом? Жену, относящуюся ко мне с усталым безразличием, как к затянувшемуся на долгие годы ненастью? Девчонок, которые с почтительной осторожностью выросли где-то на окраине моего сознания и разлетелись из дома каждая в свою жизнь? Мрак и запустение!

И вдруг – это утро!

Потому что, во-первых, до этого утра мои отношения с Богом вызывали, мягко говоря, недоумение и, надо отдать Ему долж-

ное – в отличие от меня, Он относился к этому абсолютно индифферентно. Ведь с тех пор, как на меня снизошло откровение о моем предназначении – никакого содействия с Его стороны не наблюдалось.

Скорее наоборот.

Я не роптал, терпеливо сносил неудачи, силился делать все, что мог, только временами, когда накатывали сомнения, а это с годами случалось все чаще, меня душило безысходное отчаяние, от которого весь окружающий мир окрашивался в стальные цвета войны. Войны против меня.

Доколе, хотелось воскликнуть подобно жене Аввакума, (я про него в одной книжке прочитал, серенькая такая)... От этого «доколе» на душе, пусть ненадолго, но легчало – прослеживалась прозрачная параллель с самим протопопом...

Только Аввакуму, при всем уважении, было проще – он-то не сомневался в своей правоте. Кроме того, у него были конкретные, осязаемые оппоненты, а убеждения, которые он так самозабвенно отстаивал, можно было вполне доходчиво объяснить на пальцах. А тут передо мной – все человечество, и то, чем я призван был его образумить, представлялось хоть и значительным, но довольно туманным.

Однако я, по мере сил, старался не впадать в уныние, потому что, с того момента, когда на меня снизошло первое откровение, я жил со стойким ощущением того, что мир не так прост, как многим может показаться, и что Некто сверху все-таки наблюдает за мной. Иногда это успокаивало, придавало уверенности, но чаще сам собой возникал вопрос: ну, хорошо, вот я надрываю извилины, дни и ночи напряженно размышляю о всеобщем благе, а где же справедливое воздаяние за мою самоотверженную преданность? Где хоть какая-нибудь крохотная искорка, посланная поддержать перманентно угасающее пламя моего энтузиазма?

Потому что, я вот смотрю: другие – хоть бы что, а им – и то и это, пожалуйста, все, что пожелаете! И никакого дела до того, что кто-то за ними наблюдает.

Я ведь и сам, признаться, временами надеялся, что наблюдать-то Он наблюдает, а может быть, иногда все-таки отвлечется да не заметит того, чего мне очень бы хотелось, чтобы не заметил. Я ведь тоже живой человек, из плоти, как говорится, и крови. То позволишь себе лишнего, то подумаешь неприличное слово.

Но это так, на поверхности. А в глубине души я надеялся, что

Он не замечает моих подленьких мыслишек, липких ночных фантазий, зависти к чужому успеху и трусливого заискивания перед властвующими плебеями, которых бессловесно презираю, моей мелочной скупости и того, что до сих пор не могу простить престарелым родителям своего несуразного детства.

Потому что, взамен на это я со своей стороны старался угодить Ему, чем мог: во-первых, в полной мере ощущал свою вину, и при каждом удобном случае прилежно изводил себя самобичеванием. Целенаправленно просмотрел десять заповедей и понял, что если не в полной мере, то в основном... Попытался соблюдать кашрут. Правда, не так чтобы слишком строго – люблю, знаете ли, иногда бутерброд с колбаской. Такая сырокопченая, с чесночком... Зато по субботам бездельничал с удовольствием, и жены своего ближнего, особенно в последнее время, можно сказать, не желал. Ну, естественно, и быка его, а тем более осла.

Словом, мои отношения со Вседержителем носили сугубо личный, интимный характер, и распространить их принципы на все человечество не было никакой возможности. А ведь речь шла, как я понимал, о всемирной религии, способной объединить всех людей, независимо от пола, цвета кожи или образования.

Нужна была свежая, конструктивная идея. Я решил не суетиться, подойти к проблеме серьезно (я уже не тот, ослепленный иллюзиями пылкий юнец) и обратиться к авторитетным источникам, дабы вникнуть для начала в существующее положение вещей.

Я не знал более авторитетного источника, чем энциклопедия. Тридцатитомная, красненькая такая. Подписное издание. Давно собирался в нее заглянуть, да все руки не доходили. Так и стояла годами нетронутая. Правда, издана была давно, так ведь религиозные догмы все равно гораздо древнее, и вряд ли за это время в них что-нибудь изменилось.

Сознаюсь, трудных путей не искал – трудностей мне и без того хватало. Рассчитывал попробовать скомпоновать нечто новое из уже готового. Только здесь меня подстерегало глубокое и болезненное разочарование.

Про многобожие прочел с интересом, но отверг его безоговорочно. Каждому ясно, что эти сказки и легенды – плоды непросвещенного воображения древних людей, не постигших еще элементарных законов естествознания.

Про иудаизм для экономии времени читать не стал, мне про него подробно рассказывал мой сосед, Самуил Исаакович, улыбчивый старичок с печальными глазами цвета загустевшего золота, большой знаток этого дела. Потому что с утра и до поздней ночи сидел в своей полуподвальной каморке, упершись пунцовым в прожилках носом в толстенную книгу и покручивая жидкие серебряные пейсы. В его доктрине мне все было понятно и даже близко, видимо, голос крови, при всем моем космополитизме – не пустая формальность. Только на роль религии в общемировом масштабе она, эта доктрина, к сожалению, никак не годилась – слишком уж много ограничений и предписаний. Кажется больше шестисот. Попробуй их хотя бы запомнить, я уж не говорю – выполнить! И потом, кто ж согласится с тем, что на свете есть избранные, (что лично мне очень даже понятно, и совсем не напрягает), и есть все остальные, которые наоборот.

В общем, иудаизм не подходил. А жаль, очень правильное мировоззрение!

То немного, что мне удалось понять из описания других религий, еще меньше отвечало общечеловеческим запросам. В них, как мне показалось, царила жуткая путаница и непроходимое мракобесие. С одной стороны, Бог у них вроде был один, неважно, как Его называть, а с другой Он, то двоился, то троился, и в результате – в кого верить, кому молиться – непонятно. Добравшись до различных конфессий, я запутался окончательно, понял лишь, что они категорически друг с другом не согласны, и это их несогласие вовсе не ограничивается чисто философскими дискуссиями. Так о каком же всеобщем братстве могла идти речь?

Энциклопедия меня разочаровала, надежды рухнули, очередные иллюзии рассеялись «как утренний туман». Я вновь уперся лбом в глухую стену.

Потому что дни шли за днями, дни шли за днями, а я мучительно искал и не находил решения. Вновь накатывало отчаяние, и было оно стократно невыносимей, чем в былые годы, когда казалось, что впереди еще вечность, что все еще изменится к лучшему. Сейчас, когда на горизонте уже замаячил бесславный финал, жизнь, вернее ее остаток, выглядела унылым торжеством духовной импотенции.

За окном была поздняя осень. Я смотрел сквозь запотевшее стекло на черные скелеты продрогших деревьев, на черный, в

желто-бурых заплатках асфальт, на одинокие черные фигуры, спешившие куда-то среди холодного дождя и думал: люди, как же мне отыскать то, что важно для каждого из вас, независимо от того, кто вы, откуда и куда торопитесь под дождем и снегом, под палящим солнцем, в море и на суше? Что может объединить вас? В чем же заключается, если она вообще существует, та всеохватывающая концепция, перед которой мы с вами неотличимы и близки, как кровные родственники?

В ту ночь я долго не мог уснуть, а утром, в момент пробуждения меня посетило третье откровение. Помню, выглянул в окно, – падал первый снег, – я воспринял это, как символ, как знак свыше. Потому что во всем искал знаки свыше.

Идея была на удивление простой. Как, впрочем, все гениальное. В первый момент я даже поразился: почему же мне она не приходила в голову раньше, ведь лежала, что называется, на поверхности.

Гениталии!!! Вот что объединяет всех людей в подлунном мире! И белых, и черных, и желтых, и красных. Христиан, иудеев, мусульман и буддистов. Коммунистов, церковников, атеистов и маргиналов. Водопроводчиков и пулеметчиков. Бомжей и бизнесменов. Воров и обворованных, палачей и осужденных, банкиров и поэтов. Кем бы они ни были – у всех это имеется в наличии. Что может быть более общечеловеческим?

Потому что, мне могут возразить: ведь у них у всех имеются также сердца, почки, желудки, кишечники, в конце концов. Но ведь только посредством гениталий возможно исполнить то, (это мне Самуил Исаакович рассказывал), что Господь перво-наперво заповедал свежесотворенному человеку – «плодитесь и размножайтесь». То есть, деторождению и, соответственно, совокуплению в мироздании отведена главенствующая роль, а все остальное – потом, по мере поступления.

Это было потрясающе! А, главное, конкретно! Похоже, (я старался об этом не думать, чтобы там не посчитали меня чересчур самонадеянным), что мое высокое предназначение мало того, что получило подтверждение, но и обретало вполне определенные очертания.

Потому что несколько следующих дней я провел в сладчайшей эйфории. В моем воображении возникали, одна сменяя другую, картины неведомой доселе идиллии: люди разных возрастов, вероисповеданий и профессий, проникшиеся пониманием общности на основе единообразия гениталий, отбросив ложный

стыд и не стесняясь наготы, в едином гармоническом порыве соединяли свои освобожденные от враждебности и взаимного недоверия сердца под сводами единой Божественной истины.

К исходу третьего дня, когда несколько утомившие меня видения стали напоминать необозримый, от полюса до полюса, нудистский пляж, я понял, что откровение откровением, но если не придать ему более конструктивный характер, оно так и останется невоплощенным.

Потому что, оставив до лучших времен сладкозвучные перебивы фантазии, я вдруг оказался лицом к лицу с тем, что совершенно не представляю, с чего следует начать. Как оказалось впоследствии, это была только первая из целой вереницы ожидавших меня трудностей.

Ничего путного в голову не приходило, крохотным результатом двухдневного насилия над собственным интеллектом явилось убеждение, что мне необходимо с кем-нибудь обсудить снизошедшее на меня откровение с чисто практической точки зрения. Это было далеко не так просто: во-первых, у меня, так уж сложилось, не было по-настоящему близких друзей, способных с искренней заинтересованностью и без зависти вникнуть в то, что мне предначертано совершить. Во-вторых, те немногие приятели, с которыми я кое-как поддерживал видимость отношений, вряд ли способны были понять, о чем идет речь. И, наконец, те же приятели могли бы запросто мою идею украсть, присвоить и использовать в корыстных целях. Поэтому единственным человеком, с которым я мог, не опасаясь плагиата, серьезно обсудить свои насущные проблемы, был Самуил Исаакович.

Вступительную часть моего монолога, посвященную разоблаченности человечества перед лицом зла, все более набирающего силу, Самуил Исаакович прослушал, сочувственно покачивая головой, рассеянно покручивая пейсы и поглядывая краем глаза на распахнутую книгу, лежащую перед ним. Однако, когда я добрался до умозаключения о том, что все вышесказанное естественным образом приводит к необходимости создания новой всеобщей религии, способной объединить человечество под эгидой единой духовной концепции, он восторженно, оставив пейсы, поднял на меня печальные глаза и мне показалось, что в них мелькнули две холодные голубые искорки.

Это меня не остановило, и я перешел к изложению сущности новой религиозной доктрины, открывшейся мне. Голос мой

дрожал от волнения, помнится, я в порыве вдохновения даже вскакивал и размахивал руками. Лицо же Самуила Исааковича постепенно темнело, нос все больше пунцовел, наконец, веки его тяжело опустились, он замер, словно окаменел, сплетя пальцы на животе и беззвучно шевеля губами.

Вне всякого сомнения, глобальность концепции ошеломила его. Я остановился, чтобы перевести дух и дать Самуилу Исааковичу время чуть глубже осмыслить услышанное. После паузы, показавшейся мне вполне достаточной, я решился нарушить молчание:

- Потому что теперь я хочу спросить, как вы думаете, с чего же мне начать?

- С покаяния, – медленно проговорил старик, не открывая глаз.

- Почему??? – я ожидал чего угодно, только не этого.

- Потому, что до Йом-Кипура еще далеко, ибо сказано: «...в этот день будут прощены грехи ваши».

- Не понимаю, на что вы намекаете? – я был искренне изумлен.

Самуил Исаакович открыл мерцающие золотом глаза, это, судя по всему, стоило ему немалого труда. Он пододвинулся и осторожно взял мою руку в свои полупрозрачные ладони:

- Сказано: «Счастлив тот, чье злодеяние прощено, и грех закрыт.»

- Что вы имеете в виду?

- Тебе необходимо покаяться, очистить душу от скверны, как написано: «...ибо осознал я преступления свои, и грех мой постоянно предо мною».

- Самуил Исаакович! Я доверил вам все свое самое сокровенное, и я ждал от вас, как от человека с большим жизненным опытом, практического совета, а вы...

-- Вот тебе практический совет, – по его лицу опять разбежались добродушные морщины, – прими ледяной душ, постись от заката до заката и прочти дважды всю книгу «Теилим» от начала до конца и от конца до начала.

- И это все что вы можете посоветовать? – спросил я уже в дверях.

- Все! – Старик повернулся к столу и уперся носом в книгу. – И будем надеяться, что Всевышний, благословенно Его имя, простит тебя и найдет способ наставить на путь истинный.

Я и не представлял, насколько пророческими оказались слова Самуила Исааковича – Господь нашел-таки способ образу-

мить меня, посадив в этот поезд. Но это было потом, а в тот вечер я носил по мерцающим снежным улицам свою голову, распираемую безысходными мыслями и свое сердце, переполненное обидой и печалью.

Потому что снова я вынужден сам, сам (!) нести бремя своего предназначения. Как протопоп Аввакум. Но с ним и его падьа...

И тогда я подумал о своей жене. Потому что все эти годы она выносила мою отстраненность от реальности, равнодушие к быту, нежелание прилагать усилия для продвижения по службе, и то, что между нами уже давно установились те платонически-созерцательные отношения, которые возникают между профессионально терпеливой сиделкой и пациентом, безнадежно забитым смертью на стадии умеренной деменции. Поэтому, когда я заговорил с ней о снизошедших на меня откровениях, на ее лице отразилось такое же изумление, как если бы вдруг заговорил наш старенький хрипатый холодильник – тещин свадебный подарок.

Я ходил из угла в угол, а она сидела на диване и глаза ее неотрывно следили за мной. Конечно, после беседы с Самуилом Исааковичем, мой восторженный оптимизм несколько привял, и я, в общем, был готов к тому, что и здесь я не встречу понимания. Но, наблюдая за ней краем глаза, я с удивлением замечал, что она непритворно взволнована, как и когда-то, целую вечность назад, когда впервые услышала мои стихи и увидела мои картины. Словно не было всех этих безучастных промозглых лет, словно не было этого унылого, как скрип ржавых засовов, безмолвного раздражения и запутанных, пахнущих чужим весельем коридоров, в которых мы безнадежно теряли друг друга. Передо мной сидела та же доверчивая, воодушевленная моими идеями девушка: певучий изгиб мраморной шеи, затылок в золотистых завитках, круглые тугие коленки, задумчивые руки, и глаза, истекающие прохладной синевой. И я, как тогда, целую вечность назад, говорил, говорил, говорил, ни на мгновение не сомневаясь, что она впитывает каждое мое слово, каждую мою интонацию.

Надо отдать ей должное – она всегда умела слушать. Терпение, позволившее ей прожить рядом со мной так долго, было ее бесценным природным дарованием. Ее взволнованное молчание действовало на меня подобно целительному бальзаму, возрождающему во мне уверенность в своих силах. Вдохновленный ее внимательным взглядом я, как парус, уловивший попутный ветер, ожил, наполнился и понесся во весь опор, не отягощая

себя стремлением к лаконичности. Мое красноречие пьянило меня. Снова и снова обличая разобщенное человечество и утопающий в пороке мир, я осторожно, чтобы, заинтриговать аудиторию и не расплескать ошеломляющую внезапность откровения, приближался к изложению сути новой религии. Наконец, с трудом выдержав многозначительную паузу, я с тонкой улыбкой торжественно взошел на пьедестал концепции всеобщего равенства и братства на основе общечеловеческого единообразия гениталий.

Этот заключительный аккорд достиг своей цели, жена залилась краской, испуганным взглядом осмотрелась по сторонам, но не проронила ни слова. Я застыл в позе вождя мирового пролетариата, устремившего взгляд в будущее.

Вдруг она встала, подошла и крепко обняла меня, прижавшись щекой к груди. К моим глазам подступили слезы: вот что значит по-настоящему верная подруга, единственная в мире, понимающая меня и готовая идти со мной до конца, «до самой до смертушки», как жена протопопа. Я нежно, как только мог, тоже обнял ее.

Так мы простояли несколько мгновений и вдруг она сказала:

- Бедный, бедный мой мальчик!

- Ты о ком? – мне было удивительно уютно в ее объятиях.

- Бедный, бедный мой страдалец! – продолжала причитать она. – Давай сходим вместе, я пойду с тобой, у моей подруги есть знакомый врач, он ей очень помог...

- Ты о чем? – я медленно отодвинулся. – Какая подруга? Какой врач?

- Психиатр. Ты не пугайся, это только слово такое страшное. А на самом деле он очень обаятельный человек.

- То есть, ты считаешь, что обаятельный психиатр – это единственное, что мне сейчас необходимо?

- Конечно, милый... пока не поздно, – она попыталась снова меня обнять, но я раздраженно отстранился. Усталые глаза в паутине морщинок, застиранный халатик, изможденные плоско-стопами тапочки.

Внутри меня что-то заскрипело, закружилось, зашаталось. Захотелось что-нибудь взорвать, разнести в мелкие клочья, но руки онемели. Захотелось крикнуть что-нибудь изысканно грубое, но слова не находились, а красноречие изменило мне. Только и сумел, что промямлил: «Эх, ты!.. Я думал, что ты... А ты...»

Мир снова повернулся ко мне спиной, и я снова, снова(!) оказался в полном одиночестве.

Я опять летел в бездонную снежную пропасть, а она, моя женщина, кричала мне откуда-то сверху: «Да пойми же ты, протопоп дремучий, вся твоя новая концепция древнее самого мира...»

Самое обидное, что она оказалась права. Некоторое время мне понадобилось, чтобы придти в себя – глухое непонимание тех, кому я доверился, не говоря уже о разочаровании в познавательной ценности энциклопедии, явились для меня тяжелым испытанием. Но отступить было некуда, человечество застыло в ожидании, и я направился в библиотеку, чтобы серьезно заняться изучением этого вопроса. Меня ожидало очередное потрясение: различные формы обожествления детородных органов, или по-научному, фаллические культы, существовали с незапамятных времен. Чем больше я узнавал, тем большее отчаяние охватывало меня. Оказывается и в древнем Египте, и в древней Греции, и в Римской империи поклонение органам оплодотворения было чем-то, само собой разумеющимся. Даже японцы, которых я всегда считал вполне приличными людьми, и те по сей день придавали гениталиям сакраментальное значение. Все эти Астарты, Шивы, Гермесы, Приапы просто кичились своими половыми атрибутами, а кукиш, незатейливый кукиш, которым я сам, ничего не подозревая, частенько пользовался в некоторых бытовых ситуациях, оказывается, был символом мужского члена, который помимо своей основной функции обладал еще и умением защищать от дурного глаза. Мне никогда не приходило в голову, что пенис, самый обыкновенный пенис во всех известных цивилизациях являлся символом плодородия, и что женщины, вполне порядочные женщины носили его на шее, как амулет. А дионисийские мистерии! А храмовая проституция! А тот факт, что у меня самого, как и у всех моих соплеменников знак союза с Господом запечатлен...

Потому что голова моя шла кругом. Во всех предметах, имеющих продолговатую форму, от монументов до сосисок, от Пизанской башни до авторучки, которой я заполнял бухгалтерские отчеты, стал видиться мне образ всепроникающего фаллоса. Точно так же, шкафы, коробки, мешки, карманы, ракушка – сувенир, привезенный женой с юга, и даже мой изрядно поношенный портфель наводили меня на мысли о вагине, или правильной, о ктеисе. По ночам мне снились языческие празднества с поваль-

ным совокуплением, зеленоглазые хохочущие ведьмы верхом на неудержимых, мускулистых лингамах, и нежные, как цветы йони, которые постепенно раскрываясь, засасывали меня внутрь.

Но самое невыносимое заключалось в том, что я вдруг почувствовал себя не носителем, а рабом своего предназначения. Я ловил себя на том, что хотел бы избавиться от всей этой фаллическо-вагинальной катавасии и просто, как и прежде тихо размышлять о проблемах человеческого несовершенства. Однако, пути назад уже не было. Генитальная концепция уже сама распоряжалась моей жизнью и в ее цепких когтях я, бессильно трепыхаясь, вынужден был мучительно искать ответы на чисто практические вопросы:

Во-первых, каким образом можно придать этому примитивному половому мракобесию, этому разгулу сексуального недержания характер возвышенной идеологии, дабы превратить детородные органы из предметов грубого, низменного наслаждения в символы всеобщего духовного единства.

Во-вторых, будучи увлечен духовностью своей доктрины, я вовсе не учел того простого факта, что существует по меньшей мере два типа гениталий – мужские и женские. Так что же, нужно создавать две религии, исходя из половой принадлежности? Это полностью дискредитировало бы всю идею. Необходимо было отыскать способ разрешения этого противоречия.

И, главное, в-третьих. Каким образом внедрить в массы основополагающие принципы новой веры. Я с ужасом думал о той непосильной работе, которую придется развернуть на этом поприще: организовывать для начала тайные собрания энтузиастов, которых пока, кроме меня не было. Начать издавать газету, которая подобно ленинской «Искре», сможет постепенно воспламенить сознание непросвещенных, но взыскующих истины людей.

Потому что все это представлялось мне необъятной, неподъемной глыбой, возле которой я стоял в полнейшем одиночестве, имея возможность рассчитывать только на собственные силы.

Мысли душили меня, мой измотанный бессонницей мозг не выдерживал напряжения, мне казалось, что я стою на пороге безумия.

Вдобавок ко всему, будто в насмешку над моей душевной безысходностью, по служебной надобности меня командировали в головное предприятие, расположенное в другом городе. Не люблю этих командировок – беспокойство, чужие дома и улицы,

зачуханные гостиницы, тоскливая сверка никому не нужных документов.

Но сейчас был рад – надеялся хоть ненадолго отвлечься от изнурявших меня образов.

Я и не подозревал, что эту поездку послал мне сам Господь...

Погода была нелетная, возвращаться пришлось поездом. И это притом, что я никогда не любил поездов. Они неизменно навели на меня тоску. Только выбора, собственно, не было, да и поезд ночной, удобный – поздним вечером садишься, ночь перекаптовался, а утром уже дома.

Когда я вошел в купе, там уже сидели двое пассажиров, и, судя по их плохо скрываемому недовольству, нельзя было предположить, что их очень обрадовало мое появление. Слева, в довольно вальяжной позе расположился худощавый, быстроглазый мужчина средних лет в пиджаке и галстуке на тонкой гусиной шее. Крохотные усики под острым подвижным носом выдавали в нем матерого провинциального интеллигента. Напротив него оплывала дородностью веснушчатая женщина с ярко-рыжим, старательно взбитым пухом на голове, утонувшими в щеках глазками и небрежно приклеенным кровавым ртом. Столик между ними утопал в умопомрачительном натюрморте, (весь предыдущий день я, стараясь поскорей завершить тоскливую работу, маковой росинки во рту не держал, едва успел к поезду, а потому мгновенно и достойно оценил эту аппетитную роскошь): ядреные помидоры, малосольные огурчики в ошметках укропа, домашняя колбаса, исходившая головокружительным чесночным ароматом, девственное, как юная невеста, сало, тяжелый деревенский хлеб...

Потому что, мое появление было явно не ко двору, оживленный разговор замер на полуслове. Я уселся, поезд тронулся, тягостное молчание, как топор, повисло в воздухе. Кресло у пиршественного стола для меня, видимо, забронировано не было, и после нескольких минут смущенной неподвижности, я взобрался на свое место на верхней полке, и, проглотив обильную слюну, приготовился терпеливо дожидаться утра.

А застолье внизу очнулось и закипело. Послышалось бульканье, запахло самогоном. Как ни старался я отключить свои органы чувств, обоняние мое вздыбилось и доставляло мне немалое беспокойство. Но и слух мой тоже не дремал. По ходу их трапезы я понял: этот вертлявый интеллигентик, сидевший вни-

зу напротив меня, был работником общества «Знание» и циркулировал с лекциями по городам и весям. Активное, судя по звукам, поглощение пищи он сопровождал стрекоучущим потоком всевозможных сведений обо всем на свете. Его сотрапезница, шелестевшая подо мной, владелица, как выяснилось, всего этого роскошного хлебосольства, направлялась к сестре в город за покупками. Ее восторженные восклицания слышались в промежутках, когда ее неутомимый, как радио, собеседник замолкал, наверное, для того, чтобы проглотить очередной кусок.

- А знаете ли вы, – наяривал мужчина, – что в Европе помидоры долгое время считались ядовитыми? Испанцы и португальцы завезли томат из Америки в Старый Свет еще в шестнадцатом веке. Это растение использовали только в декоративных целях. Быть может, причина недоверия в том, что на его, так сказать, исторической родине – там, где современная Мексика, – аборигены их считали несъедобными. Кстати, великий Карл Линней отчего-то назвал помидоры волчьими персиками.

- Что вы говорите? – восклицала женщина – Кто бы мог подумать? А мы их едим – и хоть бы что.

- Вот именно! Ну, еще по маленькой! За знакомство!

- Ой, нет! У меня уже голова...

- А знаете ли вы, – не отступал просветитель, – что изначально традиция чокаться возникла для того, чтобы не быть отравленным во время пира? В Средние века риск того, что в твою рюмку кто-нибудь подсыплет яд, был слишком велик. Поэтому люди на пирах ударяли своими рюмками чужие, таким образом, чтобы водочка, перелившись через край, смешивалась. Это гарантировало, что никто из находящихся на пиру людей, не отравитель. Отказаться же чокнуться с кем-то означало нанести ему страшную обиду и в открытую признать его врагом, а себя отравителем. Вы желаете меня обидеть?

- Ой, ну, что вы! Вы такой начитанный – пиццала мадам – я вот тоже однажды по телевизору...

- Работа такая, – сдавленным голосом отвечал мужчина, проглотив спиртное. – А знаете ли вы...

Это было настоящей пыткой. И тогда я прибегнул к крайнему средству – вернулся к мыслям о своем предназначении. Это сработало, словно эти мои мучения только и ждали команды, чтобы наброситься и начать терзать мои извилины. Все исчезло. Я опять топтал по замкнутому кругу неразрешимых духовных проблем. И неожиданно то ли уснул, то ли впал в усталое забытие...

Очнулся я от пронзительного шепота. В купе стоял душный сумрак, пропитанный запахом чеснока и самогона. Я взглянул туда, где должен был располагаться этот гребанный эрудит. Там никого не было. Зато подо мной слышалась натужная возня, шлепки, чмокания и шепот:

«Ну почему?»

«Нет, ну что вы, я не могу...»

«Ну, почему? Ты ведь сама говорила, что ты его не любишь.»

Мокрые шлепки поцелуев.

«Не надо, пожалуйста, вы же такой интеллигентный, в галстук...»

«Так что, мне уйти?»

«Нет, нет! ...Но ведь нам и так хорошо, правда?»

«Конечно, лапушка! Но я хочу ощущать каждую клеточку твоего тела!»

Чмокание.

«Вы такой романтичный!»

Это было уже слишком. Я не решался что-нибудь сказать, и поэтому сделал вид, что беспокожно вскрикиваю во сне. Мужчина на удивление резво ринулся на свое место и застыл. Застыл и я. Через некоторое время тишины он зашевелился, встал и прокрался назад к предмету своих поползновений.

Я не знал, что еще предпринять, но вдруг, словно по команде, дверь рывком отворилась, и в купе вошел четвертый пассажир. Судя по запаху перегара, погоням, мелькнувшим в тусклом свете и громовому голосу, которым он разговаривал с проводником, это был человек военный, скорей всего офицер. Лектор легкой тенью скользнул на свое место. Вновь прибывший не обратил на это никакого внимания. Я же воспринял его приход, как спасительное явление деда Мазая. Только не тут-то было.

Мужчина снял китель, стянул сапоги, и стало ясно, что это действительно офицер. Затем он громко, от всей, видимо, души пукнул, взобрался на свою полку и через минуту оглушительно захрапел.

Еще через минуту неугомонный эрудит опять приступил к штурму.

Ситуация была более чем трагикомическая: в крохотном, сгущенном пространстве смешались несовместимые, на первый взгляд, оттенки реальной жизни – похотливый, напичканный знаниями краснобай, женщина вожделеющая греха, но желавшая при этом сохранить целомудрие, бравый, невозмутимый солдат-фон и я, облеченный высоким духовным предназначением.

И когда возня подо мной стала совершенно невыносимой, я поймал себя на том, что мысленно тоже уговариваю ее: «Ну, дай же ему, дай! Ну, что тебе жалко? Неужели ты не видишь, что он не отстанет? От этого всем станет только лучше!»

Похоже, что женщина не нашла в себе сил противостоять его настойчивости и моим мысленным призывам, действующим в тандеме. Снизу послышалось сосредоточенное сопение, и вслед за этим жалобные, ритмичные повизгивания. Крепость пала!

Я был рад за всех нас троих. Но, вместе с тем, что было поразительно, с каждым звуком, доносившимся снизу, на меня нисходил покой, которого я не ощущал уже долгие годы. Мне вдруг стало ясно, что те два человека, соединяющие сейчас подо мной свои гениталии, нисколько не отягощая себя никакими возвышенными концепциями, совершают именно тот священный ритуал, для которого великий Господь наделил их этим инструментарием. И ничего не надо выдумывать, просто воплощать в жизнь предназначение того, что по Его великому замыслу заложено в каждом человеке.

Это было так просто и понятно! Всевышний смилоствовался и сорвал пелену с моих глаз!

Потому что это было ни с чем несравнимое откровение! Потому что с моих плеч свалился страшный непосильный груз. Потому что отныне я был свободен!!!

Уснул невинным сном младенца.

Утром мы сидели, собрав вещи и ожидая прибытия поезда. Я смотрел в измятые, понурые лица моих попутчиков и испытывал по отношению к ним некое подобие признательности или даже любви.

Мне захотелось задержаться, посмотреть еще раз на опустевшее купе и подумать что-нибудь глубокомысленное, типа: как легко, одним прикосновением, реальная жизнь обращает грандиозные замыслы в забавные цитаты из пожелтевшей провинциальной газеты (никогда не отказывал себе в удовольствии полюбоваться красотой своих мыслей). Я вышел из вагона последним, задумчиво постоял на подножке и только потом ступил на опустевший перрон. У входа в здание вокзала не выдержал, обернулся и с благодарностью посмотрел на локомотив, упершийся в тупик осоловелыми глазами.

Утренний город дышал хрустальным воздухом взрослеющей весны, а я шел, плыл, парил в океане бесчисленных весенних совокуплений и упивался переполнявшим меня неизъяснимым вкусом свежобретенной свободы.

Елена Елагина

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Руки твои
полны ветра,
Ноги твои
полны силы,
Кожа твоя
полна утра,
Волосы твои
полны света,
Губы твои
полны счастья,
Голос твой
полон лета,
Дыханье твоё
полно мёда,
Уши твои
полны ритма,
Мысли твои
полны страсти,
Глаза твои
полны жара,
Тело твоё
полно жажды,
Лоно твоё
полно зноя,
Семя твоё
полно жизни,
Сердце твоё
полно битвы,
Кровь твоя
полна зова,
Память твоя
полна ночи,
Душа твоя –
переполнена*

Отсутствием
 чего бы то ни было...
Знаешь ли ты,
кто скажет тебе:
«О, как ты совершенен,
человек нового тысячелетия!»?

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Пока дитя не спит, над книгою склоняясь,
Всерьез увлечено соперницей Диснея,
Под пальчиком его пока бормочет вязь
Неровных вещей букв, я оборвать не смею
Ни словом, ни рукой сей сладостный альянс –
Пусть каша подгорит, пусть ванна остывает...
Проклянувшись, душа, свой оставляет транс,
И медленно растет, хоть быстро прорастает.

О.Левитану

Тянет кашей подгорелой,
Прикипевшим молоком,
Тянет жизнью неумелой,
Завалившейся бочком,
Тянет нищенством и страхом
Из двухперстовых щелей,
И последнюю рубахой,
Хоть жалей, хоть не жалей...

На три ноты разыграли
Кособокою судьбу,
И в начале, и в финале,
Что ни тронь – на всем табу.
Горе горькое в котомках.
И в карманах – про запас.
И ревет, как зверь, в потемках
Вездесущий трубный глас...

А.Мелихову

*Время – это то, что показывают часы,
Регулируя поток стрелками-руками,
Время – это Бог, неосязаемый, как чужие усы,
Как события, переживаемые неизвестными двойниками.*

*Время – это то, что пощупать нельзя,
Можно только сгорбиться под его непосильным грузом,
По невидимой наклонной неудержимо скользя,
С усыхающим мозгом, с растущим пузом.*

*Время – это мышь аполлинеровская, грызущая мир,
Будто сыр в мышеловке с уже удаленной пружиной,
Время – это пир абстракций, самый роскошный пир!
Эй, Платон, присаживайся со всей своей философской
дружиной!*

*Жизнь коротка,
как писк тщедушной мыши
в кошачьих лапах,
как рукопожатье,
склоненных к примирению
врагов.*

*Значит, на нашу долю последние времена
Выпали, как выпадает карта из колоды, крапленой
бесом.
Вновь ужаснется массовый Германн, глянувший на
Эту усмешку, не значащую ни бельмеса
На глянцевице овале пикового лица –
Господи, пронеси! Но нет туза запасного
В новом раскладе дольнем в рукаве у Творца,
Как нет и другой земли у всемогущего Бога.*

*Пишу не те буквы,
Произношу не те слоги,
Говорю не на том языке,
Люблю не того человека,
Ращу не тех детей,
Ношу не то имя,
Хожу не по той земле,
Живу не ту жизнь...*

*Найдётся ли тот,
Кто объяснит,
Какой во всём этом смысл?*

*Пожалела госпожу рабыня,
Пожалела принцессу служанка,
Пожалела жену путана...
Той ли жалостью, с тем ли пылом?*

*Виноград по-прежнему зелен,
Повелитель, как встарь, неразборчив,
Но всё так же быстро сникает
Юной кожи упругая свежесть,
И всё так же быстро заносит
След сандалий песок пустынный.*

КОНЦЕРТ ДЛЯ ГРЕТХЕН

1

Всю жизнь я посвятил музыке – сочинял, наивно полагая, что это нужно кому-то кроме меня самого. А сейчас, оглядываясь назад, я напоминаю себе навьюченного иллюзиями ишака, обречённо бредущего к ошибочно избранной им цели. Конечно, выпадали времена, когда, звонко цокая копытами, мне удавалось с разбега покорить холм или горку, и тогда, с вершины достигнутого успеха, я гордо взирал на спины пасущегося внизу стада. Но гораздо чаще я видел перед собой чужие хвосты и туловища, заслонявшие дорогу к славе и признанию. Цель, казавшаяся абсолютно ясной и достижимой в десять лет, к пятидесяти потускнела, а сейчас, в шестьдесят, я убедился в ее иллюзорности. Я понял, что желание завоевать мир притягивает тщеславных, но возможность – дается только гениям. Остальные нужны для фона, для сравнения. А тогда, с высоты неполных десяти лет, заглядывая в полуподвальное окно, за которым угадывался силуэт Греты, я не собирался быть одним из многих – я знал, что стану знаменитым и знал, как это осуществить.

Каждый день, возвращаясь из школы, я шел домой одним и тем же маршрутом. Я и сейчас мог бы пройти по нему с закрытыми глазами. Улица, ведущая от школы, была засажена каштанами, и осенью тротуар покрывал неровный ковер расколотых колючих оболочек вперемешку с идеально отполированными коричневыми плодами, которые я зачем-то азартно собирал, рассовывал по карманам, а, придя домой, не мог найти им применения, и выкидывал в мусорку. Перед тем, как завернуть за угол, я всегда замедлял шаг возле массивного котельцового здания, в котором располагалась типография.

В любое время года окна были открыты, и вместе с непрерывным шумом печатных станков оттуда доносился запах краски, смешанный с кислым запахом пота. Я уже знал в лицо рабочих и различал их надорванные голоса. Дальше я шел мимо детского сада, с его свитой из чугунных прутьев оградой, и потом

по переулку, застроенному двухэтажными особнячками одинакового голубого цвета. За лето интенсивная голубизна выгорала, затем дожди вымывали остатки краски, и осенью стены напоминали вылинявшие пеленки моего младшего брата Кости. Перед ноябрьскими праздниками стены красили заново, потом они синели всю зиму, оттеняя свисающие с крыш кривые голубоватые сосульки.

В тот сентябрьский день, проходя по переулку, я услышал музыку. Это была очень красивая мелодия, «Сентиментальный вальс» Чайковского в переложении для флейты. Но тогда названия я, естественно, не знал, да и не имело это никакого значения. Я просто пошел на звук, озираясь и заглядывая в каждое окно. Пока не увидел то самое, с развевающимися ситцевыми занавесками, а за ними – сидящую на стуле девочку с поднесенной к губам флейтой. Окно было полуподвальное. Присев на корточки, я заглянул вниз. Девочка играла, надавливая пальцами на металлические кружочки клапанов. Иногда она сбивалась, и, вздохнув, терпеливо повторяла ту же фразу. А я слушал и не мог сдвинуться с места, точно дрессированная кобра, до тех пор, пока женский голос не позвал: «Грета, обедать».

Весь вечер я думал об этой девочке, и все в ней казалось мне необыкновенным. Ее чуть скрипучее, нездешнее имя из страшноватых немецких сказок, возбуждало воображение, и, засыпая под неотвязную мелодию вальса, я уже знал, что снова пойду к дому Греты.

Я приходил каждый день, пристраивался на асфальте за ставкой и слушал музыку, краешком глаза наблюдая за тем, что происходило в полумраке квартиры. Семья Греты казалась мне странной. Отец – грузный, вечно небритый, с густой черной шевелюрой и кустистыми бровями – очень громогласный и занимающий почти все пространство маленькой кухни. Я узнал в нем работника из типографии – он паковал простыни свежих газет. Мать – круглая, сдобная, в красном фартуке, вечно колдующая над плитой или моющая посуду. Грете на вид было лет пятнадцать. Чертами лица она походила на мать, но была выше и тоньше, хотя уже тогда ее грудь казалась непропорционально широкой. Но мне это нравилось, как, собственно, всё в ней: прямые до плеч темные волосы, бледное лицо, миндалевидные глаза, и пальцы, так ловко находившие нужную кнопку на матово поблескивающем инструменте.

В октябре начались дожди, и окно держали закрытым. Я по-

прежнему приходил к дому, но музыку можно было услышать только прижавшись ухом к холодному стеклу. И звучала она особенно отчаянно – словно кто-то пытался дозваться, докричаться, дать о себе знать. Возможно, все это было подсказано моим разыгравшимся детским воображением, подпитанным прочитанными книжками и врожденной впечатлительностью. А на самом деле, ничего романтического в этой ситуации не было – доносящиеся через закрытое окно звуки разучиваемой пьесы... Но одной музыки мне уже не хватало – я должен был видеть Грету. Из подслушанных разговоров я узнал, что она учится в музыкальной школе, и в один из дней пошел туда.

Я еще издали заметил ее сидящей на скамейке с книжкой в руках. На ней было серое пальто с продетым под воротник белым вязаным шарфиком. Всю дорогу я переживал о том, под каким предлогом зайду в школу, как разыщу Грету. А тут судьба мне подыграла, но я не был готов к ее подарку и потому растерялся. По инерции, я сделал еще несколько шагов и остановился возле Греты. Она подняла глаза от книжки с портретами композиторов на обложке и посмотрела на меня с недоумением. Никогда - ни до, ни после я не видел, чтобы женщина так поднимала веки, сначала медленно, а потом словно распахивая их тебе навстречу.

- Мальчик, ты что, потерялся? – спросила она и зевнула, прикрыв ладонью рот.

Позже я диагностировал тогдашнее свое состояние как синдром Буратино, который, оказавшись наедине с Мальвиной, ощутил свое ничтожество. Я ничего не ответил, плюхнулся на скамейку рядом с Гретой, потом сорвался с места и убежал. Дома, раздевшись, я увидел, что моя куртка была абсолютно мокрой от пота. Оказалось, можно вспотеть не столько от бега, сколько от стыда.

За ужином я сообщил родителям, что стану музыкантом, и не просто музыкантом, а композитором. Мои родители были образованными, но весьма далекими от музыки людьми. Мама работала в библиотеке, отец преподавал математику в школе. Естественно, они не придали значения моему заявлению. Но в тот день несмелые желания и мечты обрели четкие очертания. Я решил поступить в музыкальную школу, затем в консерваторию, чтобы научиться сочинять музыку, которую когда-нибудь сыграет Грета.

Не помню, кому пришло в голову отдать меня в музыкальную школу. По-моему, это была мамина идея. Денег на пианино не было, купили флейту. Папа поначалу подшучивал – пастуший инструмент - но со временем маме удалось убедить его в том, что лучше профессии для женщины быть не может.

- За фальшивую ноту не судят, - говорила она, - на кусок хлеба всегда себе заработает и с культурными людьми общаться будет. Не то что... - На этом месте мама всегда замолкала, но окружающие легко могли закончить ее мысль, - ...не то, что я, в столовой или дома у плиты топчусь.

Нравилось ли мне учиться музыке и в частности, играть на флейте? Наверное. Во всяком случае, я получала удовольствие, ощущая себя другой, особенной, умеющей то, что большинству детей не было дано. Я откровенно наслаждалась, развлекая гостей, или замечая, как прохожие замедляют шаг, услышав мою игру. Я даже помню смешного мальчишку, прятавшегося за ставней. Лица его увидеть было невозможно из-за дурацкой кепки с длинным козырьком, но зато всегда торчали голые по колено ноги в синих кедах. Я тогда мечтала, чтобы вместо него появился взрослый парень или мужчина, похожий на актера Вячеслава Тихонова, который заглянул бы в наш подвал и увел меня оттуда навсегда. Но ничего не менялось. Занятия музыкой вырабатывают привычку, и уже перестаешь понимать, любишь ты то, чем занимаешься или делаешь это по инерции. Как-то незаметно для себя я поступила в консерваторию и большее время суток проводила там. Во-первых, много времени отнимали занятия и репетиции. А во-вторых, гуляние в прилегавшем к консерватории парке доставляло гораздо большее удовольствие, чем сидение в полутемной, пропитанной запахами кухни, квартире. Парк ярусами спускался к озеру, края которого летом были покрыты зарослями камыша, а зимой – легкой коркой льда. Я любила верхний ярус, с зелеными деревянными скамейками и круглыми, белыми, в ромбовидную дырочку, беседками, из которых было очень удобно видеть все и всех. Я знала, кто прогуливал лекции, кто с кем встречался, я наблюдала за личной жизнью сокурсников, не имея при этом своей. Да и что удивительного – я не была красавицей: слегка желтоватая кожа лица, очень темные, почти черные, без малейшего намека на завитки, волосы – весьма банальная внешность, над которой часто подшучивали, находя в

ней азиатские черты.

А мне нравился мой концертмейстер, Сергей Александрович. Его все звали Сережей, хотя он уже был женат, и они с женой ждали второго ребёнка. Сережа был статен, широкоплеч и кудряв. Кроме всего, он прекрасно играл и чувствовал солиста так, как мало кто из преподавателей. Попасть к нему было удачей, и мне в этом смысле повезло. Приближались госэкзамены. Мы репетировали допоздна, оставаясь в пустом классе опустевшего здания, и именно там, не отходя от рояля, прекратив репетицию минут на пятнадцать, я потеряла невинность.

- Ну вот, - сказал Серёжа, застегивая брюки, - теперь ты точно почувствуешь, как надо играть этот пассаж. А то тебе явно не хватало страстности. Но я чувствовал, что ты – девушка эмоциональная, и не ошибся. Давай-ка еще разок сыграем с начала.

Мы позанимались еще полчаса, пока нас не выгнала уборщица. Я шла мимо типографии, с ее непрекращающимся даже ночью треском. В голове звучал доведенный до совершенства пассаж. Выкрашенные синькой стены дома в этот поздний час казались серыми – под цвет моему заплеванному спермой настроению. Мне захотелось быстрее нырнуть в подъезд, чтобы спрятаться в своем подвале, который впервые казался убежищем, а не темницей.

Наутро мы узнали, что у Сережи родился сын. А еще через неделю я пришла на экзамен. Сережа выглядел невыспавшимся и помятым, но это никак не отразилось на его игре, и репетиция прошла отлично.

- А тебе к лицу это сиреневое платье. И поясок подчеркивает тонкую талию, пышную грудь. Настоящая Гретхен, - сказал он и улыбнулся своей открытой, ласковой улыбкой. – Если сыграешь так же страстно, как тогда, - он подмигнул, – получишь пятерку.

Мы вышли на сцену. Сережа ободряюще кивнул, я вступила и с первой ноты поняла, что играю ноты, но не музыку. То есть, конечно, это была заученная до автоматизма соната Моцарта, но мне не удавалось извлечь из инструмента душу, потому что моя собственная была в смятении. Играла не я, а мои пальцы. И только прозвучавшая в прозрачной моцартовской гармонии фальшивая нота вернула меня к реальности. Диссонанс был так резок и пронзителен, что я вздрогнула. И мне показалось, со мной вздрогнул весь зал. Я видела, как, болезненно вытянув губы, скривился Сережа, как мой профессор недоуменно поднял брови, я услышала шепот. Но Сережа продолжал играть, и я по-

шла за ним, про себя решив, что с последней нотой этой сонаты закончится моя не начавшаяся сольная музыкальная карьера. Я знала, что уже никогда не избавлюсь от страха перед сценой.

3

Конечно, осознание самонадеянности, с которой я принял решение стать композитором, пришло гораздо позже. Ведь до встречи с Гретой я никогда не был в опере или филармонии и даже не понимал, каких данных требует профессия музыканта. Но, к счастью, выяснилось, что у меня абсолютный слух и прекрасная музыкальная память. Учиться, перескакивая через классы, было весело и легко. Я, правда, никогда не получал пятерки на академических концертах, потому что не собирался становиться пианистом. Меня не волновала постановка рук или техника исполнения. В поставленную цель не входило безупречное владение инструментом и потому, выступая перед публикой, я не переживал по поводу каких-то технических ошибок и погрешностей. Я внушал себе и другим, что музыка – не в руках композитора, а в голове, и что его задача – дать исполнителям работу, а слушателям – удовольствие. Для себя же я желал признания и обеспеченного существования – с Гретой, конечно.

Я видел ее изредка, когда приходил на консерваторские концерты. Она играла в оркестре: черная юбка, белая блузка. Я никогда к ней не подходил и не заговаривал, понимая, что еще рано заявлять о себе – ведь несмотря на то, что мои оркестровые пьесы уже исполнялись на радио, я пока не создал ничего, достойного Греты и ее флейты.

В год моего поступления в консерваторию, Грета ее заканчивала. Я сидел сбоку у окна, в зале, где потом не раз звучала моя музыка, и представлял, что Грета играет не для экзаменационной комиссии, а для меня. Она потрясающе выглядела в сиреновом с черным лаковым пояском, платье и туфлях-лодочках. Такая хрупкая в талии, пышная в груди, женственная, праздничная. Концертмейстер, молодой, слишком плечистый для своей профессии парень, смотрелся рядом с ней неуместно атлетичным. Грета выглядела абсолютно спокойной, и была похожа на фарфоровую куклу: матовое, неподвижное лицо, ровная чёлка над миндалевидными, чуть раскосыми глазами. Она поднесла флейту к губам, заиграла, и я понял, что это было не спокойствие, а безразличие. Слушая музыку Моцарта, я поймал себя на том,

что почти оправдываю Сальери. Смог бы я, достигнув славы, терпеть рядом с собой гения? Смог бы изо дня в день подавлять в себе зависть к баловню судьбы, который так легко, изящно, не напрягаясь, создает совершенную гармонию просто потому, что Б-г поцеловал его, а не меня? Я совершенно расслабился, погружившись в математически выверенное совершенство этой музыки, но неожиданно вздрогнул от писклявой, фальшивой ноты. Грета держала флейту у рта, словно в прерванном поцелуе, растерявшиеся пальцы замерли над клапанами. Но аккомпаниатор продолжал играть свою партию, и Грета, очнувшись, пошла за ним. Теперь в ее игре звучало то же отчаяние, которое я услышал восемь лет назад, застыв у полуподвального окна.

- Так облажаться надо уметь, - прошептала сидящая рядом девушка. – Теперь ей не видать ни красного диплома, ни московской аспирантуры.

- Сама виновата, – ответила ее подруга, - нашла время романы крутить. Да еще с кем – с Сережей, с этим женатым бабником. Дура, ну что тут скажешь.

4

- Дура! – кричала мама, вытряхивая из пузырька последние капли валерианки. – На кой те черт этот ребенок? Просрала свою жизнь и нас не пожалела.

- Надо бы ему морду набить, - вторил отец, – да неохота в тюрьму садиться. Ну, может, хоть квартиру теперь дадут, все какая-то польза от ребенка будет.

Но он ошибся. Родителей оставили доживать в старом доме, а мне с дочкой дали однокомнатную квартирку в новом районе. К тому времени я уже успела устроиться на работу – играла в оркестре оперного театра. Мама приезжала, сидела с Наташенькой, помогала с варкой, стиркой. Она не знала, что все это время я продолжала встречаться с Сережей, при этом прекрасно понимая, что в смысле семейных отношений, мне рассчитывать не на что. Да и не такого мужа я хотела. В принципе, мне даже нравилась моя жизнь. Вернувшись домой с утренних репетиций, я всегда выходила на балкон и смотрела – сверху вниз – на играющих в песочнице детей, на кроны недавно посаженных деревьев. Я не понимала, как могла прожить столько лет, глядя на бесконечное мелькание коленок и подошв, дыша уличной пылью и подвальной сыростью. Единственное, чего мне не хватало, это

денег. По сути, моя зарплата не особенно отличалась от студенческой стипендии. Сережа помогал, но поскольку я не подала на алименты, помощь эта была нерегулярной и незначительной. В основном, он приносил или одежду, из которой выросли его дети, или продукты. В один из дней, укачивая Наташеньку в подаренной соседкой коляске, я поняла, что любовь надо оставить позади и цинично сосредоточиться на поисках мужа.

Я никогда не была высокого мнения о музыкантах: рядовые – в большинстве своем слишком много пили, талантливые – были заняты карьерой, а близкие к гениальности жили в замороченном, оторванном от реальности мире.

В нашем оркестре из этих трех категорий присутствовали первые две, но и из их числа наиболее приспособленных к семейной жизни уже разобрали. На флирты и ни к чему не ведущие романы у меня не было времени – после репетиций или концертов я бежала домой к дочке.

В тот вечер у выхода меня остановил Артур Симкин, композитор, чью одноактную оперу мы играли во втором отделении. Я никогда раньше с ним не разговаривала – только видела на репетициях. Со стороны он выглядел своеобразно: носил слишком зауженные брюки, рубашки ярких цветов и вечно съезжавший чуть набок парик. Музыканты подсмеивались, когда Артур, эмоционально размахивая руками, включался в процесс дирижирования своими произведениями, и этот рыжеватый парик чуть сдвигался, обнажая край ослепительной, покрытой испариной, лысины.

- Вам понравилась моя опера? – спросил он

Я удивилась: - А вы что, здесь у выхода опрашиваете всех оркестрантов?

- Нет, - серьезно ответил он, - только вас. Вообще-то, я хотел вас проводить. Не знал, как начать разговор.

- И давно вы собирались его начать?

- Вы даже себе не представляете, Грета, как давно я хотел это сделать.

Конечно, он тогда меня удивил. И не столько тем, что знал мое имя, но интонацией, к которой мы, музыканты, особенно чутки. Было в его голосе что-то собачье-тоскливое – отголосок одиночества напополам с надеждой быть приласканным. Он и пошёл рядом со мной по-собачьи – приотставая на полшага.

Оказалось, в детстве мы жили буквально на соседних улицах: ходили вдоль тех же вечно-голубых домов, глядели в типограф-

ские окна, подбирали каштаны. Правда, выяснилось, что Артур был младше меня, хотя из-за громоздких, с толстыми стеклами очков, выглядел старше своих лет. Говорил он, не переставая – рассказывал какие-то анекдоты, истории о своих друзьях и недругах, жаловался на завистников, сыпал шутками – я даже засомневалась, то ли хочет понравиться, то ли до такой степени нуждается в собеседнике.

Почему-то меня всегда считали скромной, даже застенчивой, а я не пыталась никого в этом разубедить. Так мне было удобно – меньше лезли в душу. Я не любила ее обнажать, выворачивать, и терпеть не могла, когда со своими душами это делали другие. Многословие – обратная сторона глупости и несостоятельности, когда вместо действий – бесконечные фразы, повторяющиеся расхожие шутки или приевшиеся жалобы. У мамы была подруга детства, часто заходившая к нам в гости. Еще совсем ребенком я спрашивала себя, как в этой миниатюрной женщине уместается такое количество обид и переживаний, как за каких-нибудь полчаса ей удастся выплеснуть столько эмоций на моих родителей? Вместе с ароматом польских духов «Быть может...», после ее ухода в нашей квартирке оседал запах досады и недовольства, который долго надо было выветривать. После этих визитов мама чувствовала себя усталой и сонной, а папа – раздраженным, в отличие от подруги, словно приобретшей второе дыхание и свежий цвет лица. Эти воспоминания навсегда оградили меня от желания иметь близких друзей с их навязчивой искренностью. Женская дружба мне, в принципе, доверия не внушала, в мужскую тоже верилось с трудом. Но с Артуром было удобно – ему требовался только слушатель, а не собеседник. Достаточно было подавать реплики – удивиться, восхититься, – чтобы он, вовлеченный в собственные переживания, продолжил монолог, им принимаемый за разговор.

Обычно, он говорил о себе, и воспринимал себя как личность, как частицу мира, у которой в этой жизни есть предназначение. Свое предназначение он видел в музыке, в ее создании и в согласии им написанного с красотой и устройством мира. Мне казалось, он страдает манией величия – как по поводу степени одаренности, так и в оценке своих композиций. В отношении мировой гармонии у меня тоже возникали сомнения. Мне вообще было непонятно, как можно столько говорить о музыке, вникая в детали, интересные только автору. Музыку надо слушать и чувствовать. Как и стихи. А не разбирать на секвенции, каденции и

тональные переходы. Мне не хотелось обижать Артура, поэтому я так и не ответила на его вопрос о том, понравилась ли мне его музыка. Собственно, она была не хуже и не лучше той, что сочиняли местные композиторы. Может, более сентиментальная, меланхоличная, и в то же время пафосная, как золоченые пуговицы на его модном пиджаке. Он и в жизни был такой – мог замереть от восторга, увидев красивый закат или багровый осенний лист, и тут же рассказать пошлый анекдот.

- Вот посмотри, - говорил он с придыханием, - эти прожилки на листе, почти пересохшие, как вены у старого, умирающего человека. В них уже застыла кровь. Как это передать в музыке? Ты задумайся, зачем вообще нужен этот лист – ведь во всем должен быть смысл. Вот как все понять и осмыслить? Я даже по этому поводу слова для романса написал.

На осеннем листке – прожилками
Восемь месяцев жизни отмечены.
От апреля – с последними льдинками
До ноябрьских ветров переменчивых.
Набираю листву ладонями,
На которых судьба начертана.
От октябрьского утра сонного
До порога – мне неизвестного.

- Артур, - удивлялась я, - как здорово! Ты это только что придумал? Экспромтом?

- Нет, вчера на профсоюзном собрании в консерватории. Я и мелодию набросал. Вот думаю, сделать обработку для тенора или баритона? А ты вообще знаешь, какая между ними разница?

Не дожидаясь ответа, он залился смехом и выпалил, - Баритон – такой же дурак, но на октаву ниже!

Его задевало мое недоумение по поводу подобных шуток. Он принимал его за надменность, а мы просто не совпадали. Но вместо того, чтобы перевести разговор на другую тему, он навязчиво пытался меня развеселить.

- Ты знаешь, каково расстояние между женскими грудями, если пользоваться музыкальной грамотой? Как? Ты же музыкант! Это – октава! Си-си.

И он хихикал, похотливо, как тринадцатилетний подросток. А мне хотелось нахамить и стукнуть его чем-то тяжелым. Несколько раз я пыталась оборвать наши отношения и уходила. Тогда он разыскивал меня у родителей, и мама нас всегда мирила, не

потому что ей нравился Артур, а потому, что считала меня безнадежной дурой с навеки испорченной репутацией. Артур, в свою очередь, объяснял мой «сумеречный» характер – следствием подвального детства, как и желтоватый цвет лица или привычку жмуриться на солнце.

- Ты – принцесса-улитка, тебе удобно в ракушке, одной, – убеждал меня Артур, сидя в тот осенний вечер на маминой кухне. - Вылезти из нее не хочешь, а вдвоем там тесно, вот потому ты ищешь повод для обид.

Он с шумом втянул с ложки борщ и закатил глаза: – Блаженство!

- Грета, иди сюда, - из комнаты послышался слабый, дребезжащий голос отца. После инсульта у него отнялась правая сторона и стала невнятной речь. Он полулежал на старом, с засаленной обивкой, кресле-кровати. Рядом на тумбочке стояла баночка с вымоченным черносливом и чашка с недопитым чаем.

- Уйди от него. Никчемный он – только о себе думает... Ни в доме что сделать, ни вас обеспечить. Болтун. Прошу тебя, подумай, пока ты еще молода.

- Папа, мне кажется, он любит меня. Как умеет. Просто любят все по-разному. Вон Сережа меня, вроде, любил, а толку? Подожди, я сейчас вернусь – там шум какой-то.

Я вернулась на кухню. Артур, красный от злости, уже был в прихожей.

- Вы – мелочные люди, обыватели, мещане! – кричал он, не попадая ногой в ботинок. – Конечно, ты не могла вырасти другой в доме, где материальное важнее духовного.

- Что случилось? – спросила я, пытаюсь придержать его за рукав плаща.

- Спроси у своей мамы, - огрызнулся Артур и захлопнул за собой дверь.

5

С детства нас с братом приучали заканчивать начатое дело: дочитывать книжку, даже если она скучна и плохо написана, решать задачку на встречное движение пока не сойдется с ответом, доедать все, что положили в тарелку. До середины жизни я верил, что только так и правильно жить, что именно постоянное насилие над собой может привести к достижению цели. С годами я в этом засомневался. Но было поздно – лучшие годы оказались

позади, и то, что в молодости могло принести удовольствие, сейчас уже не имело смысла. То, на что было потрачено столько времени и сил, оказалось не столь уж важным и необходимым. Например, женитьба на Грете. Если я и женился по любви, то по остывающей. Да, я уже тогда понимал, что мое мальчишеское обожание было надломлено некоторым разочарованием от сыгранной Гретой фальшивой ноты и затем появлением ребенка, но я женился – по инерции. Я не умел останавливаться или менять цель на полдороги.

Каждый раз глядя на Наташу, я видел ее сходство с Сережей: те же светлые кудрявые волосики, вечно румяные, вспотевшие щечки. Так же, как ее отец, она была добродушна, всем улыбалась, и даже смеялась, как он – будто захлебываясь. Впервые я увидел её еще будучи студентом. Я шел на занятия через парк, а Грета сидела на скамейке и жмурилась, подставив лицо июньскому солнцу. Рядом на траве стояла маленькая белобрысая девочка – полуголая, в маечке, – и писала. Прозрачные струйки стекали по ее пухлым кривоватым ножкам, а она беспомощно улыбалась. Я почему-то вспомнил об упавшем на мой балкон голубе, которого несколько месяцев безуспешно vyhаживал. Я насильно его кормил, перевязывал крыло, а он умер, и, вернувшись с какого-то позднего концерта, я застал его уже окоченевшим. До сих пор не могу себе объяснить связь между дохлой птицей и обмочившимся ребенком, но именно в тот момент, я простил Грете измену, о которой она, естественно, не подозревала.

- Мамаша, у вас ребенок описался, – сказал я ей.

- Я знаю. Спасибо, – ответила она.

Солнечные лучи окрасили её волосы в рыжеватый цвет.

Я часто завидовал невозмутимости Греты, умению скрывать эмоции. Иногда я нарочно пытался её задеть, обидеть, вывести из себя, но она лишь медленно подрагивала своими мраморными веками и пристально смотрела на меня – спокойно и недоуменно, как тогда, в детств: – Мальчик, ты что, потерялся?

Да, я искал себя, пытался понять, обладаю ли талантом, позволяющим быть замеченным, узнаваемым, знаменитым, и пришел к неутешительному выводу – серьезная музыка нужна единицам, а талант – вовсе не гарантия успеха, особенно у женщин. Много лет спустя, уже разведясь с Гретой, я вновь и вновь убеждался в женской меркантильности, неспособности принять творческого человека таким, какой он есть.

Моя теща, поначалу, была рада замужеству дочери, но в душе не одобряла невыгодную для Греты разницу в возрасте. Тем не менее, она искренне старалась выказать свое расположение, награждая меня несколько двусмысленными комплиментами.

- Ничего-ничего, - приговаривала она, заботливо наливая наваристый борщ в мою тарелку, - смотри, как быстро ты лысеешь. Вот и выглядишь старше своего возраста. Да и очки не молодят. Конечно, постоянно ковыряться в нотках – тут и ослепнуть недолго. Ничего-ничего, очки, они солидность придают. А вот Греточка у нас молодо смотрится, порода такая.

Я давился борщом, а она продолжала: - Чем успешнее муж, тем моложавее жена.

- Мама, ты о чем? – Грета непонимающе распахивала глаза.

- Ну, как же. Чем больше муж зарабатывает, тем меньше морщинок у жены, потому что не считает каждую копейку. Что нужно – купит и себе, и ребенку, и в дом. Хороший муж, он об этом в первую очередь думает.

- Это вы в мой адрес камни кидаете? - не выдерживал я.

- Ну, зачем сразу камни? Мы же одна семья. Кто правду скажет, если не я? Вот почему бы тебе песни не писать? За них, я слышала, платят побольше, чем за симфонии да оперы всякие. Я и сама серьезную музыку люблю - Греточка приучила. Но ведь мог бы для заработка чего-то попроще сочинить? Смотри, эстрадный композитор..., забыла фамилию, ну, он еще песню эту, апрель-капель написал, её по радио крутят целыми днями, – на какой машине шикарной разъезжает, а ты всю одежду пообтирал в автобусах. Разве это справедливо?

Вкусная еда располагает к миролюбию, ощущение сытости делает человека ленивым, ему не хочется ссориться, выяснять отношения. Я ел борщ, закусывал хлебом домашней выпечки и терпел. Позже я назвал этот день – днем терпимости.

Не заладилось с утра, когда в Союзе композиторов мне отказали в путевке в Дом творчества. Секретарша, милая одинокая женщина, с которой у меня сохранялись более чем близкие отношения еще с холостяцких времен, рассказала, что путевку отдали музыковеду Вексману, этому самодовольному гусю. В тот же день я встретил его перед заседанием. Он шел, как всегда загребая ногами внутрь, задрав голову, обрамленную полувеночком седого, старческого пуха. Застыв на одной ноге и отставив другую, как цапля на болоте, он оглядел зал. Когда его взгляд

уткнулся в меня, я подошел к нему и спросил: «И не стыдно вам, Семен Яковлевич, чужое брать? Зачем вам Дом творчества, если вы сами ничего не творите? Вы свои статейки и книжки можете дома на кухне писать.»

- А вы хотите сказать, что творите? Да уж, натворили в последней симфонии – особенно во второй части, помните, где у вас гобой, как мартовский кот мяукает. А если еще убрать эту оригинальную оркестровочку, то обнаруживается сильное сходство с темой одного весьма известного композитора – не будем называть его имени – вы и так меня поняли. Впрочем, если вы настаиваете, я могу его обозначить в статье, которую как раз собираюсь писать в Доме творчества.

Он прошел в зал, намеренно задев меня своим вздутым портфелем, а я все заседание ловил на себе насмешливые взгляды коллег и мучился, физически ощущая бродившую где-то под сердцем желчь.

На заседании хвалили выскочку Трухина, хотя все знали, что инструментовки за него делает кто угодно, даже студенты. Но Трухин – племянник министра культуры, и это тоже всем известно. О том, что мой цикл романсов получил одобрение самого Хренникова не было сказано ни слова. До вечера я тесно общался с секретаршей Танечкой, единственным сочувствующим мне человеком, а потом поехал к теще – Грета уже несколько дней жила у нее, объясняя это необходимостью ухаживать за больным отцом.

Я не был голоден – Татьяна нажарила сырников – но отказаться от тещино борща было бы глупо. Готовила она невероятно вкусно – жаль, Грета не унаследовала её таланта, хотя поесть любила. И вот я сидел за столом и слушал обычный набор тещиных жалоб – лекарства дорогие, врачи ничего хорошего не обещают, в квартире требуется ремонт, мебель новую не мешает купить – эта разваливается, Наташеньке нужна шубка, да и Грета пообносилась.

Теща ждала реакции, а я молча ел горячий борщ цвета гнилой вишни.

- Вот сколько авторских ты получил за свою симфонию? – не выдержала она. – Небось, копейки. А эстрадникам, которых ты так презираешь, за каждое ресторанное исполнение платят. Тут на кооператив накапает, там на манто жене.

- А то, что моя симфония, над которой я год работал, посвящена моей жене, вашей дочери – для вас что-то значит?! – Я бро-

сил ложку на стол, и она, отскочив, упала на пол, по траектории забрызгав вышитую руками тещи скатерть.

- Что? Ты подарил своей жене симфонию?!! – завопила она, и её круглое лицо с аккуратными круглыми ушками за щеками стало похожим на сдвоенный вишневый вареник. – Да на черта ей твоя симфония! Лучше бы ты подарил ей сережки. Бриллиантовые! Или хотя бы жемчужные.

- Невежественная вы женщина. Мещанка! Бетховен, Чайковский тоже посвящали женщинам свои произведения, и это было для них дороже золотых цацек. Кто бы вообще помнил их имена, если бы не посвященная им музыка?

- Так ты же не Чайковский, - выкрикнула она мне в лицо. - Ты – Симкин! Чувствуешь разницу?

Когда Грета выбежала из комнаты, я уже был в прихожей. Она пыталась меня удержать, но я не собирался разменивать свой талант на мещанские ценности. Нельзя достичь цели, глядя себе под ноги. А Грета со своей семьёй становилась препятствием, балластом. И я ушел.

6

Артур ушел, хлопнув дверью, и никто не побежал вслед. Стоя на кухне, я смотрела, как он брел, огибая лужи. Лица его из подвального окна не было видно; походка близорукого человека - полусогнутые ноги, сгорбленные плечи. Таким я его запомнила.

Через много лет, став женой Сережи и переехав в Москву, я увидела Артура на фестивале «Московская осень». Исполнялась его симфония, а потом он вышел на сцену – совсем другой походкой – и стоял там долго, дольше, чем того требовала ситуация. Я подумала, что в моменты счастья человек невероятно меняется. И Артур, с букетом в руках, купающийся в аплодисментах и признании публики, пожимающий руку дирижеру, был человеком, вымечтавшим свое будущее.словно прочитав мои мысли, Сережа сказал: « Вы не смогли ужиться, потому что для тебя музыка – только профессия, а для него – все. Если бы ты захотела это понять, то приняла бы его со всеми странностями и недостатками». Но существовала еще одна причина: когда на меня смотрел Сережа, я чувствовала себя желанной, и мне хотелось раздеться. Во взгляде Артура было собачье обожание и похоть, от которых хотелось защититься, застегнувшись на все пуговицы.

В наш с ним первый и единственный совместный отпуск мы поехали в Кисловодск. Июль оказался дождливым и холодным. Я чувствовала себя неуютно, мерзла и скучала, но Артур наслаждался всем и особенно природой. В один из дней, по дороге к источнику, он сорвал примятую чьим-то каблуком ромашку, сунул её мне под нос и сказал: «Невероятно, как эти незатейливые лепестки любят жизнь. Самая яркая красота – незаметная. Люди топчут её, а потом жалуются на серость и однообразие мира.» Он приходил в экзальтацию от любой мелочи – например от того, что лежал в той же нарзанной ванне под номером пять, в которой в 1915 году отмокал Фёдор Шаляпин – но так же легко впадал в уныние от чьего-то недоброго слова или взгляда. И вот эта ранимость в сочетании с цинизмом и нездоровой тягой к женскому телу меня раздражала и отталкивала. Там же в санатории, в ожидании процедуры, мы увидели сидящую напротив девочку лет одиннадцати. У нее было славное, открытое личико. Светлое ситцевое платьице, едва прикрывающее коленки, крепко обтягивало её неоформившуюся фигурку.

И вся она была необыкновенно нежная и солнечная, чем и обращала на себя внимание. Я любовалась ею и думала о Наташеньке. А потом девочка внезапно смутилась, покраснела и сдвинула коленки. Я посмотрела на сидящего рядом Артура и перехватила его похотливый взгляд. Именно тогда я решила, что рано или поздно нам придется расстаться.

Но Артур об этом не догадывался, и потому возненавидел мою маму, именно её считая причиной развода. А она жалела о том кухонном скандале, особенно, когда от Сережи ушла жена, и он переехал ко мне. Если для Артура мама готовила его любимый борщ и котлеты по-киевски, то при появлении Сережи она уходила к себе и демонстративно включала телевизор, бормоча: «Интересно, где он был, когда ребенок в нем нуждался? А теперь осчастливил, пришел на все готовое и принес с собой свою расхристанную жизнь». Через некоторое время Сереже удалось найти работу в Москве, и мы все, сделав сложный квартирный обмен, переехали. Папы уже не было в живых, Наташа училась в Новосибирске, а маме пришлось поселиться с нами. Она вышла на пенсию, но сидеть дома не хотела и устроилась подрабатывать в больничную столовую на Шаболовке. Я преподавала в музыкальной школе неподалеку и заходила за мамой по дороге домой, - ей уже было трудно ходить.

- Знаешь, Грета, - говорила она, - оказывается, душевноболь-

ные гораздо доброжелательнее и вежливее нормальных. К ним, конечно, привыкнуть нужно.

А я поняла - мы их считаем ненормальными и потому разговариваем снисходительно, дескать, ты же дурак, что с тебя взять. А они точно так же принимают нас за ненормальных – потому улыбаются в ответ. И смотрят все равно в себя, потому что окружающие им неинтересны.

Недавно мама рассказала, как к ней подошел пожилой, очень близорукий человек и попросил передать повару не добавлять уксус в борщ.

- Вы здесь борщ варить вообще не умеете, - сказал он укоризненно. – Вот я знал женщину, тещу мою бывшую, её борщ до сих пор мне снится по ночам, и я просыпаюсь, обливаясь слюной.

Он захихикал, и мама узнала в нем Артура.

7

При всей моей антипатии к Вексману, я не мог не признать его эрудицию и чувство юмора. Как-то, встретив меня в консерватории – мы оба сидели в экзаменационной комиссии – он сказал: « Вот вы, молодой человек, все стремитесь сделать карьеру, даете волю амбициям, распикиваете локтями конкурентов. Вы уже старший преподаватель. Наверняка хотите стать доцентом, потом академиком? Ну, допустим, воплотите вы эту мечту в реальность. А потом что? Знаете, о чем мечтает достигший всех почестей академик? О том времени, когда он был молодым и неизвестным, но зато его желудок работал регулярно. Вот такая низменная правда жизни.»

Каждый раз оказываясь в больнице, я невольно вспоминаю его слова. Вот и сейчас медсестра поинтересовалась, принял ли я слабительное перед процедурой. А сама, даже не дослушав ответ, уже тычет иглу в вену и опять не попадает, и снова хладнокровно втыкает её, нисколько не смущаясь причиняемой мне боли. А ведь это не какая-то провинциальная, а столичная лечебница, санаторное отделение клиники неврозов. Я люблю капельницы, с нетерпением жду момента, когда прозрачная жидкость начинает двигаться в прозрачном тросике, с каждой каплей вытесняя тревогу и страх. Не знаю, что мне вводят, но всю ночь я сплю, а днем нахожусь в приятной полудреме. Мне так хорошо и спокойно, что возникает желание пребывать в этом

состоянии всегда, не возвращаясь в ежедневную суету внебольничной жизни.

Последние тридцать лет – это пребывание в однокомнатной квартирке в районе станции «Аэропорт». После переезда в Москву и пятилетнего кочевания по общежитиям и съемным квартирам, она показалась мне желанным прибежищем. Так, наверное, радовался Колумб, увидевший полоску земли после многомесячных скитаний. Правда, при ближайшем рассмотрении, эта земля оказалась не Индией, а кучкой островов без намека на бесценные пряности, но поначалу радость обретения затмевала разочарование от несоответствия достижения и затраченных на него усилий.

Не ожидая лифта, я, на одном дыхании, взбегал на свой этаж, открывал дверь и упивался тишиной, нарушаемой только гулом полупустого холодильника и воркованием голубей над балконом. Я не особенно занимался благоустройством квартиры: во-первых, потому что проводил много времени вне дома, а во-вторых, потому, что откладывал деньги на черный день. А потом рынок обвалился, и все сбережения превратились в ничто. Мать Греты, эта меркантильная женщина, оказалась права дважды: во-первых, симфоническая музыка не приносила практически никаких доходов, а во-вторых, я действительно быстро старел. Болезни не уходили, а становились хроническими. К камням в почках добавилась катаракта, затем началась стенокардия, приведшая к инфаркту. Но самым неожиданным и неприятным стало частое состояние тревоги, еще более провоцирующее и усиливающее симптомы всех моих болячек. На сеансе гипноза у профессора Синявского выяснилась истинная причина нервного срыва, от которого я уже никогда не смог избавиться.

В то декабрьское утро я прогуливался вокруг санатория, где восстанавливался после инфаркта. Я не люблю холодов, но подмосковная природа необычайно хороша именно зимой. Высокие сосны, распластанные на снегу ветви елей, всё это сочетание строгой белизны, сумрачности деревьев и прозрачности воздуха всегда настраивало меня на философский лад, а какая-нибудь нахохлившаяся птичка или застрявшая в сугробе шишка могли привести в состояние восторга и умиления.

После столовского воздуха, насыщенного парами каши и общепитовского чая, на улице дышалось необыкновенно хорошо. Я шел по аллее к лесу. Внезапно, в тишину, нарушаемую только скрипом моих шагов, ворвалось собачье рычание. Я повернул

голову и увидел лохматую собаку, злобно грызущую что-то у стоящей неподалеку скамьи. Она мотала головой, и это что-то свисало из её пасти и тоже моталось. А какие-то разорванные, недогрызенные кусочки падали на снег и пачкали его, оставляя кровавистые разводы. Я закричал, схватил первую попавшуюся палку и запустил ею в собачью спину. Собака отбежала – то ли испугавшись, то ли насытившись, а я стоял, вмерзнув в наст – и не решался подойти ближе.

С сосны соскользнула белка и, метя серым хвостом, подбежала к бурой, с остатками шерсти, кучке. Потом начала метаться, застыла на минуту, и судорожно стала собирать передними лапками кусочки месива. Она оттаскивала их в сторону и зарывала под развесистым кустом. Белка продолжала носиться взад и вперед не больше десяти минут, но мне показалось, что этому не будет конца. Меня затошнило. Я прислонился к спинке заснеженной скамьи и стоял, не двигаясь, пока снова не ощутил биение своего остановившегося сердца.

До обеда я сидел в комнате, переписывая с черновиков струнный квартет. Черные ноты разбегались на бумаге, как собачьи следы на снегу. Не отдавая себе отчета, я заменял благозвучные аккорды на диссонансы, пока гармония репризы не изменилась до неузнаваемости. От усталости слезились глаза и болела голова. Я прилег, но почувствовал, что мне нельзя оставаться одному и пошел в столовую.

Разносили обед. Я пододвинул к себе компот из сухофруктов и зачем-то стал помешивать его ложечкой. Она стучала о края стакана, компот пролился на белую скатерть.

- Что вы здесь гадите? Поаккуратнее нельзя? – сделала мне замечание официантка. – А еще творческая интеллигенция называется.

Я не ответил – по двору, опустив мослатую голову, бежала та самая лохматая собака.

- И правда, - с укором сказала моя соседка по столику, пышнотелая дама, складчатую шею которой обхватывала массивная, похожая на собачью, серебряная цепь, - только сели покушать, а уже грязно, неприятно.

Я посмотрел в её тарелку, где лежали обглоданные перепонки куриного жаркого, и почувствовал нестерпимую тошноту, как утром, когда смотрел на растерзанного бельчонка. Моему оперированному сердцу стало не хватать воздуха. Последнее, что я запомнил, было возмущенно-испуганное лицо пухлой дамы

и свесившаяся на мой лоб серебряная, в крупных кольцах, цепь.

По мнению профессора Синявского, именно тот, вполне прозаичный эпизод из жизни животных, повлиял на мою впечатлительную натуру столь нежелательным образом. Я уехал из санатория вечером того же злополучного дня, но с тех пор панические, тревожные состояния подстерегают меня с постоянством ненавистной, но верной женщины, с которой только смерть в состоянии разлучить.

Я стараюсь лечь в стационар при каждом удобном случае. Мне там спокойнее. Не надо думать о бытовых проблемах: готовке, уборке, передвижении по городу. Квартирка, в которой я провел столько приятных, плодотворных лет, стала ненавистной из-за новых соседей-жлобов, которыми полнится этот мир. Сверху доносится постоянный глухой стук – долгими дождливыми вечерами мне начинает казаться, что там заколачивают гробы. А внизу поселилась семья алкоголиков, от воплей которых невозможно уснуть. Конечно, здесь, в больнице, тоже хватает идиотов, но в нашем отделении не лежат сумасшедшие. Тут, в основном, или люди с хрупкой психикой, или слабоумные. Но последних почти не выпускают из палат. Хотя вчера один проник в мою комнату. Я обнаружил его роющим в тумбочке и испугался, что он прольет кисель на оставленный сверху клавир моего концерта. Но он только спросил, где улица Неглинная. Я указал на дверь, и он, вежливо поблагодарив, вышел. Тут еще бродит один старик – на вид ему лет девяносто – он постоянно спрашивает, который час. Мне кажется, в таком возрасте это уже не имеет значения, если только кто-то сверху не сообщил ему точную дату ухода в мир иной, и теперь он сверяет оставшееся ему время. Его спокойствие и отрешенность поразительны. Видимо, он завершил земные дела и смирился с неизбежным. И это еще раз подтверждает мою догадку – простому, нетворческому человеку легче прожить жизнь, в которой, может, и не было взлетов, но не было и терзаний, падений и вечной неудовлетворенности собой. Соответственно, и расстаться с такой жизнью легче, потому что нет ощущения невостребованности таланта, не мучает осознание ошибочно избранного пути. И чтобы не думать об этом, я продолжаю сочинять, хотя уже пять лет мои новые произведения не покупают, прежние – не исполняют. А я знаю, что пишу лучше, чем в молодости, потому что музыкальную мысль рождают боль и страдания, которых сейчас у меня больше, чем достаточно. И красота.

Вчера вечером я вышел во двор – санитарка попросила вынести ведро с мусором. Я спустился по цементным ступенькам, толкнул дверь и замер – во все небо над городом полыхал закат. Крыши унылых, серых зданий отсвечивали оранжевым пламенем, а плывущие в этом зареве облака светились изнутри и непрерывно меняли очертания. И я понял, как инструментовать заключительную часть концерта. Я слышал зовущую тему флейты, вздохи виолончелей и аскетичный шелест ударных.

На скамье, видимо ожидая кого-то, сидела женщина. Что-то в её позе, наклоне головы напоминало Грету, но моя близорукость и катаракта мешали разглядеть её лицо. Она подняла голову и, глядя на заходящее солнце, сощурилась. Из дверей, прихрамывая и тяжело переставляя опухшие ноги, вышла старушка – иногда она работала у нас на раздаче. Женщина поднялась ей навстречу, взяла под руку, и, опираясь друг на дружку, они медленно пошли к троллейбусной остановке.

Опорожнив мусорное ведро, я поднялся в палату. Под матрасом, спрятанный от неожиданных гостей, лежал клавиш концерт для флейты с оркестром. *Посвящается Гретхен* – написал я на титульном листе.

Завтра меня выписывают – лечащий врач считает, что я вполне смогу обходиться без стационарного лечения.

- Ваше лекарство – это музыка, - сказал он.

И я не стал с ним спорить, потому что даже себе самому боюсь признаться в том, что музыка меня предала. А я, не простив, так и не научился без нее жить.

МОСКВА, ВЕНА И ДРУГИЕ МИРОВЫЕ СТОЛИЦЫ

Леонид Школьник

КАЗУС БЫКОВА

Парадокс писателя и журналиста Дмитрия Львовича Быкова начинается с его фамилии. Российские антисемиты любят напоминать о том, что по отцу он - Зильбельтруд. Сам Дмитрий предпочел более «спокойную» фамилию мамы, Натальи Быковой, учительницы русского языка и литературы в одной из московских школ.

На вопрос, не собирается ли он уезжать из России, Быков привычно и уверенно отвечает:

- Где родился, там пригодился. Я люблю Россию, мне здесь интересно...

Да, он любит Россию. Но и тут не обошлось без казуистики. Года три-четыре назад вышел в Москве роман Дмитрия Нестерова "Скины. Русь пробуждается" – этакая своеобразная ода русскому фашизму. Нестеров рассказывает о том, как молодой скинхед пришел к расовой теории. Автор «оды» ярко и натуралистично описывает сцены убийств и избиений скинхедами граждан неславянского вида. Никакого подтекста в романе нет - обычная нацистская агитка с публикуемым в конце книги образцом заявления для вступления в нацистскую же партию.

Дмирий Быков об этой книге написал следующее:

«Как реагировать на книгу Нестерова - непонятно. Это очень сильный роман - хочется сказать, физически сильный: люди крепкие, придающие большое значение своей физиологии (мускулам, сексу, реакции) обычно пишут хорошую, столь же физиологичную прозу... Ну, хоть Лев Толстой... Это я не к тому, что из Нестерова получится новый Толстой, а к тому, что из скина, столь внимательного к политике и к жизни плоти, может получиться настоящий писатель. ...Поразительно мощная сцена избиения беременной женщины в поезде (вообще, все драки

написаны хорошо, со знанием дела). Великолепная история с умирающей кошкой, которую герой, отчаянный борец за чистоту расы, самоотверженно выхаживает: натуралистично, страстно написано - не хуже, чем у Лимонова в "Укрощении тигра" история с котенком. Бойцы всегда сентиментальны, кто же сомневается». Чего здесь, в этих нескольких строчках Быкова-рецензента, больше: цинизма, эпатажа или бесчеловечности?

Чего в нем, в Быкове, больше: желания «высунуться», выделиться из толпы, отгородиться от «не титульной нации» и, более того, «наехать» на нее, что всегда было присуще полукровкам типа Примакова или Жириновского?

Но, возможно, мини-рецензия Быкова к роману скинхеда от литературы – всего лишь «ошибка молодости»?

Увы. Многим из израильтян памятни слова Быкова на открытии Фестиваля русской книги, проходившего в рамках Международной книжной ярмарки в Иерусалиме в феврале 2007 г. Во время первого же своего выступления Дмитрий Львович высказал мнение, что идея национального государства себя исчерпала, а Израиль – историческая ошибка: «Задача соли - плавать в общем супе, а не собираться в одной солонке». И вообще, как считает Быков, «сама идея Израиля, которую часто пытаются выдать за возвращение народа на его исконную территорию, к его национальным святыням и национальному же образу жизни, представляется мне ложной, как всякое возвращение...» Не нравится Дмитрию и национальный характер еврейского государства: «Призыв к отказу от ассимиляции – есть, в сущности, призыв к безнадежной и унылой провинциальности...»

Не зря, наверное, эти и подобные высказывания Быкова и его российско-еврейских коллег Арбатовой, Кабакова, Улицкой немедленно подхватил не очень дружественный евреям сайт «Ислам.ру», сообщивший об этом «казусе Быкова» буквально следующее: «Вечером того же дня... публика шепотом спрашивала друг у друга: «А вы слышали антисемитские выступления Дмитрия Быкова сегодня на ярмарке?»

Однако Быков и здесь подстелил соломку: «Разумеется, всё сказанное мною предельно субъективно, и я хорошо представляю себе реакцию классического «русского израильтянина», обретшего в Израиле новую идентичность, на эти слова. К сожалению, такая реакция служит лучшим – и отнюдь меня не радующим – подтверждением моей правоты».

«Подтверждение правоты»? «Историческая ошибка»? Кошь

скоро Дмитрий Львович со товарищи считает появление нашей страны на карте мира «исторической ошибкой» (кстати, так и иранский фюрер Ахмадинежад считает), я хочу несколько остудить пыл российской писательской элиты - остудить простыми и сухими цифирками наших реалий.

В 2007 году экспорт Израиля составил \$48.6 миллиарда. Что мы экспортировали?

Машины, приборы и оборудование, программное обеспечение, обработанные алмазы, сельскохозяйственную продукцию (это из пустыни!), химикалии, текстиль, одежду.

Население Израиля – семь млн. человек. Сравним эти показатели с показателями России, в которой живет 140 млн. человек (в 20 раз больше, чем в Израиле).

Экспорт России в 2007 году составил \$365 млрд. Из них 70% - углеводороды, остальное - древесина, сталь и оружие.

Несложный подсчет показывает, что на душу населения Израиль экспортирует в 2,66 раза больше, чем Россия. А с учетом того, что израильский экспорт - не черная жижа в бочках, а высокие технологии, то России только для того, чтобы сравняться с Израилем по этому показателю, пришлось бы экспортировать продукции «хай-тек» на сумму около **триллиона** в год!

Поди разберись, чья тут «историческая ошибка» - Израиля или бесспорно талантливого русского писателя и журналиста Дмитрия Львовича Быкова?

«Мне всегда нравилось, когда меня называли “журналиста”, - как-то изрек Дмитрий. - Журналиста - это тот, кого ненавидят, настоящий журналист должен вызывать ненависть и раздражение. Если после публикаций и передач остается благостное впечатление - это плохой журналист, он “не цепляет” аудиторию».

Да, своей парадоксальностью Дмитрий Быков аудиторию «цепляет». Научился. «Зацепил» израильтян речью об «исторической ошибке создания еврейского государства». «Зацепил» своим интервью одному из христианских сайтов о бережном отношении к православию. «Зацепил» своими стихами о судьбе гонимого племени иудейского, с которыми хочу сегодня познакомить читателей.

И потому – никаких выводов, никаких оценок. Думайте сами, решайте сами – в чем казус Быкова и есть ли он вообще.

Дмитрий Быков

*“В сем христианнейшем из миров
Поэты - жи́ды”.*
Марина Цветаева

173

ОТ РЕДАКТОРА

К концу 40-х годов большинство переживших войну евреев в России уже не говорило на идиш и утратило еврейский акцент. Это устранило последние препятствия для смешанных браков, и в стране заметно выросло число новых граждан, нетвердых в своей этнической идентификации. Вообще говоря, это явление обычное для больших империй. И во всех империях в прошлом эти граждане автоматически присоединялись к ведущей национальной группе, забывая о деталях своего происхождения.

Но в СССР уже с 30-х годов ничто не определялось автоматически. Сталин считался теоретиком национального вопроса, и по ходу решения этого вопроса в документы, удостоверявшие личность каждого человека, была введена неизвестная раньше графа “национальность”, означавшая этническое происхождение (“пятый пункт”). Неизвестно было ли это одно из его гениальных предвидений или просто игра судьбы, но этот “пункт”, административно отделив одних от других как раз во время нацистских преследований в Германии, приобрел впоследствии решающее значение в драматических судьбах как самих его (“пункта”) носителей, так и истории СССР в целом. Все еще остается недооцененной роль этого “пункта” в истории Израиля.

Все эти тектонические сдвиги произошли слишком недавно, чтобы муза истории могла произнести свой окончательный приговор. И бывшие участники этого процесса все еще соревнуются в запоздалых пророчествах, призванных подтвердить фундаментальную правильность избранной ими однажды позиции, определившей впоследствии их гражданство. Особенно остро эта необходимость просыпается в тех, кого “пятый пункт” не пригвоздил намертво к верности избранному народу. Исторический континент, давший на десятилетия совместную жизнь обеим сторонам в споре, разломился, и трещина, зияющая между ними, расширяется с каждым днем, грозя стать непреодолимой.

В вышеприведенной статье Леонида Школьника “Казус Быкова” читаем:

“Многим из израильтян памятни слова Дмитрия Быкова, что

идея национального государства себя исчерпала, ... а государство Израиль – историческая ошибка.”

Автор так серьезно возражает Быкову, как будто тот постоянно живет в государстве, чье образование не было исторической ошибкой. Здесь ясно видно, в каких разных мирах (а не только государствах) живут и пишут эти два разных человека. Для Л.Школьника в криминальной фразе важно (и неприемлемо) утверждение, что “Израиль – историческая ошибка”, потому что он живет в Израиле и хочет продолжать жить. А для Быкова, очевидно, содержание фразы исчерпывается ее зачином: “Многим израильтянам памятни слова Быкова...” - “Ага, памятни” – значит, его клоунада удалась! Значит, его слова израильтян “зацепили”! ...Потому что для него Израиль и весь израильский народ всего лишь точка приложения его неистощимого остроумия...

А что Быков думает об исторических ошибках? Думает ли он о них, вообще? Не ошибся ли и Моисей с самого начала, когда вывел свой народ из Великой державы – Египта - и обрек его на “провинциальное существование”. Если поверить Быкову, этот исход и до сих пор заметно сказывается на евреях:

*“Были они горбоносы, бледны, костлявы,
Как искони бывают Мотлы и Хавы...”*

Где он таких евреев видел? На дне своего подсознания?

... Нет, он видел их в русской классической литературе.

Действительно, именно гуманная русская литература, которая с детства стала частью нашей природы, создала в нас самих такое стойкое представление о какой-то второсортности, физиологической хрупкости евреев, которое никак не соответствует ни нашему самочувствию, ни статистике. Игорь Губерман даже еще ярче выразил это ощущение в своем шуточном стишке о евреях-пиратах:

*Два еврея тянут шкоты,
Как один антисемит...*

Такой стереотип тянется от XIX века, когда русские евреи жили в черте оседлости и чем-то действительно от “коренного населения” отличались (может, бледным цветом лица?). К добру ли, к худу, массовый воинский призыв во время двух мировых войн и Российская революция сделали евреев неотличимыми от коренного населения во всех отношениях, включая даже общероссийское грубое пренебрежение к правам и достоинству личности. Однако, это мнимое врожденное неравенство продолжает тяготеть над детьми от смешанных браков, часто

порождая у них комплекс неполноценности или чрезмерную ранимость.

Я не уверен, что в других европейских странах есть такой странный животноводческий термин как “полукровка”, и что такое определение должно влиять на поведение индивида. Но я слишком часто убеждался, что в России это может предопределить всю жизненную траекторию человека. Число таких людей в России давно уже перевалило за пол-миллиона, так что они образуют целый народ, ярко проявляющий себя в русской культуре, науке и политике. Несмотря уже на исчезновение пресловутого пятого пункта в паспорте, “коренное население” их всегда отличает и не стесняется громко об этом напоминать.

Как бы то ни было, Москва когда-то действительно была одной из мировых столиц, и наряду со смешением национальностей, в ней происходило и плодотворное смешение культур, подобно тому, как это происходило в другой мировой столице, в Вене, до катастрофы 1-й Мировой войны.

Прозаический отрывок романа Нины Воронель “Секрет Сабины Шпильрайн”, публикуемый в этом же выпуске журнала, задевает тот момент в европейской истории, когда венская культурная атмосфера произвела Зигмунда Фрейда, понятие о подсознании и **психоанализ**, вскоре завоевавший весь мир.

Та же венская атмосфера универсальной столицы, наряду с великими писателями, философами и учеными породила народных вождей и пророков – “каждому свое” - Теодора Герцля и Адольфа Гитлера. Исторический вопрос о еврейской судьбе и предназначении в Вене того времени стоял так же остро, как и теперь в Москве.

В Москве этот устарелый спор сейчас повторяется в таких подробностях, как будто не было 1-й и 2-й Мировой войны и Холокоста, как будто не было в России массовых движений 70-х и 90-х, когда большинство евреев Москву уже покинуло, предпочтя все-таки для своей неповторимой жизни “провинциальную ограниченность”.

Дм. Быков, спустя сто лет, беспечно повторяет слова Хулио Хуренито (персонаж из одноименного романа Ильи Эренбурга) о евреях, как “соли Земли”, которую желательно рассыпать по тарелкам, а не собирать в солонку. Он цитирует Эренбурга с такой непринужденностью, будто ничего не произошло за эти сто лет. Как будто Быкову, вместе с Эренбургом и другими

“гражданами мира”, предстоит еще есть из этих тарелок, а не быть съеденными. Как будто быть “вечным лакмусом” или “индикатором свинства любой эпохи”, как мило оставляет на нашу долю Быков, может составить содержание жизни человека. Как будто еврейская судьба, выпавшая и на его долю, и только теперь осознанная им, как личная, уже не проигрывалась много раз в истории. Пожалуй, не так уж загадочен “казус Быкова”, и психоанализ и вмешательство Фрейда здесь не понадобятся.

Пожалуй, нам лучше для себя “по своей воле пожить”, а не продолжать служить “индикатором” и “лакмусом” для столичных гурманов, вроде Быкова. Лакмус, как вещь в себе, не сообщал нам о своем самочувствии при посинении. А от соплеменников свидетельств о “свинствах любой эпохи” осталось достаточно, чтобы не спешить за ними вслед.

Многовековая империя Габсбургов развалилась, хотя никто не называл ее “исторической ошибкой”. И Вена уже больше не мировая столица. И Советский Союз тоже развалился. Осталась ли еще мировой столицей Москва?

Если внимательно прочитать в этом номере заметку Виктора Топаллера о недавних выборах в США, можно подумать, что и эта мировая империя, и соответствующая мировая культурная столица, близка к развалу. Конечно, может быть, оплакивать былую американскую демократию еще рано. Империи не гибнут в одночасье. Римская империя разваливалась двести лет. И старая Европа на наших глазах гниет и погибает по словам своих пророков уже больше двухсот лет, однако все еще ярко и с комфортом проявляет все признаки жизни.

Может быть, “провинциальная ограниченность” в реальных пределах Израиля остается пока единственным реальным выходом для той поглощающей жажды “всемирности”, которая делает Дмитрия Быкова сейчас таким типичным евреем, в исторических пределах России?

Эстер Пастернак.

“ОСОБЕННЫЙ ЕВРЕЙСКО-РУССКИЙ ВОЗДУХ...”

*(К 111-летию со дня рождения еврей-
ского поэта Довида Кнута)*

*«Привет тебе, хранитель
древних свитков!»*

Х.Н.Бялик

1.

Один из высших миров, созданных Творцом, называется «улам а ецира» – мир созидания, отсвет которого благодатными бликами лежит на теневой стороне поэзии, заполняя душу поэта отличным от всего земного прикосновением времени к вечности. Французский ученый Гастон Тисандье в книге «Научные беседы», в главе «Действие молнии», приводит эпизод, имевший

место в реальной жизни: « В 1865 году гром ударил в работника, который спрятался от непогоды под грушей. Когда его принесли домой, то заметили поразительную вещь: на его груди отпечата-лась ветка груши».

Поэты от рождения меченные, их творчество есть подтверждение высших законов духа. Таинство созидания прослеживается в биографии поэта, в его духовном опыте. Стефан Цвейг считал, что только совершенный человек может стать великим поэтом. Но в чём совершенство, и в чём величие?! В душе, вместившей опыт прежних превращений (от Адама и до самого себя), несущей в своем сознании Храм, как вечность.

Три года было Довиду Кнуту, когда родители из маленького бессарабского местечка Оргеев переехали в город Кишинёв, где из каждого угла пустыми глазницами пугал недавний погром, где в каждом звуке «гвоздём в ноздре живой» жили страшные, несоразмерные с человеческим, не людоедским сознанием, воспоминания о погроме.

*«Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет.
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет,
И — не найду твоих следов!
Падут, погибнут, пламенея,
И пестрый дом **Варфоломея**,
И лавки грязные жидов».*

А.Пушкин

После ужасов Кишинёвского погрома, писатель Владимир Короленко писал: “Всё может случиться в городе Кишинёве, где самый воздух ещё весь насыщен враждой и ненавистью”.

«Проклятый город Кишинёв» Пушкина носит пророческий характер. Пройдет восемьдесят с лишним лет, и Хаим Нахман Бялик назовёт Кишинёв «городом резни», а в конце 20-го века начнется нескончаемый поток бессарабских евреев в Израиль.

Бакалейная лавка отца, где Кнут проводил долгие часы, не поработила его поэтическое восприятие и, стремясь к воплощению, он видел себя одним из потомков единственно избранного народа. В «Кишиневских рассказах», полных щемящей грусти, Довид Кнут описал, как помогая отцу в бакалейной лавке, в перерывах между «вылавливанием из бочки рыжей от

старости селедки...», он находил время углубиться в книгу, – будь то «Капитанская дочка» или «Гуттаперчевый мальчик».

«– Из него ничего не выйдет,– говорил отец Довида Кнута.

А мать думала иначе: – “Ребенок уважает книги, ребенок любит грамматику, из ребенка, может быть, выйдет какой-нибудь Пушкин или Шолом-Алейхем...”»

Один из писателей русского зарубежья, Николай Оцуп, писал о Кнута: “У него была своя тема, живая и значительная, тема инородца, гордого своей не общей судьбой в России...” Несущий в себе «блаженный груз тысячелетий», поэт Довид Кнут.

*«Я, Довид-Ари Бен Меир,
Кто отроком пел гневному Саулу,
Кто дал
Шестиконечный щит.
Я помню все:
Пустыни Ханаана,
Пески и финики горячей Палестины,
Гортанный стон арабских караванов,
Ливанский кедр и скуку древних стен
Святого Ерушалайма...»*

Давид Кнут у Стены плача, 1937

Сквозь вены поэтических строк просвечивают караваны ты-

сячелетий, ударения божественных молитв. Довид Кнут помнит всё, в его генах неумолчно шумит ветер, “возвращающийся на круги своя”, ветер пустыни, ветер вечности, возвращающий ветер. В его крови неустанно шумит память о “тёмном воздухе последней любви”.

*“ Звезды светят из синего небосвода
На дома, синагогу и площадь.
Возвращается ветер на круги своя
И шуршит в эвкалиптовой роще”.*

Кому по силам представить полноценную биографию поэта? Ведь, кроме внешних данных, кроме внутреннего жара, есть еще бесконечные метания внутри замкнутого круга яростной страсти обреченного на испытание талантом, есть печать избранничества, растрavляющая душу и мозг, есть неукротимый натиск герба Иуды, испытанием изначально высшим - служение Творцу.

Это был период, когда поэты-евреи активно отмежевались от своего народа, предавая душу, поющую подарком Единого*, и уходили в чужую веру, в пустое служение, в итболелут.** Позже, в пятидесятые годы, такого рода евреям “великодушные власти” найдут применение, а также дадут им название - “полезные евреи”. В этот самый период Довид Кнут открывает себя, как поэт в “протяжном звоне песка” мира насущного, и в тонкой вязи мира поэтических пророчеств. Кнут, находясь в Париже, жил Землёй Обетованной, где позже нашёл вечный приют. “Прародина” была для него тем, без чего не мыслится жизнь, без чего - не мыслится. Правильно понял душу поэта философ Георгий Федотов, писавший о том, что “Кнуту в русской литературе не вписаться”.

В нём звучит голос тысячелетий, голос библейского Израиля и беспредельности его любви, страсти, тоски».

*«...Я себя научил неустанно и верно хранить
Память древней земли, плотный свет безусловного
счастья,
Ненасытную жажду: ходить, воплощаться, любить».*

На паруснике “Сара Алеф”, 1937

В августе 1937 года из Генуи, на паруснике “Сара Алеф”, Кнут отправляется в Палестину, а в декабре вновь возвращается в Париж. В июне 1940 года он уезжает в Тулузу, откуда, осенью 1944 года, снова возвращается в Париж, где пробудет ещё пять лет, после чего окончательно покинет Европу.

2.

Дом-Музей Пушкина до его реставрации. Кишинев, 60-ые годы.

Рядом с улицей Инзовской – Пушкинская горка, сюда мы приходим кататься на санках.

Мне пять лет.

- Видишь домик? – спрашивает сестра.

- Избушка?

- Ну, ладно, избушка. Там Пушкин жил. Знаешь, кто такой Пушкин?

- Пушкин - это сказки.

- Пушкин - поэт. Знаешь, что такое поэт?
- Не-е-е-т.
- Когда вырастешь, узнаешь.

Довид Кнут родился в городке Оргееве, куда по преданию (существует несколько версий) был сослан римский поэт Овидий! Орхей, латинская транскрипция города Оргеева, находился в 12-ти километрах от нынешнего.

Пушкин в многочисленных стихах, посвященных Овидию, сравнивает свою ссылку в Кишинев с ссылкой Овидия.

*В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный
Овидий мрачны дни влачил,
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил,
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.
А.Пушкин*

«Довид, избавляйся от своих «кишиневизмов», - говорил Ходасевич Кнуту, а потом рассказывал ему о том, как его, сына еврейки, воспитывала бабушка, приправлявшая русский язык щедрой порцией идиша: «Владичке! Закрой ди форточке». Совершенно не знавший иврита, Ходасевич, пользуясь подстрочниками Лейба Яффе, опубликовал сборник замечательных переводов современной ивритской поэзии. Корни еврейской души охватывают и несут на себе, хочешь ты этого, или нет, «блаженный груз тысячелетий». Ходасевич намеревался опубликовать труд, где собирался писать о том, что в жилах Пушкина текла еврейская кровь, так как он происходил из фалашей – эфиопских евреев, что называется «ми зэра Исраэль» – из семени Израиля.*** Ходасевич не успел это сделать, он умер в 1939 году

от болезни в Париже, и не был отправлен в камеру смертника нацистами (быть может, молитвами всё той же бабушки...), куда, через год, была отправлена его жена - Марголина.

Г.Иванов, Д.Кнут, В.Ходасевич

Довид Кнут с женой Ариадной-Сарой. 1939

Ариадна, дочь композитора Скрябина, вышла замуж за До-

вида Кнута и приняла иудаизм, взяв себе еврейское имя Сара. Накануне войны Кнут был редактором и главным публицистом антифашистской газеты «Русский патриот», утверждавшей неотвратимость Холокоста, хотя тогда мало кто этому верил. Ариадне-Саре Кнут уготовано было место в истории антифашизма рядом с другими героями французского Сопротивления и вместе с Довидом Кнутом. Нацисты долго охотились за нею и, выследив ее в момент, когда она подпольным путем переправляла евреев в Швейцарию, расстреляли на месте.

В Париже Кнут встречался с Бальмонтом, который неизменно спрашивал его, а знает ли он, что такое русская душа? В доме у Бальмонтов Кнут познакомился с Цветаевой, поэзию которой считал воплощением романтики прошлого столетия.

В 1928 году, в Париже, были написаны строки:

*« Протяжный звон песка,
и горький зной Земли Обетованной».*

Пророчество дано было Творцом только евреям. Еврей, *«иври, - ми звер»- по другую сторону.* Наш праотец - Авраам а иври.

Творец вершит чудеса, и суждено было Кнуту пройти «арба амот»**** по святой земле. Он ещё успел написать чудесные стихи, любя эти оливковые облака, эти сиреневые воды Средиземного моря, это жгучее солнце. Он прожил на этой земле недолго, но он *был* здесь.

*“ И вновь – всё растворяющий покой
Над вечностью библейскую, закланной,
И сквозь стеклянный неподвижный зной
Мне слышен Бог, склонившийся над Цфатом”.*

26 сентября 1949 года Довид Кнут, навсегда уезжая в Израиль, оставляет Париж.

Довид Кнут в Цфате, 1937

Бунин, не забывший своего путешествия в Палестину, где был написан один из лучших его рассказов «Гробница Рахили», прощаясь с Кнутом, просил: «Возьмите меня с собой».

*Полубезжизненным, под снегом
Мы оставляем этот город,
За нами, как ищейка следом
Плетется год за годом голод.*

*С удавкой на нервном горле,
С ключами, въевшимися в руку,
Ступая медленно, как Голем,
Из темного выходим круга.*

*С глазами полоумной птицы,
Взорвав последние мосты,
Уходим босиком по спицам
С подолом слез и пустоты.*

Э.Пастернак

Творчество поэта трагической судьбы Довида Кнута существует, «прежде всего, в еврейском контексте», и зиждется на

многочисленных библейских реминисценциях. Привычное мировосприятие чуждо такому роду творчества.

Поэт - медиум, привольная среда для возвращения впечатлений в сочетании с опытом тонкой души. Контраст между доминирующей эмоцией и драматической ситуацией, закреплённый на пленке памяти, позже проявится яркой вспышкой поэтического монолога. Детская память Кнута, впечатления ранних лет, стали венцом одного из сильнейших, пронзительных стихотворений "Кишиневские похороны".

*Я помню тусклый кишиневский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник -
Прославленный кутила и повеса -
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.*

*За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться
Худым червям еврейского кладбища.*

*За стариками, несшими носилки,
Шла кучка мане-кацовских евреев,
Зеленовато-желтых и глазастых.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах - нищеты и пота,*

*Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.*

*Большая скорбь им веселила сердце -
И шли они неслышную походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца... Походкой
Сионских - кишиневских - мудрецов.*

*Пред ними - за печальным черным грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Не видно было нам ее лицо.
Но как прекрасен был высокий голос!*

*Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смирения,
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и страха...*

О, как прекрасен был высокий голос!

*Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, пел он - обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменье,
О глазках умирающих детей...*

*Еврейка шла почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него - и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу,
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,*

*Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.*

*Но вот - пугалась жещина себя,
И била в грудь себя, и леденела,
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала исступленно о прощенье,
О вере, о смирении, о вере,
Шарахалась и ежилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.*

*Что было? вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль... Мои стихи в "Курьере",
Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.*

*Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаенным в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,
Бог знает, где рокошущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.*

*...Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.*

Инзовская горка, изгнанник-Пушкин, создавший в Кишинёве первую часть «Евгения Онегина», изгнанник-Кнут, уехавший в Париж, куда перенёс свой подлинный талант. Несомненно, было что-то в воздухе Бессарабии и Подолья, давших гениальных раввинов, и родивших поэтов, поражающих особым видением мира – поэтов-хасидов.

Июнь 2011г.

Примечания:

* К примеру - беспринципная, основанная на суглинистой почве страха и непонимания, "тяга" Пастернака к ассимиляции. (В.Набоков, в письме к сестре Елене Сикорской, назвал Пастернака «блаженный большевик».)

(И тяга Мандельштама к эллинизму, если проследить, на протяжении всей еврейской истории, уже во времена Талмуда, происходило нечто подобное, к примеру - Элиша Бен Абуя, называемый «ахер», ушедший в культуру греков.)

** Ассимиляция.

*** «Ну, а Фет? От Фета ты не отречёшься?

- Фета оклеветали.

- Ну, а Пушкин? – озарило Леву. – Как Пушкин?

- Причём тут Пушкин. Он – арап.

- А арап – знаешь что? Э-фи-оп! А эфиопы – семиты.

Пушкин – чёрный семит!»

А.Битов «Пушкинский дом».

**** Название меры (1 ама -1 локоть.)

ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ

Виктор Топаллер

“ПРОПАЛ ДОМ”

Привет, читатель!

Четыре года назад я дал зарок не писать статей до следующих выборов. И вот срок истек. Снова пишу. Почему зарок давал? Очень уж противно было. И стыдно. Вроде бы уже все сказано. Все понятно-очевидно, говорено-переговорено, о чем писать? Ведь Америка все равно сделала тогда своим президентом пустышку, дешевого популиста, человека ниоткуда, «общественного деятеля», замаранного дружбой с террористами вроде Билла Айерса и ненавистниками страны вроде пастора Райта. Самовлюбленного нарцисса, демагога, лжеца, зараженного социализмом и одержимого любовью к исламистам. В своих по-

следних публикациях, без малого четыре года назад, я написал:

«Я не хочу кликушествовать, но уверен – это катастрофа для Америки и для вас лично, как для американского гражданина. Последствия избрания Обамы просчитываются до отворачивания просто. Мы и ахнуть не успеем, как увидим, вернее унюхаем, вонь социализма, которой наполнится воздух Америки. Работяги будут кормить лоботрясов и бездельников, которые облаглют до предела, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Разгул преступности, безобразный уровень медицинского обслуживания, зажим свободы слова, дикий экономический кризис – все эти «прелести» ждут нас, можете не сомневаться. Но это еще «цветочки». Нас ждут и «ягодки» - торжествующие террористы, преступники-нелегалы, исламские фанатики, кремлевские «братки»... Всю эту мерзость мы хлебнем в полной мере. Параноидальная тяга к «переменам», о которой визжат демократы, ничто иное, как по сути подсознательное стремление к суициду. Какие, к чертовой матери, «перемены»?! Пропасть социализма? Превращение мощной сверхдержавы в разодранную, трусливую страну, с которой внутреннему и международному отребью можно делать все, что угодно? На эти грабли уже наступил Израиль, когда решил, что прогнувшись, пойдя на уступки бандитам, он заслужит любовь мирового сообщества. Заслужил? «Прогиб засчитан» – любви не прибавилось ни на йоту, а вот уважение потеряно в полном объеме... Завидный результат. Вот Америка, видимо, и позавидовала. Юродивые всего мира, под знаменами «интеллектуалов-гуманистов» в обнимку с бандитами всех мастей объединились в своей поддержке того, кто приведет Америку «к переменам». Мы ведь знаем, что такое социализм не по лекциям обкуренной «красной профессуры» в американских университетах, превращающих нашу молодежь в дебилов, а на собственном опыте: «Мир - это хорошо! Война – это плохо! Всем хорошую медицину и высокую зарплату! Да здравствует равенство!» И тому подобная, весьма привлекательная ахинея, оборачивающаяся в жизни своей прямой противоположностью... Сегодня радуются в Москве и Пхеньяне, в Дамаске и Тегеране, в Гаване и Триполи. Празднуют ХАМАС и «Хизбалла», а на улицах американских городов скачет, выкатив в восторге глаза, наша молодежь. О, эти милые, симпатичные, не обезображенные интеллектом, лица! Вы счастливы, ребята, что уходит в прошлое «пло-

хая, злая, старая» Америка, вы жаждете обещанных перемен, всенародного счастья, добра, любви, справедливости, бесплатных пирожных, равенства и братства? Какие вы хорошие и чистые ребята! И какие глупые. Вы хлебнете этих «перемен», можете не сомневаться. По эти самые... как их? В общем, мало не покажется. Не нюхавшая социализма Америка просто не отдает себе отчета в том, что означает на деле шариковское «отнять и поделить». Бедняги. Они действительно и представить не могут, какую яму выкопали себе своими собственными руками».

Прости, читатель, за эту пространную цитату и согласишься, что написанное сразу после выборов 2008 года, звучит не менее актуально после выборов 2012. Но есть одно отличие. Серьезное. Серьезнейшее. Тогда была надежда, что весь этот срам и позорище закончатся через четыре года. Сегодня этой надежды уже нет. Дело не в Ромни и, конечно же, не в Обаме – он никто и звать никак. Дело в том, что общество оказалось по-настоящему, клинически больным.

Прямая противоположность Мидасу (все, к чему он прикасался, превращалось, как помните, в золото), Обама своими прикосновениями превращал все в дерьмо. И во внутренней политике, и во внешней. Предавал союзников, заискивал, лебезил, унижался перед врагами. Опозорился подлостью и ложью в Бенгази. Угробил экономику и медицину. Потворствовал бездельникам, делая жизнь работяг невозможной... Длинный список «достижений». И остался на второй срок. Непостижимо? Постижимо. Очень точно сказал О`Рейли: той Америки, которой гордились, которую любили и уважали, больше нет. И слова Кеннеди «Не спрашивай, что твоя страна может дать тебе. Спроси, что ты можешь дать своей стране» безнадежно устарели. Сегодня в Америке превалирует та часть населения, которая не умеет и не хочет давать, а желает лишь брать. Бездельники и лоботрясы. Иждивенцы. Захребетники. Маргиналы, сброд, отребье. «Птенцы» Обамы. Его электорат. Четыре года назад я писал о кризисе в обществе. О том, что каждый врач прекрасно знает, что без кризиса не протекает ни одно серьезное заболевание. И что в нем есть и положительный момент: если не помрем – выздоровеем. Оклемаемся. И я выражал уверенность, что американское общество просто должно переболеть, дабы вернуться к своим идеалам и традиционным ценностям. Я ошибся. Мы не оклемались. Мы померли.

Что дальше? Честно? Ничего хорошего. Электорат Обамы растет и увеличивается, число порядочных, здоровых, достой-

ных людей – уменьшается. Честь, достоинство, патриотизм? Не смешите меня – уже не смешно. Помнится, четыре года назад я вспоминал Булгакова:

- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович, - ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову.

- Убивается Филипп Филиппович, - заметила, улыбаясь, Зина и унесла груды тарелок.

- Да ведь как не убиваться?! - возопил Филипп Филиппович, - ведь это какой дом был - вы поймите!

А еще я писал о том, что Америка мощная страна, с сильными демократическими институтами и традициями. И пусть социализм - страшная ржа, которая очень быстро разъедает любое общество, я надеюсь, что трубы в сортирах не замерзнут, котел в паровом отоплении не лопнет... Замерзли. Лопнул. «Придется уезжать, но куда — спрашивается?»

Чем бы утешиться? А вот! Кроме президентских выборов, состоялись промежуточные выборы в Конгресс и Сенат. Так вот - в Сенат впервые избрана открытая лесбиянка, естественно, демократка Тэмми Болдуин. Но мы ее любим не только за это, но и за то, что она гневно выступала против введения санкций против Ирана. Даешь!

Так что напрасно кричит Дональд Трамп: «Мы не должны этого позволить! Мы должны отправиться маршем на Вашингтон и остановить эту пародию! Давайте отчаянно сражаться, чтобы покончить с этой огромной и отвратительной несправедливостью! Мир смеется над нами! Эти выборы - полнейший стыд и пародия. У нас не демократия! Теперь наша страна в серьезной и невиданной беде... как никогда раньше». Поздно, брат Дональд. Поздно. Ушел поезд. Пропал дом.

ОТКЛИКИ

Яков Нелькин

ИСЛАМСКОЕ ЗОЛОТО

Люди, затрудненные созидать, должны бы, казалось, ценить людской разум. Но стоит окинуть нам ход истории взглядом жлобного грибника, ответ-то выйдет совсем иной: «Ночь на дворе, а они уже – ходють. А нам чиво - за имя' ходить?» («имя'» – творительный от «они», на «я» ударение).

И вывод, знакомый три тысячи лет: их придержать, не пускать перед нами!

Придержание – дело зависти: не поимей «мое». Способно опускаться в процентную норму, в черту оседлости, в гетто, в погром – грабеж, изымательство и убийство, загодя мистически самопрощенные: «за имя' не ходить».

Возвращаясь от грибника-жлоба в историю, заметим: с ростом числа людей на Земле и темпа движения человечества все больше людей затрудняются этот темп выдерживать. Людская колонна о семи миллиардах душ растягивается и перестраивается по силам и групповым поверьям.

Народ Израиля, рассеянный по Земле, научен своей тяжелой историей следовать лишь безобманному высшему ориентиру. Ориентир этот - «Принцип Развития Вселенной» (определено объективнее понятие «Бог», читатель!).

Мелькают эпохи просвещения, протемнения, – из них каждая сокрушительней предыдущей истощает небольшую голубую планету - в глубину, перекопкой недр, и в ширину, неводержанным бытом и отбросами бескультурия. Уникальную поверхность Земли, созданную воловьим трудом природы за четыре миллиарда лет, за последние десятилетия катастрофически охламляет, охламляет и подавляет расплодившийся технологический человек. Условие же его выживания на планете обратное – развивающееся партнерство с природой. Успеет ли разум людей сместить отношение (созидание/потребление) к показателю «дай больше, чем взял», – или расхитим планету в ничто? Возможность следовать «Принципу созидания» совершенно реальна, примером - леса Израиля, единственной в мире страны, где растет их пло-

щадь. Возможность, однако, не есть реальность, - между ними стоит работа. Дней остается что ни день - на день меньше, а разрушительность человека – растет. Другой Голубой не подставил Бог во всей окружающей ближней Вселенной. Наша голубая сереет. Взглянем из космоса: белые шапки льдов юга и севера трещат и сжимаются, на континентах сгорают леса, пересыхают ручьи и озера, зелень уходит, почва плешивеет в желть пустынь, истощается корм людей, на горизонте - не тетка, а смертный голод и вырождение. Возвратившись в свой земной дом, мы не заметим в нем высших животных, и обнаружим последние их экземпляры с трудом сохраняющими жизнь в зоопарках и увидим, что Homo Sapiens - мыслящий хозяин Земли – в тряпье износил планету.

И, может быть, зададим вопрос: а не признать ли нам ихний «Принцип»? Умной работой заполнить разрыв между состояниями «возможность - реальность» - и возродить нашу дружбу с Землей? Уж может, начать «за имя' ходить», чем «за богами, что не помогают»?...

...Но вместо разворота цивилизации на ответственность за дела человечества, на исходящие от него созидание и развитие, в последние два поколения Запад сдается распаду воли: изленился, изнежился: утратил дух воина, ослабил хватку хозяина и мыслителя, вжился в благоустроенность, снизил рождаемость. Не сильно напрягши футурологию, Запад открыл свои утомленные жизнью страны навалу неутомимо рожающего ислама. И не отвел руки от его нефтеденег.

Потек процесс передачи власти от неспособного править Запада неспособному развивать мир Востоку. Большой личный смысл усмотрел Восток совсем не в спасении жизни планеты, а в захвате и присвоении Запада, используя его же прошлые достижения. Восток сплетает вокруг бессильного Запада неторопливо, умно и расчетливо сеть иммигрантов, мечетей, ислама - и пока мирно и добровольно вовлекает население в шариат. Ислам все уверенней продвигает омулятикультивание (на политкорреkte), а по-простому - исламизацию Запада, и подчиняет себе финансово его определенные научные разработки.

Кто платит деньги, тот... Чуткие «демократы» чутко сбивают свои авторитарные коллективы и спаивают их (от глагола «паять») в самовыборные элиты. Готовясь подмять ничейную власть над миром, ислам держит курс на снижение мыслительного по-

тенциала человеческой массы. Его расчетливое финансирование идеологической «элиты» мира направляет ее усилия в русло промывки мозгов колонны - до пустоты современной массмедии.

Исламские «гранты» (банковская поддержка заказа на научные разработки, в данном случае на подтверждение их предоплаченных выводов) впирают «исламскую демократизацию западной жизни» в программы работы университетов – и убирают лишнее.

Конь ислама впечатал нефтяное копыто в идеологию Запада - и запечатал свободу ее развития. Пустая развлекательность при коммерческой окупаемости становятся целью прогрессирующего оглупления обывателя. Помпезность, рекламность, крикливость и пустота конкурсов красоты становятся символом идеологического опустошения зрителя. Всепроникающие радиовещание и телевидение по умолчанию смещают обслуживаемую аудиторию в сторону ее малоразвитой части.

Естественное расширение этой программы - политические Институты Ислама в Париже, при Эссекском университете Лондона и всех считающихся престижными центрах просветленного ими мира. Ислам этим миром все тверже правит, а Запад исламу все безвольней сдается.

Восток бы решительней правил миром, если бы не - Израиль в тылу. Все военные операции против него ислам провалил. Они слишком памятны для повторений.

С этим считаясь, лидер исламской агрессии против гуманизма, Иран, расщепляет свои главные силы по двум каналам: ядерная война и «мирный процесс» с целью сбросить Израиль в море.

Проект этот, может, и был бы хорош, но... чем ни толкай его - подкуп, террор, фанатизм, «Фаластын», шахиды, флотилии, «кассамы» из Газы, внедрение в страны Запада, ядерная угроза ему (и всем) – ну, не идет успех, не идет.

Иран одолел этап чемберленов, уже он брезгливо плюет на Запад. Но ненавистный Израиль – в тылу! Нагло не преклоняя свой негибемый сионизм, он нагло держит напор Ирана, перекрывая часть направлений своим убедительным арсеналом. И становится необъявленным центром особой вражды интересам ислама.

Это могло бы и не вызывать обратного теплого чувства евреев. Но – не отстать же от моющих жилу идеологических коллег Запада, - «промыварии» всех стран, соединяйтесь!

И вот в Израиле больше ста официальных еврейских анти-еврейских добровольных объединений, осваивающих деньги, дареные неизвестными, но тем более благородными душеискателями.

Но... что-то эти объединения не так успешно смывают Израиль с лица Земли, как благородные души хотели бы, - то ли в них люди втянулись сухие, то ли воруют они сверх меры, то ли от массы у них отрыв, то ли их вера в ислам пожухла - но все выявляет порочную немощь пятоколонного антиеврейства, - жрет колоссальные деньги ислама без переломного результата!

К большой удаче исламских дружин, Израиль – страна еврейская. Крупнейшим прорывом современного мирового философского фронта стало гениальное прозрение виднейших социологов Запада о сочетании антиеврейства с либерализмом. Введенное элитами в ранг «науки» и назначенное рабочей идеей университетов и кафедр, прозрение модерново назвали «делегитимацией» прав Израиля на его родину (и вообще), чтобы безродного (словечко-то - что делать - потрепанно) сбросить погромом с лица земли в море (идейка-то тоже не самая свежая). Зато мировые погромщики разрабатывают сочетание с такой интенсивностью, будто бы им за его (сочетания) новизну хорошие деньги платят. Ну, работа, кто ж спорит, трудная, все же Израиль, древнейший в мире живой народ, страдавший от войн, поражений, оккупаций, изгнаний и уничтожения, существует на этой земле и физически, и духовно где-то четыре тысячи лет. Земля пропитана его потом, кровью, его культурой, здесь подарил народ миру Библию. Верьте-не верьте в еврейского бога, но книги значительней его Книги за всю историю мир не создал. Доказать нелегитимность Израиля – это ж переворот мирового сознания. Не шутка: требует кубических километров высокосортной укывистой лжи на засыпку Ближне-Восточной археологической достоверности под Фаластын. Любители-антисемиты тут не в расчет. В районе набрать столько лжи – нереально. Придется глобально производить на малых и больших предприятиях. Сюда же погрузка-разгрузка, транспорт, охрана, страховка – ничто не даром. Зато... сочетание двух учений! «Де» - отрицает права евреев. «Легитимация» - это права любых мировых народов. Грамотным юридическим сочетанием этих действий всегда возможно вогнать Израиль в невозможное положение, - штука похлещее мультикультуризма! Сами судите: не будь эта штука хлесткой, ООН бы не стала ею хлестаться! Но высший Совет по

правам человека хлещет ею Израиль со всемирной трибуны в 39 резолюциях, как Ася Энтова подсчитала в статье «Террор как война и как мир» (журнал «22», N162). Судите же сами, но взглядом исламым: при неизвращенном рассмотрении простого юридического вопроса о применении резолюций мы враз раскрываем миру, что верен Асин расчет, что «Де-Легитимация» прав евреев проводится регулярно, многосторонне и юридически правильно, - и Асе бы этой Энтовой (как выясняется, урожденной еврейке) – пристало бы верные меры одобрить, а не провокационно прилюдно просчитывать!

Израиль тем временем честной наукой включен в развитие многих стран – и с годами досадно крепнет. Его разработки учат пустыни производить миру хлеб и воду. Странам разумным «ходить за имя» продуктивнее рабства исламу. И «мирный процесс» при огромных затратах не устраняет проклятой страны.

И все же давление международного антиеврейского блока так ощутимо в происламских ООН-резолюциях, в бесконечных идеологических, организационных и финансовых антиеврейских мероприятиях, во всевозможных бойкотах, призывах, форумах, демонстрациях, что обходится оно Израилю почти в те же миллиарды, что и исламу, но сверх того требует огромного всенародного напряжения и так затрудняет работу страны, что смогришь – гнилая, толкни – и развалится.

Разваливать стены своей страны выходит еврейская генетически-чистая, морально-грязная, граждански-подлая псевдоэлита со своей левой псевдо-наукой и лозунгом: «все, что во вред Израилю, нам – программно!»

Развалители тщатся выглядеть как «полезные идиоты», озаченные лишь розовым нимбом нации. Но поверить в их честную глупость не легче, чем поверить в их честную бедность, - организованность их демонстраций, их черносотенных выступлений против еврейской самозащиты не позволяют принять их в невинные идиоты. На базе тупой, но преступной мысли строят они идейный, террористический антисемитизм, не розовый во-все, а реально кровавый. За жертвы его они, «розовленные», - лично не отвечают. «Израиль сам виноват в терроре!» - одна из блестящих идей ислама всегда наготове у этих людей.

В Израиле на сегодня - две пирамиды власти и две элиты.

Одна – открытая, официальная, - правящая. Служит народу, и хуже ли, лучше ли – использует его силы в его интересах.

Вторая – скрытая, неофициальная, крыло всемирной псев-

до-элиты, черпающее прямое и косвенное содержание от ислама. На обязанности израильского оперения - обоснование справедливости освободительной войны ислама против империалистического сионизма Израиля, поддержка арабским террором освободительного движения на оккупированных Израилем территориях, полное освобождение от евреев оккупированной исламской страны Фаластын.

Народ Израиля хоронит своих убитых, тратит силы на самозащиту и восстановление повреждений - вместо шагов вперед, на развитие. В традиции лучших еврейских погромов, силы самозащиты подпадают под самый свирепый удар нападающих. Это и есть тот «мирный процесс», что достижим на сегодня исламу и его розовой пятой колонне Израиля. Колонна, правда, дает не руки, а ум и антимораль террору, но только погром остается погромом жертвы, — погибшими от террора. Авторы «Протоколов» своими руками тоже никого не убили, но Холокост - они подожгли.

Двадцать пять столетий тому назад грек Эфиальт предал Грецию армии царя персов за увесистый мешок злата — и поплатился жизнью. В те времена еще не был известен способ предательства «через науку». Но мир стремительно развивается. К нашим дням такой способ создан, - безответственный, безналичный, почетный и дважды выгодный предающему.

Ну, в Израиле он, «ученый», отрестившийся и от науки, и от еврейской своей семьи, получает зарплату своей страны как до предательства, так и после. Но после — известность его растет, - растут и «научный» вес, и зарплата. Для ислама он — поставщик ценнейшего, лучшего в мире, неоспоримо-еврейского антисемитизма, только евреями и поставимого. «Работы» поставщиков ценятся тем дороже, чем ярче еврейское имя их автора. Ислам им и платит за броскость позора, - не за «научность» же их откровений.

Как возразить генетическому еврею-профессору, утверждающему, что библейский народ евреев он, автор ученых трудов о евреях, не признает народом? Как возразить генетической Фанни Оз, ученой-еврейке, вопящей в матюгальник на всю флотилию и на Газу о стыде ее за еврейских солдат, защищающих еврейских детей Сдерота?

Как возразить на такое — не ясно. Хоть и бандит - не кистень в портфеле, хоть в матюгальник вопит, а - женщина.

Но ясно, кто именно по долгу службы обязан очистить науку

родины от предательства. Ясно, что научные советы университетов постом своим, достоинством израильского ученого и уставом научной организации обязаны лишать своих псевдо-ученых их должностей и ученых званий. Высший суд справедливости государства Израиль, принципиально не поддающийся под влияние нефтеденег, за что и облечен народным доверием, обязан выполнить решения независимых ученых советов и восстановить роль своей науки в своей стране.

И жду я, естественно, что Справедливость Высшая и Высшего суда справедливости государства Израиль – что две справедливости совпадут и сольются во имя развития нашей страны и мира.

Это совершенно необходимо сегодня, когда нашествие африканских племен «демократически» размывает национальную основу страны - под промывательные призывы выполнить еврейский наш долг, вобрав в себя перебежчиков всего мира. Случись такое – евреи утратят свое большинство и свое государство - вот он , ислама сон золотой, - и вот она, розовая мечта наших левых!

Что же так тесно объединяет таких, казалось бы, разных людей? Не хлеб - народу и не вода - пустыне, не миру - мир, и не свет науки, и не спасение нашей планеты.

Так неужели, ислам, - твое золото?

“ПИС-НАЛОГ” ИМПЕРАТОРА ВЕСПАССИАНА

Эти записки родились в ответ на замечание Леонида Пекаровского по поводу афоризма «Деньги не пахнут». В рассказе «На автостоянке» (журнал «22», №165, 2012) автор, объясняя происхождение этого крылатого выражения, замечает: «Веспассиан ... ввел налог на общественные туалеты – «латрины». Вот это последнее слово меня слегка насторожило, потому что я помню, что в латинском тексте (Светоний, Веспассиан, 23, 3) слово *latrina* не фигурирует. Там речь идет совсем о другом выражении: *urinae vectigal*. Анекдот у Светония начинается с упрека Тита Веспассиану за налог (*vectigal*) на мочу (*urinae*). Полный текст анекдота в моем переводе с латыни звучит так: Сыну Титу, упрекнувшему Веспассиана, что он даже на мочу ввел налог, поднес горсть монет из первого сбора к его носу, спросив: разве их запах отвратителен? Когда Тит сказал «Нет», тот заметил: «А ведь они с мочи». В классических изданиях Светония *urinae vectigal* действительно переводится как общественные туалеты. Но при этом в комментариях указывается, что смысл выражения *urinae vectigal* не ясен.

А между тем, всем, кто занимался ремесленниками в Риме, в том числе и мне (я писала диссертацию о римском плебсе), хорошо известно, что в Риме сукновалы (фуллоны), а их было несметное количество, расставляли на улицах городов, чаще в переулках, большие посудины – обычно старые амфоры с отбитым горлышком. Зачем? А чтобы они заполнялись мочой прохожих. Эту мочу фуллоны использовали для отбеливания шерстяных тканей, из которых изготавливалась главная одежда римлян, от роскошной тоги сенаторов, тяжелого плаща солдат до грубой рубашки раба; так что у фуллонов были все основания гордиться своей важной и доходной профессией. Прекрасной иллюстрацией тому может служить надпись, которую нацарапал на колонне своего дома в Помпеях владелец сукновальни: «Я фуллонов

пою и сову (сова – птица Минервы, покровительницы ремесла), а не битвы и мужа». (Автор пародирует начало «Энеиды» Вергилия: «Битвы и мужа пою».)

Короче говоря, вспомнив о фуллонах, и перечитав известный анекдот Светония (на латыни) о дурно пахнущем налоге Веспасиана, я подумала, а, может быть, это и был налог на фуллонов. Более того, я помчалась в библиотеку, нашла там самые что ни на есть современные комментарии к Светонию, это серия книг, которая начала выходить в 2000г. в Лондоне в солидном издании. Беру том, посвященный биографии Веспасиана, открываю комментарий к главе 23, параграф 3, и первое, что читаю: *urinae vectigal* . . . *lotio est*, то есть налог на мочу (*urinae vectigal*) и сбор с мочи (*lotio est*).

Далее поясняется, что моча использовалась фуллонами для отбеливания шерсти. «Но теперь, заключает автор, фуллоны должны были платить за мочу». В качестве подтверждения своей гипотезы автор ссылается еще на два источника. Оказывается, анекдот Светония пересказал уже в III-м веке н. э. солидный историк Дион Кассий. Примечательно, что его рассказ (на греческом) тоже начинается с сообщения о налоге на мочу. А последняя фраза в этом сообщении звучит буквально так: «смотри, сын мой, разве у них есть какой-то запах».

Второй источник, Макробий (V-й век н. э.), особенно любопытен. Он цитирует оратора середины II-го века до н. э. Гая Тиция и при этом Макробий замечает: «Я цитирую то, что он рассказывает о характере народа, жившего в то время. Он описывает людей, прожигающих жизнь, приходящих пьяными на форум, чтобы обсуждать судебные дела». Дальше дается цитата из Тиция: «Они с энтузиазмом играют в кости, умащаются благовониями, развлекаются с распутниками. Когда наступает 4 часа вечера, велят позвать раба, чтобы сбегал в комиций* и поспрашивал, что делается на Форуме... Затем сами отправляются в комиций, чтобы избежать ответственности за нарушение обязанностей. Пока идут, не остается ни одной амфоры в переулке, которую бы они не наполняли, потому что мочевого пузыря у них полон вина. Приходят в комиций суровые, и требуют, чтобы (истцы) изложили свои аргументы. Обе стороны излагают суть дела... Они удаляются на совещание, где происходит примерно такое обсуждение: «Что мне до судебных дел этих болтунов? Почему бы нам не выпить меду, смешанного с греческим вином, поесть вкусного жирного дрозда и хорошей рыбы, настоящей рыбы-волк».

Сколько ученых, начиная с великого Моммзена, ломало голову над проблемой исчезновения народных собраний в поздней Республике. Какие только гипотезы не выдвигались. А оказывается всё куда проще. Уже во II-м веке до н. э. народ понял самое главное: «Жизнь услаждают бани, вино и любовь» (из надписи при входе в термы Каракаллы¹). А по Гаю Тицию у этого люда была одна забота: напиться, освободить свои мочевые пузыри на радость фуллонам, обожраться жирными дроздами и прочей снедью, чтобы заполнить латрины (туалеты с проточной водой). Но о туалетах в Риме (частных и общественных) написана не одна монография. И нам с Леней Пекаровским там уже нечего делать.

**Комиции в период Республики было главным местом для проведения народных собраний; оно находилось у подножия Капитолия. У Тиция описываются собрания, в которых заслушивались, в частности, судебные тяжбы.*

***Полный текст надписи: «Бани, вино и любовь разрушают наши тела, но жизнь услаждают бани, вино и любовь». Слова эти приписывают императорскому вольноотпущеннику Тиберию Клавдию Секунду.*

ПРОСТОР ЛАБИРИНТА

Марек Краевский, «Голова Минотавра», пер. с польского Сергея Подражанского, «Гешарим – Мосты культуры», 2012, Москва-Иерусалим

Ну, наконец-то – прочитал я аж до самого конца нынешний переводной детектив, свершилось! И, книжку переворошив, хочу грешным делом хрестоматийно вскричать (воспеть!): «Новый Конан родился!» Кыш, гуннявые саксонские варвары, издавна захватившие дойлов газон (ау, сэр Артур!) для выпаса убогих дойных коров! Брысь врассыпную и родимая чудь, методично костряющая на кирилло-мефодице убойные саги про коров в законе!

Польский писатель Марек Краевский сотворил (а Сергей Подражанский адекватно переложил) на диво читабельную книгу. Да, казалось бы не чудо, скромная похвала, но ведь сегодня это редкость, раритетный рудимент – детектив, который просто хочется читать, догоняя тающие страницы и разгадывая тайны текста. Потому как – придумано захватывающе интересно, а заодно написано хорошо. Свежо, вкусно, сочно сочинено – натуральный литературный продукт.

Увы, в продаже все реже встречается творог, но превалирует «творожное изделие» - рыхлая масса, набитая всякой бякой. При торговле творчеством, пищей худо-бедно духовной та же щемящая желудочки ситуация – есть книги, а есть «книжные изделия» - и сие печально. Ибо задолбали уже издательские зомби (лезут, как из-под земли!) – фандоринские фанерки, марининские дурилки картонные и прочий мордovorотный «женский батальон» с розовоперстым порханьем над клавиатурой (эх, ковырялки!) – примахались уже стилизованные тирсы плюс мускулистые торсы – всё это даже в глубокую глотку не лезет! До того я от этого постылого варева озверел, что задумал и сам (а чаво!) навалить

черноватый детектив «Съесть селянку» - развёрнутое полотно голодомора на Большой Ордынке, да поостыл...

Вообще, наткнувшись на Краевского, впервые за последние годы прочёл нечто живое, - шелестящее листвою, шевелящее извилинами. Марек Краевский – писатель, который оказывается (каюсь, не знал) покори́л современную Европу не хуже Переса-Реверте – переводы, фильмы, экскурсии «по следам героев книг» - всё заверте!.. И наконец, как апофеоз – пришёл по-настоящему и к нам, на языке родных берёз.

«Голова Минотавра» - первый из романов так называемого «львовского цикла». Действие происходит в межвоенное время, в конце 30-х годов во Львове (естественно, польском) и немного во Вроцлаве (тогда – немецком Бреслау). Участвуют в действе два постоянных героя Краевского – орлы-сыщики поляк Эдвард Попельский и немец Эберхард Мокк. Уж это не жалкие бесплотные персонажи, а пышущие жизнью жовиальные мужики, знающие толк в пышных женщинах и тонком пиве! По ходу розыскного дела они то и дело прихлёбывают, жуют, жуируют, с наслаждением читают сложные книжки, решают шахматные задачи, а попутно – выслеживают злыдней.

В настоящей книге этими мастерами сыска отлавливается Минотавр – матёрый монстр, насильник и убийца девственниц, на закуску (неаппетитная подробность) выгрызающий им щёки. Я б рассказывал ещё, да детективы надо самим читать, в одиночку бродить по лабиринту, заполняя крестословицу. В данном случае это интересно, но далеко не просто. Марек Краевский – человек учёный, университетский преподаватель в недавнем прошлом, классический филолог, грамотей борхесовой заправки (явно абонемент в Вавилонской библиотеке!), стилист умбертова склада (криминальная экология) – эдакий завлаб Лабиринта. Краевский дорожит словом, не хуже Джойса отсылая текст по-дальше, на край ночи, к краеугольным мифам (где своя мафия – гидры да горгоны), рассыпает пригоршнями реминисценции (для тех, кто понимает в эриниях и минотаврах), ставит тавро «литература» (а не читиво) на своих книгах.

Эта проза, на мой взгляд, сварганена по лекалам Эко – розыломброзы! – тот же интеллектуальный накал, похожий котёл католичества и каша из топора наравне с теоремой Коши... Филология на математике едет и дактилоскопией погоняет!

Короче, кропает Краевский для сапиенсов, дошедших до физики Краевича, но любящих погорячее – так сказать, для про-

стессуры. Ведь ежели читатель не ханжа, то жанр ему неважен – любой, кроме скучного – абы написано талантливо. Настоящий детектив, как ладно скроенный лабиринт, предполагает простор для метания мыслей и версий, а автор лишь ненавязчиво подбрасывает ариадно-путеводный клубок – до дна аида. Эх, жизни-смерти спутанные нити!..

Удивительно любопытно, поверьте – и неотложно проверьте! – наблюдать за лабиринтными похождениями двух блистательно-брутальных интеллектуалов-раздолбаев. И тезаурус у них, здешних тезеев, соответствующий – академическая латынь вперемешку с полицейским жаргоном. Эдвард Попельский и Эберхард Мокк как бы неустанно обсуждают знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик» - в книге хватает и пьяного гвалта в кабачках, и брани в участках, и блатного аргю польско-еврейских бандюков-налётчиков, по-львовски – батыров, чей нездоровый быт и неподражаемая феня переданы смачно, как у Бени – прямо «Крик-2»! Тут надо поднять и хлопнуть отдельный виват за перевод Подражанского – он умудрился найти брод и перетащить на наш берег действительно тяжкий воз текста. Воистину, как говаривал Иероним Стридонский – «толмач не корпит над мёртвой буквой, а судом победителя переводит пленные мысли на свой язык». При этой пересадке на русскую языковую почву бережно сохраняется луб дерева детектива, сиречь фабула, внешняя канва, сюжетная жуть, извечная борьба добра и зла, ратная тяжба героев с роем злодеев... И пусть наши славные тезеи-витязи местами тучны и лысы, и стезя их крива и запутанна – ан быются они умело и сражаются не на шутку. И утешением им является не покой, а новые и новые заковыристые подвиги. Во славу того, что они называют законом и справедливостью. Что ж, им видней, люди опытные... У них особый дедуктивный метод – в обнимку с бабами, выпивкой и рефлексией – очень красочно и конструктивно.

Известно, что детективы – недетские сказки. На нашей памяти Ниро Вульф спасал несчитанных козлят с поросятами, а бабушка Марпл освобождала из затвора Красную Шапочку. Пришла, видно, пора и польско-немецким шерлокам показать, что закон есть порядок, а прыть ещё не згинела. Сыщики-загонщики старательно гоняются за зверем – азартный гон спозаранку, гоньба в ночи – всяко льётся преступная пся крев, курвы в притонах занимаются присущим, а на арене текста оттиснут символ: дрессировщики – Львов.

Город вольно или нежданно – чуть ли не самый важный персонаж книги. И пейзаж романа – отнюдь не бумажный, топографически отточенный, этнографически зримый. Оживают заснеженные улицы и бронзовые памятники, случайные прохожие и точные координаты... Биография города – с датами событий и поддатыми особями. Аура тамошнего времени и тогдашнего пространства, маршруты передвижения героев и дотошные детали реальности – переданы фантазией автора с чувством и расстановкой. Да, Львов – это тут особая песня! Много ли во внедетективной даже литературе столь досконально-пиитических описаний сего города! Не могу смолчать и о «Кратких комментариях переводчика для любознательного читателя» на последних книги – это целое отменное «эссе» Сергея Подражанского на десерт вдумчивому ценителю, ностальгический экскурс во Львов, прогулка по опавшему прошлому, по скрипящему снегу и хрустящей листве мест и дат, хронотоп в постскриптуме. Словом, глотайте роман от пуза и одновременно зачарованно погружайтесь в него, странствуйте запросто по вольготно-готическим просторам страниц Краевского. Автор, как картавый кипплинговский гостеприимный Каа радушно приглашает – пшепрашам! Что ж, закону заманчиво-вкрадчиво (хорошо ли вам слыш-ш-шно?) – добро пожаловать в лабиринт!

В 146-м номере нашего журнала (2007 г.) была напечатана статья москвички **Риммы Мошинской** «Мандельштамовские подтексты романа Ю.Н. Тынянова “Смерть Вазир-Мухтара”», а в 162-м номере (2011 г.) мы поместили ее эссе «Эмма Б. и Маргарита». В сентябре 2011 г. в иерусалимском издательстве «Филобиблон», по инициативе и на средства его директора, д-ра Леонида Юниверга, небольшим, пробным, тиражом вышла первая книга Мошинской «Неизвестное об известном», в которую вошли и названные работы.

После выхода 162-го номера журнала из Москвы пришло печальное известие: **14 января 2012 г. не стало автора книги «Неизвестное об известном».** Редакция выражает глубокие соболезнования ее родным и близким. Сегодня мы знакомим наших читателей с рецензией московского филолога на эту книгу.

Елена Погорельская

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ, ИЛИ ЗАМЕТКИ ВНИМАТЕЛЬНОГО ЧИТАТЕЛЯ

В книгу, изданную с подзаголовком «Заметки читателя», вошли работы, посвященные хорошо известным произведениям русской литературы. Однако «читатель» перед нами необычный, как необычен и подход к этим произведениям. Жанр предлагаемых «заметок читателя» я бы определила как литературоведческие эссе, так как перед нами попытка взглянуть на «известные» произведения с точки зрения их литературных источников, целых пластов разного рода реминисценций, аллюзий, скрытых «цитат» и т.п. Таким образом, каждое произведение автор вставляет в широкий литературный, исторический и культурный контекст.

Большая часть вошедших в книгу работ публиковалась ранее (начиная с 1980-х годов) в научных сборниках, журналах и газетах. Несколько статей напечатаны в книге впервые.

В предисловии Ирины Калинковицкой, озаглавленном «Приглашение к внимательному чтению», говорится: «“Главные герои” книги Риммы Мошинской – это два великих романа: “Капитанская дочка” А.С. Пушкина и “Мастер и Маргарита” М.А. Булгакова. Они взаимодействуют друг с другом и вступают в отношения с другими “персонажами книги” – бульварными романами начала прошлого века, старой доброй русской классикой XIX века <...> Авторские ассоциации неожиданны и головокружительно <...> С ними можно соглашаться или не соглашаться, но они заставляют

читателя задумываться, еще и еще раз возвращаться к казалось бы знакомым текстам, анализировать их и размышлять вместе с автором».

Первое эссе «Герои и прототипы. Кто был кто в “Капитанской дочке”?» знакомит нас с происхождением имен, отчеств и фамилий в произведении А.С. Пушкина. «Если прислушаться к именам героев “Капитанской дочки”, – пишет автор, – то проступают созвучия, а иногда и полные совпадения с именами широко известных в пушкинское время литературных персонажей, с именами исторических лиц, действующих на страницах пушкинского труда “История Пугачева”, и, наконец, – с именами людей из ближайшего пушкинского окружения».

Одним из «источников» «Капитанской дочки» автор книги (действительно неожиданно!) считает «Историю кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево, и она убедительно это доказывает, сопоставляя отрывки произведений, сюжетные линии и имена героев.

Р. Мошинская не только прослеживает связи «Капитанской дочки» с другими литературными произведениями, но и обнаруживает «изобразительный подтекст» одной из ее глав. Речь идет о главе «Суд» и о гравюре Н.И. Уткина «Екатерина Вторая» (с портрета В.Л. Боровиковского), а также о популярной в те годы в России гравюре У. Хогарта «Будуар графини». Рассматривая подпись под гравюрой Уткина «Екатерина Вторая – Николаю I» как своего рода пародию на посвящение на «Медном всаднике» – «Екатерина Вторая – Петру Первому» – и учитывая сатирическую направленность гравюры Хогарта, автор работы делает вывод: «Обращение к известным гравюрам заставляет предположить карнавальную сущность развязки трагического сюжета и усомниться как в милосердии Екатерины Второй, так и в милосердии ее царственного внука».

Две работы посвящены Ф.М. Достоевскому. В одной из них («Верите ли вы в привидения?») говорится о контексте «Недоросля» Д.И. Фонвизина и «Пиковой дамы» Пушкина в «Преступлении и наказании» (сюжет с «загробными визитами» покойной жены Свидригайлова Марфы Петровны), во второй («Писатель с “Улицы Морг”») – о мотивах Э. По в романе Достоевского.

В свою очередь, оба эти произведения – роман Достоевского и детективную новеллу По – включил в контекст «Мастера и Маргариты» М.А. Булгаков.

Хорошо известно, что роман Булгакова – одно из самых насыщенных в мировой литературе произведений с явными и

скрытыми цитатами, парафразами, реминисценциями, вариантами чужих мотивов и образов. Многие из этого прослеживает Р. Мошинская в своей книге. Так, одним из основных источников романа Булгакова автор считает книгу М.О. Гершензона «Грибоедовская Москва» и приходит к заключению, что «Мастер и Маргарита» – «роман о грибоедовской Москве XX века» («Где оскорбленному есть чувству уголок...» М. Булгаков и А. Грибоедов»). Еще один изобразительный источник, но уже XX века, – советский плакат Г.М. Шегалю «Избавим женщину от домашнего рабства» – который дал толчок автору книги к сопоставлению романов «Зависть» Ю.К. Олеши и «Мастер и Маргарита».

Чуть перефразируя поэта, можно сказать, что автор книги стремится во всем «дойти до самой сути». Отсюда, вероятно, такое внимание к деталям исследуемых ею произведений, которые она выявляет мастерски. В эссе о «Зависти» и «Мастере и Маргарите» она пишет об «элегантном сером костюме» Андрея Петровича Бабичева и соотносит его с «дорогим серым костюмом», в котором Воланд впервые появился на Патриарших. Однако вроде бы цивильное одеяние Бабичева дополняется «черным биноклем», висевшим у него на животе, что, как пишет Р. Мошинская, придавало «бывшему комиссару излюбленный вождями полувоенный вид». Здесь же автор дает сноску, значимую не только в контексте сопоставления двух произведений, но и в контексте исторической эпохи, когда создавался роман Булгакова: «Вспомним театральный бинокль на животе кота Бегемота, украсившего себя перед балом: в придачу к биноклю – золоченые усы, деталь, знакомая каждому в эпоху интенсивной “монументальной пропаганды”. Наряду с дорогостоящими мраморными и бронзовыми статуями человека с усами по всей стране, в учреждениях и даже частных жилищах, стояли гипсовые, выкрашенные “золотой” краской изображения вождя».

Надо сказать, что автор книги не только великолепно отыскивает точки соприкосновения между разными литературными произведениями и произведениями изобразительного искусства, но и сопоставляет их с историческими реалиями. Так, например, в связи с образом Воланда и темой «иностранцев», «интуристов» на страницах «Мастера и Маргариты» возникают две реальные исторические фигуры и два эпизода, с ними связанных. «Как тут не вспомнить “интуриста” Андре Жиду, – пишет Р. Мошинская, – дружба которого с Советским Союзом закончилась после выхода в свет его книги о визите в СССР, да и Фейхтвангер так талантливо “похвалил” порядки в Москве 1937-го и процессы

над троцкистами, что хотя его книга и была сгоряча переиздана в Москве, но вскоре разобрались, и книга бесследно исчезла из магазинов и библиотечных стеллажей».

Не могу не упомянуть и о статье, завершающей книгу Р. Мошинской, «Неподнятая целина». Рассматривая этимологию фамилий героев М. А. Шолохова, она приходит к выводу, что «Поднятая целина» – это отнюдь не «гимн-эпопея победе колхозного строя» (а именно так читался этот роман на протяжении многих десятилетий). «Роман “Поднятая целина”, – заключает она эту работу, – еще ждет своего прочтения. Как и многие книги странного явления, называемого “советской литературой”. Ведь авторы ставили перед собой две очень трудно совместимые задачи: сказать правду и сделать так, чтобы книга дошла до читателя».

В авторском предисловии к книге Р. Мошинская пишет: «Может быть, мои попытки установить связи между, казалось бы, далекими друг от друга явлениями помогут читателю лучше понять знакомые, много раз читанные книги».

На вопрос, как это все рождается в ее сознании, какими методами она пользуется, Р. Мошинская и сама не может дать точного ответа. И все же некая закономерность существует. Прежде всего появляется «образ: звуковой, визуальный, пластический <...>». Поначалу ассоциация кажется случайной, ее отгоняешь, но фильтр начинает работать сам по себе, отбирая факты и аргументы. Сгруппированные факты сами проясняют смысл совпадения». «Метод» преподавателя литературы Р. Мошинской оказался «заразительным»: ее ученики, включившись в эту «игру», даже через много лет после окончания школы приезжают к ней, чтобы рассказать о своих литературных находках.

Р. Мошинская предлагает будущим читателям тоже включиться в увлекательную «игру» и «продолжить поиски параллелей и пересечений самостоятельно». Однако нельзя не признать, что нужно обладать эрудицией и ассоциативно-образным мышлением автора обзораемой книги, чтобы так виртуозно находить литературные «параллели и пересечения» и сопрягать совершенно разные и не соотносимые, на первый взгляд, вещи.

Книга Риммы Мошинской «Неизвестное об известном» представляет значительный интерес как для литературоведов и учителей-словесников, так и для всех, кто интересуется русской культурой. Поэтому хочется верить, что этой книгой заинтересуется одно из серьезных российских издательств, которое сможет напечатать ее тиражом, достаточным для того, чтобы она стала доступной более широкому кругу читателей.

ИНТЕРВЬЮ С ВИРТУОЗОМ ЭСТРАДНОГО ЖАНРА (МАРЬЯН БЕЛЕНЬКИЙ)

1. Марьян, каковы истоки вашего творчества? Почему вы выбрали именно юмористический, эстрадный жанр? Как все начиналось в вашей творческой жизни?

- Это жанр выбрал меня. Я еще в детсаду понял, что для того, чтобы привлечь внимание девочки, ее надо рассмешить. С тех пор и пошло. Я публиковался в журнале «Малютко» в 10 лет, в журнале «Костер» в 12, а с 16 стал постоянным автором юмористических программ украинского радио, и УААП завел на меня трудовую книжку с записью «Драматург эстрады». Она у меня до сих пор хранится. Недавно я встретил в Израиле свою бывшую редакторшу из «Костра». Ей теперь под 80. Вот что она рассказала:

«Однажды в журнал пришло письмо от мальчика из Питера, который спрашивал – я хочу, когда вырасту, работать в КГБ. Что для этого нужно?»

Меня вызвал главред, показал это письмо и сказал:

- Маша, надо ответить этому придурку, а то он на нас наступит».

2. Как вы познакомились с классиком израильской литературы Эфраимом Кишоном? Как сложился ваш союз (писатель – переводчик)? Это объяснялось в какой-то мере тем, что вы оба эмигранты, люди, приехавшие в Израиль из других стран?

- Основатель издательства «Гешарим» Михаил Гринберг приобрел у Кишона права на издание его книг на русском. По условиям договора, переводчики переводили один и тот же рассказ, переводы посылали автору, он решал, кого выбрать. Я этот конкурс выиграл. Вот как об этом пишет сам Кишон в газете «Ха Арец», в конце статьи: <http://www.haaretz.com/culture/arts-leisure/tears-of-laughter-1.29584>

Я звонил ему в Швейцарию, в Аппенцель. И даже туда съез-

дил. Он мне оплачивал дорогу. А когда он приезжал в Израиль, приходил к нему в трехэтажный особняк на ул. Ха-Хитнадвим (улица Добровольцев) 24 в Тель-Авиве. Сделал с ним интервью: <http://www.sem40.ru/index.php?newsid=203695>

Он объяснял мне свой успех так:

- Когда я приехал, в 1948, мы – репатрианты, были большинством в стране, а они – коренные – меньшинством. Поэтому я как бы представлял большинство. У тебя так не получится сегодня. Но я могу тебе помочь и раскрутить тебя как своего переводчика.

Он так и сделал. Несмотря на то, что Кишон умер 31 января 2005 года, он до сих пор успешно выполняет функции моего литагента. Его рекомендация магически действует в различных фондах. Мифаль-а-пайс под рекомендацию Кишона трижды давал мне деньги на издание моих книг.

Однажды он снял с руки часы:

- Вот. Будешь всем рассказывать, что Кишон подарил тебе часы.

- Мне никто не поверит, - говорю я, - дайте справку.

- Да ладно, кому надо, пусть позвонит, я подтверждаю.

3. Ваш путь юмориста, как я понимаю, был усыпан и розами, и шипами. Расскажите, пожалуйста, самый смешной и забавный случай из писательской жизни – и самый драматичный случай...

- Таких случаев я могу на целую книгу набрать. Киев, конец 80-х. Стою я в очереди за сыром и читаю ивритскую книгу. За мной стоит мужичок в ватнике и кирзачах, небритый. И я слышу его голос:

- Как ты, зная такой язык, стоишь в очереди за этим дерьмом?

4. Какова разница между ментальностью российского и израильского читателя? А – редактора? Чем принципиально отличаются задачи и принципы российской и израильской прессы?

- Мне проще говорить о ментальности зрителя, чем читателя. У израильских «русских» скорость реакции на репризу выше, чем в России и Украине. Там надо ждать несколько секунд, пока дойдет.

Задача прессы в любой стране – зарабатывать деньги на рекламе.

У меня есть колонка в московской газете «Взгляд». От своих

читателей я с большим интересом узнал, что я – агент Мосада, ШАБАКа, Госдепа, ВЖОПУ (Высшее Жидомасонское Оккупационное Правительственное Управление). Мои читатели в России всерьез полагают, что израильские танки давят гусеницами палестинских детей, они верят в всемирный еврейский заговор, в добавление крови в мацу и т. д. Если бы не комменты к моим статьям, я бы не знал, что такие люди существуют.

5. Еврейский юмор - этот феномен существует? В чем его суть, на ваш взгляд? Какие у него перспективы?

- Весь советский юмор был, по сути, еврейским. На эту тему у меня есть статья в том же «Взгляде»:

<http://vz.ru/opinions/2012/2/2/558516.html>

6. Нравится ли вам ситуация в израильской культуре и искусстве в целом? Что вас пугает, раздражает, возмущает в культуре нашей страны? Кто виноват в том, что многие наши начинания «буксуют»?

- 20 лет я живу в Израиле. У меня такое впечатление сложилось, что израильская «культура» - это детки, играющие в песочнице, которые категорически не хотят, чтобы в их игру вмешивались взрослые. «Иди, дядя, не мешай». Основной термин, который я бы применил к израильской «культуре» - убожество. Истеблишмент раскручивает небольшую группу «левых», основная заслуга которых в том, что они интенсивно лижут жопу арабам. Амос Оз побывал в тюрьме у убийцы и террориста Баргути. После этого я дал себе слово никогда не брать в руки книг Оза.

Убожество касается всего – балет, разговорный жанр (стенд ап комеди), кино, театр, музыка и т. д. Еще 20 лет тому я поразился крайне низкому уровню юмористических передач «Зе у зе». Израильтяне постоянно быют себя в грудь, изобретая велосипед. Причем, они утверждают, что наш, еврейский велосипед с шестиугольными колесами значительно лучше гойского с круглыми.

7. Если вас сегодня хорошо знают и любят в России, на постсоветском пространстве, стоило ли уезжать? Израиль – ваша страна, место, где вам лучше живется, кабинет для работы, еврейский заповедник?

- Откуда мы знали, как будет, когда уезжали 20 лет тому? Мы уезжали от бардака, дефицита, очередей, неустроенности, бандитизма, талонов, купонов, инфляции, безработицы, слухи про погромы ходили постоянно.

Теперь ничего этого нет. Но те, кто не уехал, тоже эмигрировали, не выходя из дому - из СССР - в Украину, Россию, Казахстан и т. д. И я не знаю, кому из нас легче. Нам хотя бы деньги платили поначалу, нас специальное министерство опекало. А их там бросили на произвол судьбы.

8. Постановка ваших пьес в США – знак популярности, удача и дружеская взаимопомощь – или показатель того, что поистине смешное смешно в любом уголке мира?

- Не преувеличивайте. Одной пьесы. Виктор Топаллер увидел мой перевод пьесы Кишона в Сети и поставил ее. Я к этому отношения не имею.

9. На вашу долю выпало много испытаний, вы побывали в разных, подчас не слишком комфортных местах, какой опыт кажется вам наиболее ценным?

- Мой опыт выживания в эмиграции достаточно суровый. Говорят, что каждый эмигрант должен сожрать свою порцию дерьма. Того, что сожрал я, хватит на полк солдат.

10. Что для вас любовь? Она ведет вперед, держит на плаву, предает, ворожит, обманывает ложной надеждой?

- Так наз. «любовь» - главный миф западной цивилизации. «Любовь» придумали женщины, чтобы заставить мужчин жениться и разводить их на подарки. «Любовь» - такая же разводка для лохов, как гербалайф, модернизм, обещание легкого заработка огромных денег, похудения без диеты и физических упражнений, изучения английского за сутки, таблеток, излечивающих все болезни; сеансы Кашпировского и т. д.

11. Насколько вы удачливы?

- Для удачливого человека удача – это закономерность, а неудача – досадное недоразумение. Для невезучего – наоборот. Приступая к любому делу, надо верить, что оно получится. Иначе нет смысла. Я верю. Если в сальса-клубе со страхом в глазах подойдешь к девушке, она откажет. А если просто берешь ее за руку и начинаешь – куда она денется? «Как можно любить кого-то, если есть я» (Это уже цитата из пьесы Хануха Левина. Но о Левине нужен разговор отдельный, у меня с ним особые отношения).

12. Кто ваш главный враг?

- Я его вижу каждый день в зеркале.

13. На какой вопрос вам приятнее всего было бы ответить?

- «Вы занимаетесь танцами, регулярно ходите в сальса-клубы. Как это сочетается с творчеством?»

- И то и другое – творческий процесс. Активизация физическая способствует активизации мозга. Девочки, с которыми я танцую, ничего не знают про тетю Соню, публикации и лауреатские звания. А в их глазах отражается не старый больной еврей с уймой комплексов, а молодой и крутой «мачо», который вертит их как хочет, и им это нравится. Я это по запаху определяю.

Вот недавно был случай. Я был на международном сальса-конгрессе в Эйлате. Чем хорош международный конгресс? Танцуешь с девушкой, не зная, из какой она страны и на каком языке она говорит. А у меня последний автобус в 17.30. Если опоздаю, придется ночевать на улице. А это не очень приятно – энцефалитный клещ, комары, пыль, змеи, арабы. И вот музыка кончается, а она в глаза мне смотрит, за руку держит и не отпускает. И говорит, видимо, единственную фразу, которую она знает по-русски: «Еб твою мать». Оказалась ливанская арабка-христианка из Парижа.

14. Какие ваши коллеги, партнеры, друзья вас в жизни поддержали – и их благородство, альтруизм вас удивили?

- Никто и никогда меня не поддерживал. Я всего добиваюсь сам.

15. Что вы сами читаете, слушаете, смотрите?

- «Чукча - не читатель, чукча - писатель». Некогда чужое смотреть, слушать и читать. Дай бог свое успеть записать. Я пишу в день по несколько текстов – статьи, рассказы, очерки, переводы. А в автобусе, на улице, в очереди, я слушаю «латину» - Компай Сегундо, Сезария Эвора, Селия Круз, Buena Vista Social club, Юрий Буэнавентура, и т. д. Эти имена звучат для меня музыкой.

16. В ком из героев больше всего вас самого?

- Представьте себе ослика Иа в сальса-клубе. Или того же ослика, выступающего в жанре «стенд ап комеди». «Стенд-ап» - это отдельный разговор, кстати. Я об этом книгу написал, а издать не могу. Нет рецензентов. Никто в этом не разбирается.

17. Успех «тети Сони» дал импульс знаменитой актрисе. Слава вас нашла вопреки или благодаря этому факту?

- О славе говорить не приходится, но известность в профес-

сиональных кругах пришла в один день, когда «Тетю Соню» показали по ТВ. Но это заслуга Клары Новиковой, которая в любых интервью называла мое имя, и делает это по сей день. Тете Соне собирались памятник ставить в Ялте. Памятников литперсонажам множество, но почти все они воздвигнуты через десятки, а то и через сотни лет после смерти создателей этих персонажей. Я, насколько мне известно, пока жив.

18. Вы говорили, что вас публикуют в Китае. Китайцы понимают еврейский юмор?

- Конечно нет, у них вообще с юмором напряженка. Их интересует переход от социализма к капитализму, а об этом у меня немало написано.

19. Вы не устали от жизни, литературы, творческого марафона ?

- Наоборот. Жизнь только начинается.

20. В чем секрет ваших успехов?

- Ну, это просто. У меня на пиар и рекламу уходит 99% времени и сил. На писанину остается 1%. О моих литературных способностях можно спорить. Но мои способности в области самораскрутки, саморекламы и самопиара - очевидны. Если кому-то это не нравится – это его проблемы. Я буду продолжать этим заниматься по простой причине – у меня есть что раскручивать и рекламировать. Я этим занимаюсь 25 часов в сутки без выходных и без перерыва на обед.

21. Но ведь в сутках же 24 часа.

- А я встаю на час раньше.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «22» (№№ 146-165)

Авторы перечисляются в алфавитном порядке фамилий. В скобках жирным шрифтом указаны номера журнала, светлым - страницы.

ПРОЗА

Эли **Бар-Ялом**. Два рассказа (158, 58)

Марьян **Беленький**. Сдача дежурства (151, 109). Глокая куз-дра (152, 3). Монологи (154, 104). И возроптал народ (159, 15). Не-формат (162, 72). Сыграйте за любовь (163, 106).

Александр **Брасс**. Другая жизнь (149, 33).

Нина **Воронель**. Светка-нимфетка (146, 3), (147, 21). Дальний Восток и Ближний Запад (150, 29). Институт Че Гевары (152, 6). Мимолетные встречи (161, 53). Маленькие трагедии (164, 86). Секрет Сабины Шпильрайн (165, 7).

Микки **Вульф**. Реалити-шоу (161, 45).

Игорь **Гельбах**. Склон горы в сухой день (161, 3).

Нелли **Гутина**. Израильтяне - «Сделано в СССР» (158, 3).

Александр **Дорошенко**. Барабанщик (147, 116). Отравитель Коган (161, 35).

Марк **Зайчик**. Ученик Левитана (151, 43). «Авубистэ» (153, 97). Внучка Анастасии (160, 109). Уроки рыбака (161, 72). Два рассказа (164, 3)

Фрэдди **Зорин**. Куриная глухота (157, 67). Как я сел (165, 144)

Роман **Казак-Барский**. Camel (153, 47). Женское счастье (155, 87). Снежинка Коха (157, 3). Танго (158, 46).

Давид **Каспер**. Невиртуальная реальность (151, 3).

Илья **Кутузов**. Отец песка (157, 70). Секретная золотая рыбка (152, 74). Резиновый ежик и четыре грузовика (153, 84). Снег (155, 3). Радуга (158, 72).

Александр **Ласкин**. Погром (164, 147).

Кэтрин **Лев**. Багдадские заметки (148, 3).

Леонид **Левинзон**. Лорд Кришна (148, 118).

Павел **Лукаш**. О девчонках (156, 62).

Изидор **Ляст**. «Земля обетованная» (149, 179).

Давид **Маркиш**. Круглый стол в Бараньей долине (159, 17).

Зоя **Мастер**. У самого синего моря (163, 39).

Иоанн **Палестинский**. Апокалипсис для Америки (160, 10).

Леонид **Пекаровский**. Шомер (152, 116). До встречи в раю (159, 3). На автостоянке (165, 118).

Галина **Подольская**. Голубой топаз (154, 78).

Сергей **Подражанский**. Наши анналы (160, 104).

Денис **Соболев**. Поезд Хайфа-Дамаск (159, 44)

Анна **Соловей**. Ребенок профессора (156, 27). Сопротивление языка (163, 157).

Ирина **Спивак**. Ночь (147, 3).

Соня **Тучинская**. Я знаю сам (163, 78). «Милая, загадочная Соня..» (164, 104)

Валентина **Тырмос**, Яков **Верховский**. Два детских голоса (149, 160).

Анна **Файн**. Гибкая рука (159, 68). Тихая женщина (164, 34).

Александр **Фрадис**. Из песни слов (159, 79).

Артур **Фредекинд**. Страх (151, 93). Wochenende mit Regenschirm (162, 48)

Зезв (Владимир) **Фридман**. Пробуждение (165, 107).

Вадим **Чирков**. Зеркало Хаджибея (146, 82).

Яков **Шехтер**. Богач, бедняк. (152, 92). На пустом месте (154, 66). Второе сердце (155, 93). Красавица Циля (157, 53). Перед тобой - вечность (160, 32). Страшная шкода (162, 73). Праведник (163, 10). Пульса де-нура (164, 57).

Эдуард **Эдлис-Мартиросян**. Вечный ангел (153, 117). О личном и не только (163, 221).

Михаил **Юдсон**. Регистрация (146, 98). Новые приключения Лилипута (150, 6).

ДРАМАТУРГИЯ

Нина **Воронель**. Оглянись в слезах (153, 3). Прости меня Ха-наан (156, 101). Сальто-мортале (160, 43). Маленький канатоходец (162, 3). Дуся и Драматург (163, 114).

Валентин **Красногоров**. Фуршет после премьеры (148, 60).

ПОЭЗИЯ

Рита **Бальмина**. Стихи. (165, 127).

Наум **Басовский**. Новые стихи (147, 15). Квартет (148, 11). Играющий в бисер (150, 25). Исповедь (153, 75). Книга Иова (157, 126). Семь сонетов (161, 31). Пустынник (164, 29).

Марьян **Беленький**. Румба (158, 44).

Марьян **Беленький**, Ирина **Бузько**. Плоскогубцы (162, 47).

Марина **Бородицкая**. Встаньте, кто помнит (154, 102).

Александр **Бродский**. Гойески (146, 136).

Марк **Вейцман**. На упраздненном языке (151, 39). На скрипках времен (154, 74). Расклад (159, 39). То, что названо счастливым (163, 35).

Виктор **Голков**. Стихи (149, 120). Так исчезло мое поколение (154, 62). Стихи (160, 28). Кто день от ночи отличит (165, 3).

Анатолий **Добрович**. Стихи (148, 55). Торжественная ода журналу «22» (150, 3). Из итальянского блокнота (155, 23). Зачем я здесь (160, 3). Стихи (165, 104).

Фрэнди **Зорин**. Моцарт и Сальери (146, 133). Стихи (151, 107). Оркестр памяти (153, 93). Я дом построил (159, 75). Черный дрозд (163, 75).

Из современной литературы идиш (сост. Лев **Беринский**). (151, 68).

Константин **Кикоин**. Вот человек (159, 98).

Леонид **Колганов**. Душа в земле (156, 58).

Виктор **Конторович**. Гурзуфский этюд (146, 80). Стихи (164, 82).

Валентин **Красногоров**. Объяснение в автобусе (153, 43).

Павел **Лукаш**. Стихи (157, 63)

Ирина **Маулер**. Стихи (150, 67). Музыка (162, 110).

Евгений **Минин**. Пародии (161, 82).

Эстер **Пастернак**. Стихи (152, 90).

Марлена **Рахлина**. Стихи (158, 50).

Александр **Ревич**. Перед светом (159, 63).

Инна **Росс**. Стихи (152, 56). Песах (161, 43).

Владимир **Саришвили**. Полководец и бабочка (146, 93). Стихи (147, 114).

Александр **Танков**. Стихи (160, 39).

Александр **Тимофеевский**. Стихи (164, 46).

Григорий **Трестман**. Жертвоприношение (155, 23).

Борис **Ханукаев**. Танки (148, 123).

Александр **Шапиро**. Аргентинец (155, 83).

Климентий **Югай**. Стихи об Израиле (159, 210).

Михаил **Ясн**ов. Праздник утрат (157, 49).

ПЕРЕВОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Дани **Бен-Ишай**. Чистый сионизм, пер. М. Мануйловой (160, 194). Миф о конфликте, пер. М. Мануйловой (162, 198).

Рон **Лешем**. Бофор, пер. З. Бен-Арье (156, 3).

Письмо Менахема Бегина, пер. Д. **Мурина** (154, 136).

Орли **Рубинштейн**. Рыба на безводье, пер. М. Рахлина (154, 3),

(155, 28).

Менахем **Тальми**. Три рассказа, пер. А. Крюкова (152, 59).

ПУБЛИЦИСТИКА

Галина **Аккерман**. Другая версия развития (интервью с М.С. Горбачевым) (151, 130).

Евгений **Бень**. Моя долгая дорога в Эрец (148, 205).

Евгений **Беркович**. Предтеча (147, 151). Смятение умов (148, 153). Похвала точности (152, 118).

Елена **Биргауз**. Нынешние события... (161, 183).

Елена **Боннэр**. Выступление на конференции в Норвегии (154, 139).

Эдуард **Бормашенко**. Атеистическая трагедия (146, 196). Онеменение картины мира (150, 123). Разбитая жизнь (151, 214). Человек упорядочивающий (153, 119). Эдип и Адам (156, 75). Разрушение Храма (157, 123). Живое и мертвое (157, 179). Прощай, очевидность (158, 167). Чувство меры (159, 159). К вопросу о... (160, 154). О разуме, чувстве и вере (162, 144). Грань хаоса (164, 135). Мертвая истина (165, 159).

Александр **Воронель**. От редактора (146, 180), (149, 200), (151, 177), (152, 143), (156, 159), (158, 42), (159, 170), (160, 6), (161, 204), (162, 113). Печальный Демон и российская судьба (147, 189). Солженицын и российский прогресс (149, 25). Кого и чему учит история (150, 129). Начало и конец (151, 178). Мир как воля и представление (154, 127). А. Сахаров и Э. Теллер (155, 158). Вечный комиссар (156, 191). Завет Конфуция (157, 193). Пророки и «праведники» (159, 164). Детство, далее везде (161, 105). Арабская весна и Февральская революция (164, 177).

Нина **Воронель**. Хазарская загадка (148, 196). Венок на могилу ретрограда (149, 3). Гений и злодейство (153, 134). Ложь во спасение (155, 169). Клуб троечников (158, 179).

Юлия **Вудка**. Тринадцать минут (147, 145).

Микки **Вульф**. След в истории (151, 168).

Нелли **Гутина**. Тогда и сейчас (147, 124) «Мир или смерть» (148, 139). Женщина, которая нас понимает (149, 209). Как нам обустроить Израиль на русский манер (152, 146).

Анатолий **Добровиц**. Социофрения (154, 144).

Георгий **Дризлих**. Детские болезни «левизны» и «правизны» (164, 184).

Владимир **Идзинский**. Израильское общество (146, 151). Россия на перепутье (151, 144). Михаил Горбачев - первый советский правитель европейского типа (161, 133). Вечер памяти Льва Троц-

кого (165, 171).

Юрий **Карякин**. Сахаров и Солженицын (155, 154).

Моше **Кенигштейн**. Все можно сделать (интервью с Юрием Штерном) (153, 139).

Александр **Кустарев**. Этничность и государственность (158, 145).

Марк **Куферштейн**. Рождение Ноосфера (151, 154). Финансовый кризис (152, 137).

Александр **Мелихов**. Нам нужен мир (146, 184). Три составных источника ксенофобии (148, 176). Наследие прошлого или уроки настоящего? (150, 185). Стандарты геноцида (157, 164). Пророк, спустившийся на землю (158, 135). Свет с Востока и владыки стандартов (161, 155).

Давид **Михаэли**. «Образ жида» (148, 187).

Яков **Нелькин**. Тупик - или канал? (163, 215).

Обращение Международного общества «Мемориал» (148, 213).

Михаил **Румер-Зараев**. История реализованных утопий (150, 163). Меч отмщения (154, 191).

Олег **Савельзон**. Проект противодействия глупости в Израиле (156, 162). Проекты постороннего (163, 199).

Виталий **Свечинский**. О смысле истории (150, 135). Необходимое сопровождение (160, 218). О смысле жизни (165, 146).

Михаил **Сидоров**. Февральско-Октябрьская революция (150, 190). Владимир Соловьев, его сторонники и противники (158, 121). Между террором и провокацией (161, 122). К истории одного диагноза (163, 191). Еврейский вопрос на Ближнем Востоке (165, 188).

Ефим **Спиваковский**. Сквозь вечный страх (154, 199). О толпе (158, 173). Дон Кихот из Харукани (159, 212).

Роман **Сухолюцкий**. Время односторонних решений (157, 200).

Анна **Файн**. Память о Юле (147, 139).

Ида **Фельдблат**. Глазами очевидца (150, 151).

Артур **Фредекинд**. Смерть, которую многие долго ждали (149, 16). Pirsum ha-nec (152, 174).

Сай **Фрумкин**. Демографический сбой (150, 156).

Владимир **Ханан**. Русская национальная идея (147, 161). Еще раз о корнях террора (148, 182). Холокост: вчера, сегодня и (157, 169).

Давид **Цифринович-Таксер**. За ценой не постоим (152, 194).

Валерий **Чалидзе**. Безусловное право на существование (160, 217).

Юрий **Шейман**. В лабиринтах духа (147, 180). Через горнило

сомнений (**151**, 113).

Яков **Шехтер**. Место истины (**150**, 147).

Лена **Штерн**. 36 лет и 36 дней. (**153**, 150).

Леонид **Штильман**. Введение в виртуальную реальность (**152**, 128). Мир как он есть (**156**, 134).

Ася **Энтова**. «Война идеалов» (**147**, 134). Террор как война и как мир (**162**, 181).

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО.

Марк **Амусин**. Иное будущее и новое прошлое (**149**, 138). По ту сторону слов (**158**, 88).

Аркадий **Бартов**. Иной мир возможен? (**149**, 128).

Наум **Басовский**. О Воронеле (**161**, 199).

Инна **Беленькая**. Прав ли был Элизер Бен-Иегуда (**159**, 181).

Марьян **Беленький**. Планета stand-up comedy (**156**, 141).

Светлана **Бломберг**. Сотворение городского мифа (**165**, 130).

Эдуард **Бормашенко**. Чехов (**161**, 87). С любовью и восхищением (**161**, 200). «Огненный лед» Генриха Соколика (**163**, 176).

Иосиф **Букенгольц**. Вслед за Моисеем (**154**, 160). Сказка реальности (**161**, 115). Печаль жизни (**162**, 141).

Дмитрий **Быков**. «Виноград русской и мировой культуры оказался для Жаботинского зелен» (**149**, 202).

Изя **Вальдемиров**. Соединение с природой (**162**, 203).

Нина **Воронель**. Светлой памяти Ренаты Мухи (**153**, 225). Портреты (**155**, 106). История моего «Дибук» (**156**, 96). Из цепких лап забвения (**157**, 88). Мой Галич (**163**, 112).

Микки **Вульф**. Представления (**155**, 143). «Тутанхамона видел я в гробу» (**156**, 199). Похождения С.Г. (**162**, 165).

Виктор **Голков**. Несколько слов по поводу (**149**, 206).

Михаил **Горелик**. Казус доктора Гордана (**159**, 111). Экклезиаст: текст и жест (**161**, 100).

Анатолий **Добрович**. Косой снег (**149**, 123). Рассуждения о психологии религиозного чувства (**151**, 192). Вдогонку ностальгии (**152**, 204). «Пылающий Муки» (**153**, 128). Монастырь (**157**, 78).

Александр **Дорошенко**. Любовь моя и молодость моя! (**148**, 125). Жизнь и мнения Лоренса Стерна (**150**, 92). Памятная записка (**153**, 181).

Злата **Зарецкая**. Фестиваль «Акко - 2007» (**147**, 211). Феномен еврейского театра (**148**, 165). Феникс (**156**, 81). Театр в зоне конфликта (**160**, 182).

Зеэв **Зорах**. Из вступительного эссе к книге «Рулетка Бога» (**161**, 119).

Фрэдди **Зорин**. Фрэддизмы (149, 219).

Александр **Карабчиевский**. Не верь, не бойся, не читай. (164, 122).

Константин **Кикоин**. Искусство как утиная охота (151, 183). Орфей, вернувшийся из ада (154, 118). Обетованные Низкие земли (157, 100). Цирк как воля и представление (164, 95).

Михаил **Копелиович**. Кроткая (154, 109). Вольные мысли Майи Каганской (162, 152). Дора (164, 172).

Илья **Корман**. Вот так номер! (158, 105). Чудо-время (160, 160). Чудо как пародия (164, 213).

Александр **Кунин**. Робеспьер (156, 180). Кривые зеркала логоса (157, 184). Лингвистические войны Израиля (159, 172). Партии и гильотина (160, 172). Выбор правил и правило выбора (164, 196).

Илья **Кутузов**. Власть над миром (163, 3).

Моше **Левин**. Фауст, Мефистофель, Воланд (162, 117).

Роза **Ляст**. Из Парфенона в Атлантиду (146, 145). Империя в опасности (157, 109). Международный женский день в Древнем Риме (158, 187).

Римма **Мошинская**. Мандельштамовские подтексты романа Ю.Н. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (146, 200). Эмма Б. и Маргарита (162, 129).

Марк **Найдорф**. Одессит, израильтянин, писатель (150, 115).

Эмилия **Обухова**. Попытка соучастия (151, 120).

Владимир **Пастернак**. «Заговор Христофора Колумба» (157, 94).

Леонид **Пекаровский**. Физиология перевода (147, 201). Две реальности (150, 117). Рисунки Жаботинского (160, 210). Народ или нация (162, 134).

Галина **Подольская**. Татьянин сад (147, 195). Евгений Мухорлян (156, 217).

Сергей **Подражанский**. Израильская разведка Шемякина (163, 167).

Виталий **Рапопорт**. Иуда Искарот (155, 174).

Эли **Рохлин**. Иов. Песнь жизни? (163, 184).

Михаил **Румер-Зараев**. Поэзия как образ жизни (164, 53).

Михаил **Сидоров**. Скептический оптимист (161, 202).

Михаил **Хейфец**. Зачем живем на свете (159, 104).

Давид **Цифринович-Таксер**. У Саши Воронеля юбилей (161, 201).

Михаил **Юдсон**. Лики «Окон» (152, 159). В городе НН (153, 200). Побег в никуда (158, 77). «Отъезд из языка - это дар» (ин-

тервью с Михаилом Шишкиным) (159, 129). Завод текста (160, 120). Интервью с главным редактором «22» (161, 190). Улов - 22 (161, 202). Лагерь Галича (163, 109). Края рая (164, 114). Философия будки (165, 206).

Леонид **Юниверг**. Страсти по Музею (159, 138).

ОТКЛИКИ

Марк **Амусин**. Летящий почерк (159, 190).

Юрий **Арустамов**. Сын - за отца (147, 220).

Александр **Воронель**. Свобода с человеческим лицом (146, 205).

Микки **Вульф**. Крашенная бронза (150, 210).

Сергей **Гавров**. О синергии народных грез (153, 213).

Виктор **Голков**. Афтерлайф - жизнь после смерти (147, 217).

Анатолий **Добрович**. Необходимая реплика (150, 204). Ан-деграунд и мы (158, 221). «Петли времени» (164, 218)

Владимир **Идзинский**. О Солженицыне. (150, 212). Отклик заинтересованного лица (152, 212). «Вечный комиссар» (157, 214). Елена Толстая как зеркало русской ментальности (158, 202).

Виктор **Каган**. Исповедь бывшего хунвэйбина (157, 219).

Роман **Казак-Барский**. Великий киевлянин (162, 207).

Константин **Кикоин**. На полпути к Хайфе (161, 205).

Михаил **Копелиович**. Демократия в упадке (158, 211). Наше Зазеркалье (161, 213).

Михаил **Красиков**. «И неужели хватит духу?» (158, 194).

Стив **Левин**. Где у критика лицо? (159, 207).

Гордон **Маквей**. Полнозвучие (153, 220).

Петр **Межирицкий**. Если бы не было евреев (153, 205).

Александр **Мелихов**. Немцов и Троцкий (146, 211). Еще и еще раз о корнях террора (150, 206). Защищай жидов - спасай Россию (151, 219). Сто лет общинности (152, 216). Надо делиться (156, 209).

Реувен **Миллер**. А рукописи верните! (155, 200).

Марк **Найдорф**. «Человек в своем уме не задает таких вопросов» (149, 221).

Нина **Никипелова**. Поэт Рената Муха (155, 215). Простые истории Чехова на современной кукольной сцене (161, 94).

Нелли **Портнова**. Стихи Константина Кикоина (159, 202).

Феликс **Рахлин**. Корень жизни и речи (165, 214).

Александр **Танков**. Ответ Г.Грассу (164, 209).

Ян **Топоровский**. Бальзам на душу (155, 206).

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Эдуард Бормашенко - физик, публицист. *Живет в Аризле.*

Нина Воронель - прозаик, драматург, переводчик.

Живет в Тель-Авиве.

Александр Танков - поэт. *Живет в Санкт-Петербурге.*

Давид Маркиш - писатель. *Живет в Ор-Иегуде.*

Александр Перчиков - поэт. *Живет в Иерусалиме.*

Иосиф Букенгольц - реставратор. *Живет в Иерусалиме.*

Елена Елагина - поэт, литературовед.

Живет в Санкт-Петербурге.

Леонид Школьник - журналист. *Живет в Тель-Авиве.*

Александр Воронель - физик, публицист, главный редактор журнала «22». *Живет в Тель-Авиве.*

Эстер Пастернак - поэт. *Живет в Аризле.*

Виктор Топаллер - журналист и телеведущий.

Живет в Нью-Йорке.

Роза Ляст - историк, латинист. *Живет в Бней-Браке.*

Михаил Юдсон - литератор. *Живет в Тель-Авиве.*

Елена Погорельская - филолог. *Живет в Москве.*

Инна Шейхатович - журналист, театровед.

Живет в Тель-Авиве.